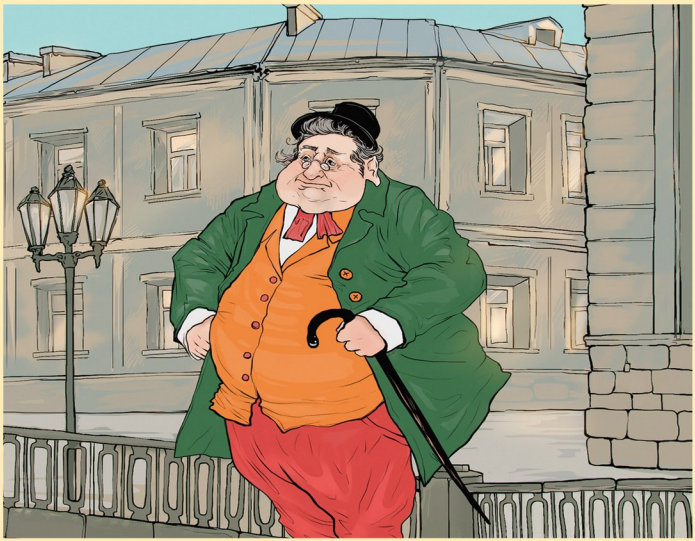

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

русская классика

Дневник провинциала в Петербурге

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Аннотация
Михаил Салтыков-Щедрин. Дневник провинциала в Петербурге
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Аннотация

Главный герой романа-хроники «Дневник провинциала в Петербурге», безымянный дворянин, решает скрыться от постылой губернии. Оказавшись в Петербурге, он мгновенно погружается в водоворот столичной жизни со всеми ее особенностями: бесконечной и бесцельной беготней по министерствам, ведомствам, театрам и изданием регулярных журналов, в которых некомпетентные бездельники занимаются «пенкоснимательством» – делают вид, будто ищут ответы на главные вопросы жизни.

Сатирический «Дневник провинциала в Петербурге» в первую очередь обличал нравы, царящие в петербургском обществе семидесятых годов XIX века, но некоторые черты и особенности, которые подмечал Салтыков-Щедрин, не утратили своей актуальности и полтора века спустя.

Михаил Салтыков-Щедрин Дневник провинциала в Петербурге

© ООО «Издательство АСТ», 2024

* * *

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА
В ПЕТЕРБУРГЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

I

Я в Петербурге.

Зачем я в Петербурге? По какому случаю? — этих вопросов, по врожденной провинциалам неосмотрительности, я ни разу не задал себе, покидая наш постылый губернский город. Мы, провинциалы, устремляемся в Петербург как-то инстинктивно. Сидим-сидим — и вдруг тронемся. Губернатор сидит — и вдруг надумается: толкнусь, мол, нет ли чего подходящего! Прокурор сидит — и тоже надумается: толкнусь-ка, нет ли чего подходящего! Партикулярный человек сидит — и вдруг, словно озаренный, начинает укладываться… «Вы в Петербург едете?» — «В Петербург!» — этим все сказано. Как будто Петербург сам собою, одним своим именем, своими улицами, туманом и слякотью должен что-то разрешить, на что-то пролить свет. Что разрешить, на что пролить свет? — этого ни один провинциал никогда не пробует себе уяснить, а просто-напросто с бессознательною уверенностью твердит себе: вот ужо съезжу в Петербург, и тогда… Что тогда?

Как бы то ни было, вопрос: зачем я еду в Петербург? — возник для меня совершенно неожиданно, возник спустя несколько минут после того, как я уселся в вагоне Николаевской железной дороги.

В этом вагоне сидела *губерния*, сидело все то, от чего я бежал, от лицезрения чего стремился отдохнуть. Тут были: и Петр Иваныч, и Тертий Семеныч, и сам представитель «высшего в империи сословия» Александр Прокофьич (он же Прокоп Ляпунов) с супругой, на лице которой читается только одна мысль: «Alexandre! У тебя опять галстух набок съехал!» Это была ужаснейшая для меня минута. Все они были налицо с своими жирными затылками, с своими клинообразными кадыками, в фуражках с красными околышами и с кокардой над козырьком. Все притворялись, что у них есть нечто в кармане, и ни один даже не пытался притвориться, что у него есть нечто в голове. По-видимому, это последнее обстоятельство для них самих составляло дело решенное, потому что смотреть на мир такими осовелыми глазами, какими смотрели они, могут только люди или совершенно эманципированные от давления мысли, или люди совсем наглые. А так как моих спутников нельзя же

назвать вполне наглыми людьми, то очевидно, что они принадлежат к числу вполне свободных. На меня эти красные околыши произвели какое-то болезненное впечатление. Мне показалось, что я опять в нашем рязанско-курско-тамбовско-воронежско-саратовском клубе, окруженный сеятелями, деятелями и всех сортов шлющимися и не помнящими родства людьми…

Разумеется, обрадовались. Но в этих приветственных возгласах мне слышалось что-то обидное. Как будто, приветствуя меня, они в один голос говорили: а вот и еще нашего стада скотина пришла! Не потому ли эта встреча до такой степени уязвила меня, что я никогда так отчетливо, как в эту минуту, не сознавал, что ведь я и сам такой же шлющийся и не знающий, куда приткнуть голову, человек, как и они? Кайданов удостоверяет, что древние авгуры не могли удерживаться от смеха, встречаясь друг с другом. Быть может, на первых порах оно так и было, но впоследствии, когда интерес новизны исчез, эти встречи должны были возбуждать не смех, а взаимное озлобление. Скажите, можно ли без злобы ежеминутно встречаться с человеком, которого видишь насквозь, со всем его нутром! Помилуйте! Да от этого человека за тридевять зе-

мель бежать надобно, а не то что улыбаться ему!

Легко сказать — бежать! Вы бежите — а он за вами! Он, этот земский авгур, населяет теперь все вагоны, все гостиницы! Он ораторствует в клубах и ресторанах, он проникает в педагогические, экономические, сельскохозяйственные и иные собрания и даже защищает там какие-то рефераты. Он желанный гость у Елисеева, Эрбера и Одинцова, он смотрит Патти, Паску, Лукку, Шнейдер — словом, он везде. Это какой-то неугомонный дух, от вездесущия которого не упастись нигде…

По обыкновению, как только разместились в вагонах, так тотчас же начался обмен мыслей.

— В Петербург? — спрашивает Прокоп Петра Иваныча.

— В Петербург.

— Зачем, смею спросить?

— Да так… насчет концессии одной… А вы?

— Я, признаться, тоже… от земства… А вы, Тертий Семеныч?

— Да я… как бы вам сказать… ведь и я тоже насчет концессии!

Наконец вопрос обращается и ко мне:

— В Петербург-с?

Тут-то вот именно и представился мне вопрос:

зачем я, в самом деле, еду в Петербург и каким образом сделалось, что я, убегая из губернии и находясь, несомненно, за пределами ее, в вагоне, все-таки очутился в самом сердце оной? И мне сделалось так совестно и конфузно, что я совершенно неосновательно ответил Прокопу:

— Да там… тоже маленькая концессия…

Тогда начались проекты самых фантастических концессий. Из Пензы в Наровчат, захватив на дороге Мокшан и Инсар; из Рязани в Михайлов, а там в Каширу, в Алексин, в Белен, в Медынь и т. д. Слышались восклицания: «вот бы! вот кабы!», «ну, уж тогда бы» и проч. Но меня так всецело поглотила мысль, зачем я-то, собственно, собрался в Петербург — я, который не имел в виду ни получить концессию, ни защитить педагогический или сельскохозяйственный реферат, — что даже не заметил, как мы проехали Тверь, Бологое, Любань. С этою же мыслью я очутился утром на дебаркадере Николаевской железной дороги.

Но здесь случилось что-то неслыханное. Оказалось, что все мы, то есть вся губерния, останавливаемся в Grand Hotel… Уклониться от совместного жительства не было возможности. Еще в Колпине начались возгласы: «Да остановимтесь,

господа, все вместе!», «Вместе, господа, веселее!», «Стыдно землякам в разных местах останавливаться!» и т. д. Нужно было иметь твердость Муция Сцеволы, чтобы устоять против таких зазываний. Разумеется, я не устоял.

Но за то и наказана же была моя душевная рыхлость!

Вот буквально те впечатления, которые в течение первых двух недель я испытывал в Петербурге изо дня в день.

Каждое утро, покуда я потягиваюсь и пью свой кофе, три стука раздаются в дверь моего нумера. Раньше всех стучит Прокоп.

— Ну что, как концессия? Заполучили? — обращается он ко мне своим обычным лающим голосом.

— Нет еще… да и не знаю…

— Тут, батюшка, зевать некогда! Как раз из-под носа стибрят!

Через полчаса опять стук: стучит Тертий Семеныч.

— Ну что, заполучили?

— Не знаю, как бы сказать…

— Что ж вы мямлите-то, что мямлите! Ведь этак как раз из-под носа утащат!

Проходит четверть часа. «Стук-стук!» Идет ми-

мо Петр Иваныч.

— Что, как концессия?

Мне делается уже весело. Я сам начинаю верить, что приехал за концессией и что есть какая-то линия между Сапожком и Касимовым, которую мне совершенно необходимо заполучить.

— Да что, батюшка, — говорю я, — эта концессия… шут ее знает!

— Что вы зеваете-то, что зеваете! Прокоп вот все передние уж объездил, а вы! Хотите, я вам скажу одну вещь?

— Ах, сделайте милость!

— Там полковник один есть… Просто даже и ведомства-то совсем не того, отставной… Так вот покуда мы стоим этак в приемной, проходит мимо нас этот полковник прямо в кабинет… Потом, через четверть часа, опять этот полковник из кабинета проходит и только глазом мигнет!

— Ну и что ж?

— Ну, тут его и лови!

Затем губерния часа на два, на три исчезает. Но не успел я одеться (бьет два часа), как опять стук в дверь! Влетает Прокоп.

— Разве так делают дела? — накидывается он на меня. — Вы вот потягиваетесь тут, а я уж во всех трех министерствах был!

— Александр Прокофьич! Неужто?

— Да-с, был-с. Только уж и ходьба!

— А что?

— Да вот посчитайте-ка сами ступеньки от первого этажа до четвертого, тогда увидите!

— А результат?

— Да как сказать? — покуда еще никакого! Ведь здесь, батюшка, не губерния! Чтобы слово-то ему сказать, чтобы глазком-то его увидеть, надо с месяц места побегать! Здесь ведь все дела делаются так!

— Однако это неприятно!

— А вам все, чтоб было приятно! Вам бы вот чтоб Фаддей и носки вам на ноги надел, и сапоги бы натянул, а из этого чтоб концессия вышла! Нет, сударь, приятности-то эти тогда пойдут, когда вот линийку заполучим, а теперь не до приятностей! Здесь, батюшка, и все так живут!

Прокоп подходит к окну, видит бегущего по улице мазурика, и воображение рисует перед ним целую картину.

— Смотрите! — восклицает он. — Вон он высуня язык бегает! Вы думаете, он дело делает! Пустяки, сударь, пустяки он делает! День-то деньской он пробегает, вечером прибежит домой: что я сделал? — иной даже заплачет! Ничего, ну про-

сто-напросто ничего! А там пройдет и еще день, и еще, и еще… И все-то так! И всякий-то день ничего! А через месяц, смотришь, что-нибудь у него и сформируется! Как сформируется? почему сформируется? — ничего не известно! Там бросил словечко, там глазком глянул, туда забежал, там с швейцаром покалякал… — На вид оно пустяки, ан смотришь — в результате оно самое и есть!

Снова стук. Петр Иваныч влетает прямо в соболях. Щеки у него горят, кадык застыл от мороза, усы влажны.

— Ну, кажется, идет дело на лад! — говорит он весело.

— Решена? — спрашивает Прокоп, и в глазах его появляется какой-то блудящий огонь, которого я прежде не примечал.

— Решена!

— Ну а моя еще нет!

— Теперь только бы в самую середку-то угодить!

— Да, это тоже штука. Одно средство: к тузу какому-нибудь примазаться! Уж черт его душу дери… ешь половину!

Еще стук. Влетает Тертий Семеныч и падает в изнеможении в кресло.

— Устал, — говорит он, — был везде! И у Буб-

новина был, и у Мерзавского был, и у сына Сирахова был!

— Ну и что же!

Все в один голос:

— Полезнейшее предприятие!

— Смотри, как бы тебя с «полезнейшим-то предприятием» не продернули! Ведь это тоже народ теплый!

— Меня-то! У меня линия верная! От Корочи через Тим, Щигры да так-таки прямо в Ливны. А там у меня, кстати, и имение есть.

— Да ты что возить-то по этой линии будешь?

— Уж это наше дело!

— Нет, ты скажи!

— А позвольте узнать, Александр Прокофьич, что вы-то *по вашей линии* возить будете?

— Это от Изюма-то, через Купянку, Валуйки да в Острогожск! Да тут, батюшка, хлеба одного столько, что ахнешь! Опять: конопель, пенька, масло, скот, кожи! Да ты пойми: ведь в Изюме-то окружной суд! Члены суда будут ездить, судебные следователи, судебные пристава! Твое же острогожское имение описывать поедут!

Между тем Петр Иваныч беспокойно поглядывает на часы и вдруг вскакивает:

— Однако пора бежать!

И все трое, обращаясь ко мне, разом восклицают:

— Вы разве не пойдете устрицы есть?

— Не знаю… Я как-то еще не думал об этом.

— Ну, каким же образом после того вы концессию получить хотите! Где же вы с настоящими дельцами встретитесь, как не у Елисеева или Эрбера? Ведь там все! Всех там увидите!

— Да ведь я… право, и дорога-то у меня плохая, кажется! Ну что я, в самом деле, возить по ней буду!

— А вам-то что? Это что еще за тандрессы такие! Вон Петр Иваныч снеток белозерский хочет возить… а сооружения-то, батюшка, затевает какие! Через Чегодощу мост в две версты — раз; через Тихвинку мост в три версты (тут грузы захватит) — два; через Волхов мост — три! По горам, по долам, по болотам, по лесам! В болотах морошку захватит, в лесу — рябчика! Зато в Питере настоящий снеток будет! Не псковский какой-нибудь, я настоящий белозерский! Вкус-то в нем какой — ха-ха!

— Смейтесь, смейтесь! А вот как заполучу дорожку, тогда будет… хи-хи!

— Мы, батюшка, нынче всю эту статистику дотла разузнали: где что родится, где какое произ-

водство идет! Где мамура-ягода, где княженика-ягода! Где сырть-рыба, где сельдь, где снеток! Где мыло варят, где кожи дубят! Разносчик кричит: «Сельди переславские!» — а мы примечаем!

Делать нечего — отправляемся вчетвером на биржу к Елисееву.

Устричная зала полна. Губерния преобладает. Кадыки, кадыки, кадыки; затылки, затылки, затылки. На столах валяются фуражки с красными околышами и кокардами. Там и сям мелькают какие-то оливковые личности: не то греки, не то евреи, не то армяне — словом, какие-то иконописные люди, которым удалось сбежать с кипарисной деки и отгуляться на воле у Дюссо и у Бореля. Они жирны, словно скот, откормленный бардою. Личности эти составляют центры, около которых образуются группы кадыков. Но самый главный центр представляет какой-то необыкновенно жирный и, по-видимому, не очень умный человек, который сидит на диване у средней стены и на груди у которого отдыхает тяжелая золотая цепь, обремененная драгоценными железнодорожными жетонами. Он уж поел и, сложив на груди руки и зажмурив глаза, предается пищеварению. По временам пройдет мимо него кадык, скажет: «Анемподисту Тимофеичу!» — тогда он

отделит от туловища одну из рук и вложит ее в протянутую руку кадыка. Хотя этот человек сидит за своим столом одиноко, но что не кто другой, а именно он составляет настоящий центр компании, — в этом нельзя усомниться. Кадыки, очевидно, ни на минуту не теряют его из вида. Они и сидят за своими столами как-то не прямо, а вполоборота к нему, и говорят друг с другом, словно не друг с другом, а обращаясь к третьему лицу, *которое нельзя беспокоить прямо*, но без мнения которого обойтись немыслимо.

Проходя мимо него, Прокоп толкает меня в бок и шепчет каким-то испуганным голосом:

— Бубновин!

В зале сыро, наслякощено, накурено — словно туман стоит. Но кадыки не гогочут, по своему обычаю, а как-то сдержанно беседуют, словно заискивают.

— Аристиду Фемистоклычу! — восклицает Прокоп, расцветая при виде одного из византийских изображений, которого наружность напоминает паука, только что проглотившего муху. — Как поживаете, каково прижимаете?

— Ницево, зивем!

— Девочки как?

— И девоцки!.. У нас девоцек завсегда бывает

оцень достатоцно!

— Ну и слава богу!

Мы садимся за особый стол; приносят громадное блюдо, усеянное устрицами. Но завистливые глаза Прокопа уже прозревают в будущем и усматривают там потребность в новом таком же блюде.

— Вели еще десятка четыре вскрыть! — командует он. — Да надо бы и насчет вина распорядиться… Аристид Фемистоклыч, вы какое вино при устрицах потребляете?

— Сабли… а впроцем, я могу всякое!

— Ну и нам подавай шабли, а потом и до «всякого» доберемся!

Начинается истребление устриц под гвалт общего говора.

— Я вам докладываю: простой армейский штабс-капитан был! — ораторствует какой-то кадык. — В нашем городе в квартальные просился — не дали.

— А теперь третью дорогу строит! — отзывается другой кадык. — Вот оно что значит ум-то!

— Да, если целовек с умом… это тоцно!.. — замечает Аристид Фемистоклыч.

Он пропустил уж полсотни устриц и развалился на диване, попыхивая какой-то неслыханной

красоты сигарой.

— Товарищами были, в одно время в полку служили, — повествует в другом углу третий кадык. — Вчерась встречаемся на Невском. Ты что, говорит. Так и так, говорю, дорожку бы заполучить! Приходи, говорит!

Я вглядываюсь в говорящего и вижу, что он лжет. Быть может, он и от природы не может не лгать, но в эту минуту к его хвастовству, видимо, примешивается расчет, что оно подействует на Бубновина. Последний, однако ж, поддается туго: он окончательно зажмурил глаза, даже слегка похрапывает.

— А какая доброта-то! — продолжает хвастаться кадык. — Так-таки просто и говорит: Приезжай, говорит, я тебя с женой познакомлю, а потом и об дорожке потолкуем! Я, говорит, знаю, что твое дело верное!

Бубновин продолжает похрапывать.

— Шнейдершу бы вот попросить, чтобы словечко замолвила! — вдруг предлагает кто-то.

Бубновин открывает один глаз, как будто хочет сказать: насилу хоть что-нибудь путное молвили! Но предложению не дается дальнейшего развития, потому что оно, как и все другие восклицания вроде: «вот бы, «тогда бы» — явилось

точно так же случайно, как те мухи, которые неизвестно откуда берутся, прилетают и потом опять неизвестно куда исчезают.

Съедаются первые четыре десятка устриц, потом съедаются еще четыре десятка устриц, в промежутках съедаются два фунта свежей икры, фунт сыру, фунт семги. Выпивается по бутылке шабли на брата, потом по бутылке шампанского; в промежутках пробуются разные сорта водок. Дым синими волнами ходит по комнате, так что, несмотря на зажженный газ, почти ничего не видно. И чем больше выпивается, тем гуще делается шум. Приходят новые деятели; слышатся вопросы: «Решена?», «Аудиенции-то добился ли по крайней мере?» — и ответы: «А черт их разберет!», «Семь дней хожу, и дальше передней ни-ни!» В пять часов мы выходим наконец на воздух.

— Где же дельцы-то? — спрашиваю я у Прокопа.

— А Бубновин!

— Да ведь вы с ним даже не говорили!

— Какой вы, батюшка, однако ж, чудной! Разве этакого человека можно сразу! Его надобно еще приучить к себе, чтобы он, значит, к физиономии-то сначала присмотрелся! Раз скажешь ему:

«Анемподисту Тимофеичу!» — в другой: «Анемподисту Тимофеичу!» — ну, он и прислушивается помаленьку. Успел ты ему понравиться — дело в шляпе! Не успел — домой поезжай, и проедаться тут нечего! Вот этот барин, что про Шнейдершу-то давеча молвил, — вы видели, как он на него посмотрел! Да барин-то плох! Другой бы на его месте так бы этой Шнейдершей Бубновина раззудил, что завтра и по рукам бы хлопнули!

— За чем же дело? Воспользуйтесь!

— Я, батюшка, и то уж подумываю! Кончено дело! Завтра же чем свет — к Бубновину! Я ему этот прожектец во всех статьях разверну!

Я возвращаюсь в свой нумер усталый, ошеломленный, полупьяный, нераздетый бросаюсь в постель и засыпаю тяжелым сном. Во сне мне видится железная дорога от Петербурга до самого устья Печоры. Локомотив, пыхтя и свистя, несется в необозримую даль; болотные трясины содрогаются, леса оглашаются бесконечным эхом, испуганные звери и птицы скрываются куда-то далеко, в непроглядный мрак. На поезде сидит жандарм и какой-то партикулярный молодой человек. И мчатся эти люди день и ночь, худо спят, наскоро закусывают, бегут, спешат, как будто и невесть какие приятства ожидают

их на устье Печоры. А с устья Печоры, в свою очередь, тоже мчится поезд, и несется на нем господин Латкин с свежею печорскою семгою и кедровой шишкой в руках как доказательство крайней необходимости дороги в этот кишащий естественными богатствами край. И вдруг в Усть-Сысольске ужасное столкновение… Раздается треск, гром; я в ужасе мечусь на постели и, наконец, вскакиваю.

В комнате темно; в дверь моего нумера действительно кто-то сильнейшим образом стучит.

Отпираю; влетает Прокоп.

— Спите, батюшка, спите! — говорит он мне укоризненно. — А я, покуда вы тут спите, у Дюссо с таким человечком знакомство свел!

— С каким еще человечком? — спрашиваю я, насилу продирая глаза.

— Да уж с таким человечком, что, ежели через неделю мое дело не будет слажено и покончено, назовите меня в глаза подлецом!

Не успеваю я ответить, как влетают разом Тертий Семеныч и Петр Иваныч.

— Ну, батюшка, слава богу, кажется, мое дело в шляпе! — говорит Тертий Семеныч.

— И меня, я полагаю, через недельку поздравить будет можно! — перебивает его Петр Иваныч.

— Ну а теперь пора и отдохнуть! — возглашает Прокоп. — Да что, впрочем: не выпить ли на ночь прощеную!

Но я решительно отказываюсь, и гости после долгих упрашиваний расходятся наконец по нумерам.

Я остаюсь один (бьет уж два часа) и вновь ложусь спать.

Таким образом продолжается пятнадцать дней. Кроме своего нумера и устричной залы Елисеева, я ничего не вижу. Я ни разу даже не пообедал как следует. Кроме устриц, икры, семги — ничего. Горячего ни-ни! Наконец я чувствую, что ежели это времяпрепровождение продолжится, то я сделаюсь пьяницей. Каждый день по малой мере три бутылки вина, не считая водки! И это, так сказать, натощак. Перестаю, наконец, понимать, кто я и где я. В одно прекрасное утро просыпаюсь и ничего, положительно ничего не понимаю. Что? Как? Зачем? Наконец, когда уж мне вылили на голову целое ведро холодной воды (я, помню, все кричал: «лей! лей!»), только тогда я понял, что я — это я. Подбежал к зеркалу, смотрю — глаза налитые, совсем круглые. Значит, дошел до точки.

Нет, надо бежать. Но как же уехать из Петербурга, не видав ничего, кроме нумера гостиницы

и устричной залы Елисеева? Ведь есть, вероятно, что-нибудь и поинтереснее. Есть умственное движение, есть публицистика, литература, искусство, жизнь. Наконец, найдутся старые знакомые, товарищи, которых хотелось бы повидать…

Конечно. Я предпринимаю героическое решение. В одно прекрасное утро, покуда губерния шныряет по разным концам города, я уплачиваю мой счет в Grand Hôtel и тайком перебираюсь в скромные chambres garnies[1], на Гороховой.

Прежде всего я отправляюсь в Воронинские бани, где парюсь до тех пор, покамест не сознаю себя вполне трезвым. Затем приступаю вновь к практическому разрешению вопроса: зачем я приехал в Петербург?

Сознаюсь откровенно: из всех названных выше соблазнов (умственное движение, публицистика, литература, искусство, жизнь) меня всего более привлекает последний, то есть жизнь. Мы, провинциалы — да, впрочем, одни ли мы? — имеем о жизни представление несколько двойственное. Хазовый конец этого представления составляют интересы умственные и общественные, действительной же его сущности отвечает все то, что

---

[1] Сноски: 1
Меблированные комнаты (*фр.*).

льстит интересам личным и непосредственным, то есть вкусу и чувственности. На этот конец у нас и слово такое выдумано: «жуировать». А жуировать совсем не значит ходить в публичную библиотеку, посещать лекции профессора Сеченова, защищать в педагогических и иных собраниях рефераты и проч., а просто, что в переводе на французский язык означает: «Buvons, chantons, dansons et aimons!»[2] Поэтому, если мы встречаем человека, который, говоря о жизни, драпируется в мантию научных, умственных и общественных интересов и уверяет, что никогда не бывает так счастлив и не живет такою полною жизнью, как исследуя вопрос о пришествии варягов или о месте погребения князя Пожарского, то можно сказать наверное, что этот человек или преднамеренно, или бессознательно скрывает свои настоящие чувства. Говорит он о пользе классического образования, а на уме у него: «Buvons, chantons, dansons et aimons!» Говорит о податной реформе, а на уме: «Buvons, chantons, dansons et aimons!» Все эти вопросы, системы, нововведения и проч. представляют лишь неизбежную, но сухую и горькую приправу жиз-

---

[2] Сноски: 2
Будем пить, петь, танцевать и любить! (*фр.*)

ни. Без них нельзя обойтись, потому что они дают одним — прекраснейшие должности с прекраснейшим содержанием; другим, не нуждающимся в содержаниях, прекраснейшие общественные положения. Но конечный результат всех этих содержаний и положений все-таки резюмируется так: «Buvons, chantons, dansons et aimons!» Никакое полезное предприятие немыслимо, если оно время от времени не освежается обедом с шампанским и устрицами. Тупа грамматика, косноязычна риторика, если их не оплодотворяет струя редерера. Даже археолог, защищая реферат о «Ярославле-сребре», и тот думает: «Вот ужо выпьем из той самой урны, в которой хранился прах Овидия!» Вот где настоящая русская подоплека, а совсем не там, где бесплодно ищут ее глаголемые славянофилы. Москва поняла это в совершенстве, оттого-то в ней и едят, так сказать, походя.

Следуя общему примеру, и я отправился на поиски жизни и с этою целию посетил товарищей моих по школе.

Прихожу к одному — статский советник!

— Статский советник! — восклицаю я. — Поздравляю, поздравляю!

А сам между тем чувствую, что в голосе у меня

что-то оборвалось, а внутри как будто закипает. Я добрый и даже рыхлый малый, но когда подумаю, что не выйди я титулярным советником в отставку, то мог бы… мог бы… Ах, черт побери да и совсем!

— Да, душа моя, — с невозмутимою важностью отвечает мой бывший товарищ, — не могу пожаловаться: начальство ценит-таки труды мои!

«Труды твои! Шиш твои труды — вот что!» — со злобою помышляю я, но вслух говорю следующее:

— Ну а дальше… есть виды?

— Насчет видов — это покамест еще секрет. Но, конечно, с божьею помощью…

Сказав это, он устремил такой пронзительный взгляд в даль, что я сразу понял, что сей человек ни перед какими видами несостоятельным себя не окажет.

— Ну а в настоящем как?

— А в настоящем… жуируем! Гандон, Ловато, Шнейдер… да ты Шнейдер-то видел?

— Нет еще… я так недавно в Петербурге…

— Ты не видал Шнейдер! Чудак! Чего же ты ждешь! Желал бы я знать, зачем ты приехал! Boulotte… да ведь это перл! Comme elle se gratte les

hanches et les jambes… sapristi![3] И он не видел!

В эту минуту в комнату входит другой товарищ, еще только коллежский советник.

— Смельский, ужасайся: он не видал Шнейдер!

— Ты не видал Шнейдер!

— Он не слыхал «Dites-lui»![4]

— Eh Boulotte donc! Comme elle se gratte les hanches et les jambes… cette fille! Barbare… va![5]

Я слушаю и краснею. В самом деле, что делал я в течение целых двух недель? Я беседовал с Прокопом, я наслаждался лицезрением иконописного Аристида Фемистоклыча — и чего не видел! Не видел Шнейдер!

— Ради бога… нельзя ли… — лепечу я в смущении.

— Ah, mon cher, c'est grave! C'est trés grave, ce que tu nous demande-la[6]. Однако вот что. У нас ложа на все пятнадцать представлений, и хотя

---

[3] Сноски: 3

Как она чешет себе бедра и ноги… черт побери! (*фр.*)

[4] Сноски: 4

Скажите ему! (*фр.*)

[5] Сноски: 5

Ах, черт побери! Как эта девушка чешет себе бедра и ноги… Варвар! (*фр.*)

[6] Сноски: 6

Дорогой мой, это дело нешуточное! Нешуточное дело то, о чем ты у нас просишь (*фр.*).

нас четверо, но для тебя, pour te desinfecter de ta chére ville natale...[7] мы потеснимся. Но помни: только для тебя! А теперь, messieurs, обедать, но за обедом, чур, много вина не пить! Помните, что сегодня идет «Barbe bleue»[8], а чтоб эту пьесу просмаковать, нужно, чтоб голова была светла да и светла!

И точно, за обедом мы пьем сравнительно мало, так что, когда я, руководясь бывшими примерами, налил себе перед закуской большую (железнодорожную) рюмку водки, то на меня оглянулись с некоторым беспокойством. Затем: по рюмке хересу, по стакану доброго лафита и по бутылке шампанского на человека — и только.

На свежую голову Шнейдер действует изумительно. Она производит то, что должна была бы произвести вторая бутылка шампанского. Влетая на сцену, через какое-нибудь мгновение она уж поднимает ногу... так поднимает, ну так поднимает!

---

[7] Сноски: 7

Чтобы тебя дезинфицировать от запаха твоего милого родного города (*фр.*).

[8] Сноски: 8

«Синяя борода» (*фр.*).

— Adorable![9] — шепчет мой друг статский советник.

— И заметь, что у нас она в сто крат скромнее играет, нежели в Париже! — комментирует другой мой друг коллежский советник.

И вдруг она начинает петь. Но это не пение, а какой-то опьяняющий, звенящий хохот. Поет и в то же время чешет себя во всех местах, как это, впрочем, и следует делать наивной поселянке, которую она изображает.

— Mais comme elle se gratte! Comme elle se gratte!.. Parlezmoi de ça![10] — захлебывается статский советник.

— Je vous demande un peu, si ce n'est pas là une grande actrice?[11] — вторит коллежский советник и с какою-то ненавистью озирается по сторонам, как будто вызывает дерзновенного, который осмелился бы выразить противоположное мнение.

Но зала составлена слишком хорошо: никто

---

[9] Сноски: 9
Восхитительно! (*фр.*)

[10] Сноски: 10
Но как она почесывается! Как почесывается!.. Невозможно передать! (*фр.*)

[11] Сноски: 11
Скажите, разве это не великая актриса? (*фр.*)

и не думает усомниться в гениальности m-lle Шнейдер. Во время пения все благоговейно слушают; после пения все неистово хлопают. Мы, с своей стороны, хлопаем и вызываем до тех пор, покуда зала окончательно пустеет.

После спектакля ужин (уже без воздержания), и за ужином разговор.

— Mais comme elle se gratte!

— En voilà une fille!

— Et remarquez, comme elle a fait ceci…[12]

Статский советник пробует пройтись церемониальным маршем, как это делает Шнейдер, то есть вскидывая поочередно то ту, то другую ногу на плечо.

Я сам взволнован до глубины души и желаю выразить свои чувства.

— Признаюсь, господа, — говорю я, — это… это… заметили ли вы, например, какой у нее отлет?

Я изгибаюсь головой и грудью вперед, а остальною частью корпуса силюсь изобразить отлет.

— Именно отлет! C'est le vrai mot! Otliott magnifique![13]

---

[12] Сноски: 12

Но как она почесывается! — Вот так девушка! И заметьте, как она сделала вот это… (*фр.*)

[13] Сноски: 13

Вот именно! Отлет! Великолепно! (*фр.*)

— Ай да деревня! Сидит, сидит в захолустье, да и выдумает!

— Messieurs, не говорите так легко об нашем захолустье! У нас там одна помпадурша есть, так у нее отлет! Je ne vous dis que ça![14]

Я собираю пальцы в кучку и целую кончики.

— Ну все-таки против Шнейдер… — сомневается статский советник.

— Да разве я об Шнейдерше!.. Schneider! mais elle est unique![15] Шнейдер… это… это… Но я вам скажу, и помпадурша! Elle ne se gratte pas les hanches, c'est vrai! mais si elle se les grattait![16] Я не ручаюсь, что и вы… Человек! Четыре бутылки шампанского!

Потом следуют еще четыре бутылки, потом еще четыре бутылки… желудок отказывается вмещать, в груди чувствуется стеснение. Я возвращаюсь домой в пять часов ночи, усталый и настолько отуманенный, что едва успеваю лечь в постель, как тотчас же засыпаю. Но я не без гордости сознаю, что сего числа я был истинно

---

[14] Сноски: 14
О прочем умалчиваю! (*фр.*)

[15] Сноски: 15
Но она несравненна! (*фр.*)

[16] Сноски: 16
Она, правда, не чешет себе бедер, но если бы она их чесала! (*фр.*)

пьян не с пяти часов пополудни, а только с пяти часов пополуночи.

На другой день к другому товарищу — этот уже не просто статский, а действительный статский советник.

— Уж действительный статский!

— Да, душа моя, действительный. Благодарение богу, начальство видит мои труды и ценит их.

— Да ведь таким образом ты, пожалуй…

— И очень немудрено. Теперь, душа моя, люди нужны, а мои правила настолько известны… Enfin qui vivra — verra[17].

Сказавши это, он поднял ногу, как будто инстинктивно куда-то ее заносил. Потом, как бы сообразив, что серьезных разговоров со мной, провинциалом, вести не приходится, спросил меня:

— Надеюсь, что ты видел Шнейдер?

— Вчера, с старыми товарищами были.

— Это в «Barbe bleue»? Délicieuse![18] не правда ли?

— Comme elle se gratte les hanches et les

---

[17] Сноски: 17
Словом, поживем — увидим (*фр.*).

[18] Сноски: 18
Восхитительно! (*фр.*)

jambes![19]

— N'est-ce pas! Quelle fille! Quelle diable de fille! Et en même temps, actrice! Mais une actrice… ce qui s'appelle — consommée![20]

— А ты заметил, как она церемониальным маршем к венцу-то прошла!

Я пробую напомнить Шнейдершу в лицах, но при первой же попытке вскинуть ногу на плечо спотыкаюсь и падаю.

— Ну вот! Ну вот! — смеется мой друг. — Это хорошо, что ты так твердо запомнил, но зачем подражать неподражаемому! En imitant l'inimitable, on finit par se casser le cou[21].

— Mais comme elle se gratte! Dieu des dieux! Comme elle se gratte![22]

— Ah! Mais c'est encore un trait de génie… ça![23] Заметь: кого она представляет? Она представляет

---

[19] Сноски: 19
Как она чешет себе бедра и ноги! (*фр.*)

[20] Сноски: 20
Не правда ли, какая девушка, какая чертовская девушка! И в то же время актриса, и актриса… что называется — безупречная! (*фр.*)

[21] Сноски: 21
Подражая неподражаемому, кончают тем, что ломают себе шею (*фр.*).

[22] Сноски: 22
Но как она почесывается! Бог богов! Как почесывается! (*фр.*)

[23] Сноски: 23
Тут опять-таки гениальная черта… (*фр.*)

простую, наивную поселянку! Une villageoise, une paysanne, Une fille des champs! Ergo…[24]

— Mais c'est simple comme bonjour![25]

— Вот сегодня, например, ты увидишь ее в «Le sabre de mon pére»[26] — здесь она не только не чешется, но даже поразит тебя своим величием! А почему? потому что этого требует роль!

— Увы! у меня нет на сегодня билета!

— Вздор! Надо, чтобы ты видел эту пьесу. Вы — люди земства, mon cher, и наша прямая обязанность — это стараться, чтоб вы все видели, все знали. Вот что: у нас есть ложа, и хотя мы там вчетвером, но для тебя потеснимся. Я хочу, непременно хочу, чтобы ты видел, как *она* поет «Dites-lui»![27] Я с намерением говорю: «чтоб ты видел», потому что это мало слышать, это именно *видеть* надо! А теперь идем обедать, mais soyons sobres, mon cher, parce que c'est tres serieux, ce que

---

[24] Сноски: 24
Поселянку, крестьянку, дочь полей! Следовательно… (*фр.*)

[25] Сноски: 25
Но это просто как день! (*фр.*)

[26] Сноски: 26
«Сабля моего отца» (*фр.*).

[27] Сноски: 27
«Скажите ему»! (*фр.*)

tu vas voir ce soir![28]

Мы обедаем впятером. Выпиваем по рюмке хересу, по стакану доброго лафита и по бутылке шампанского на человека — и только.

Я не стану описывать впечатления этого чудного вечера. *Она* изнемогала, таяла, извивалась и так потрясала отлетом, что товарищи мои, несмотря на то что все четверо были действительные статские советники, изнемогали, таяли, извивались и потрясали точно так же, как и *она*.

— Из театра — к Борелю.

— Ну-с, что скажете, любезный провинциал?

— Да, messieurs, это… Это, я вам скажу… Это… искусство!

— C'est le mot. On cherche l'art, on se lamente sur son deperissement! Eh bien je vous demande un peu, si ce n'est pas la personification meme de l'art! «Dites-lui» — parlez-moi de ça![29]

— И заметьте, messieurs, какой у нее отлет!

— «Otliott» — c'est le mot! mais il est unique, ce

---

[28] Сноски: 28

Но будем воздержными, дорогой, ибо то, что ты увидишь вечером, дело нешуточное! (*фр.*)

[29] Сноски: 29

Вот именно. Ищут искусства, сетуют на его упадок! Так вот я спрашиваю, разве это не само олицетворение искусства? «Скажите ему» — найдите что-нибудь подобное! (*фр.*)

cher provincial![30]

Как и накануне, я изогнулся головой и корпусом вперед.

— Именно! Именно! C'est ça! C'est bien ça![31] — кричали действительные статские советники, хлопая в ладоши.

Даже борелевские татары и те смеялись.

— А теперь, господа, в благодарность за высокое наслаждение, доставленное мне вами, позвольте… Человек! Шесть бутылок шампанского!

Затем еще шесть бутылок, еще шесть бутылок и еще… Я вновь возвращаюсь домой в пять часов ночи, но на сей раз уже с меньшею гордостью сознаю, что хотя и не с пяти часов пополудни, но все-таки другой день сряду ложусь в постель усталый и с отягченной винными парами головой.

Таким образом проходит десять дней. Утром вставанье и потягиванье до трех часов; потом посещение старых товарищей и обед с умеренной выпивкой; потом Шнейдерша и ужин с выпив-

---

[30] Сноски: 30

«Отлет!» — вот настоящее слово! Наш дорогой провинциал прямо-таки неподражаем! (*фр.*)

[31] Сноски: 31

Так! Так! (*фр.*)

кой неумеренной. На одиннадцатый день я подхожу к зеркалу и удостоверяюсь, что глаза у меня налитые и совсем круглые. Значит, опять в самую точку попал.

«Уж не убраться ли подобру-поздорову под сень рязанско-козловско-тамбовско-воронежско-саратовского клуба?» — мелькает у меня в голове. Но мысль, что я почти месяц живу в Петербурге и ничего не видал, кроме Елисеева, Дюссо, Бореля и Шнейдер, угрызает меня.

«Нет, — думаю, — попробую еще! По крайней мере узнаю, что такое современная петербургская жизнь!»

Приняв это решение, отправляюсь в Воронинские бани, где парюсь до тех пор, пока сознаю себя вполне трезвым. Затем на целый день остаюсь дома и занимаюсь приведением в порядок желудка. И только на другой день, свежий и встрепанный, начинаю новый ряд похождений.

II

Что же такое, однако, жизнь?

В течение более трех недель я проделал все, что, по ходячему кодексу о жизни, надлежит проделать, чтобы иметь право сказать: я жуировал и, следовательно, жил. Я исполнил «buvons», ибо ни одного дня не ложился спать трезвым; я исполнил «chantons et dansons», ибо стоически выдержал целых десять представлений «avec le concours de m-lle Schneider»[32]; наконец, я не могу сказать, чтобы не было в продолжение этого времени кое-чего и по части «aimons»... А в результате все-таки должен сознаться, что не только жизни, но даже и жуировки тут не было никакой. Мало того: по окончании всего этого жизненного процесса я испытываю какое-то удивительно странное чувство. Мне сдается, что все это время я провел в одиночном заключении!

И действительно, это было не более как одиночное заключение, только в особенной, своеобразной форме. Провести в продолжение двух недель все сознательные часы в устричной зале

---

[32] Сноски: 32
С участием м-ль Шнейдер (*фр.*).

Елисеева, среди кадыков и иконописных людей, разве это не одиночное заключение? Провести остальные десять дней в обществе действительных статских кокодессов, лицом к лицу с несомненнейшею чепухой в виде «Le Sabre de mon pére», с чепухой без начала, без конца, без середки, — разве это не одиночное заключение? Ежели первый признак, по которому мы сознаем себя живущими в человеческом обществе, есть живая человеческая речь, то разве я ощущал на себе ее действие? Говоря по совести, все, что я испытывал в этом смысле, ограничивалось следующим: я безразличным образом сотрясал воздух, я внимал речам без подлежащего, без сказуемого, без связки, и сам произносил речи без подлежащего, без сказуемого, без связки. «Вот кабы», «ну, уж тогда бы» — ведь это такого рода словопрения, которые я мог бы совершенно удобно производить и в одиночном заключении. Ужели же я без натяжки могу утверждать, что меня окружало действительно людское общество, когда в моем времяпрепровождении не было даже внешних признаков общественности? Нет, это были не более как люди стеноподобные, обладающие точно такими же собеседовательными средствами, какими обладают и стены

одиночного заключения. Это было не общество в действительном значении этого слова, а именно одиночное заключение, в которое, вследствие упущения начальства, ворвалось шампанское с устрицами, с пением и танцами.

А между тем кодекс, формулирующий жизнь словами: «Buvons, dansons, chantons et aimons!» — сочинен не нами. Он существует издревле, и целые поколения довольствовались им, не думая ни о чем другом и не желая ничего больше. Отчего же он опротивел мне в двадцать четыре дня, а достославным моим предкам казался лучше всякого эдема? Отчего мои пращуры могли всю жизнь, без всякого ущерба, предаваться культу «buvons», а я не могу выдержать месяца, чтобы у меня не затрещала голова, чтобы глаза мои явно не изобличили меня в нетрезвом поведении, чтобы мне самому, наконец, моя собственная персона не сделалась до некоторой степени противною? Отчего дедушка Матвей Иваныч, перед которым девка Палашка каждый вечер, изо дня в день, потрясала плечами и бедрами, не только не скучал ее скудным репертуаром, но так и умер, не насладившись им досыта, а я, несмотря на то что передо мной потрясала бедрами сама Шнейдерша, в каких-нибудь десять дней ощутил такую

сытость, что хоть повеситься?

Я живо помню дедушку Матвея Иваныча. Это был старик высокий, широкоплечий, бодрый, сильный, румяный. Он вставал рано, никогда не нежился и не потягивался, но сразу одевался, выливал на голову кувшин холодной воды, выпивал красоулю и отправлялся в отъезжее поле. Там, в промежутках полевания, выпивалось до пропасти, и основанием выпивки всегда служил спирт. Очевидно, тут было от чего ошалеть самому крепкому организму, но старик возвращался домой не только без всяких признаков пресыщения, но с явным намерением выпить до пропасти и за обедом. После обеда он задавал выхрапку, продолжавшуюся часа три, потом выпивал «десертную», выслушивал старосту и отправлялся в залу. Там его ожидали сенные девушки с девкой Палашкой во главе, и начиналось неперестающее потрясание бедрами, все в одном и том же тоне, с одними и теми же прибаутками, нынче, как вчера. Как страстный любитель потрясаний, дедушка, разумеется, не мог ни устоять, ни усидеть, и потому притопывал, приплясывал, жаловал по рюмке, сам выпивал по две, и проводил таким образом время до ужина. За ужином он вел пристойный раз-

говор с гостями, если таковые наезжали, или с домашними, если гостей не было, и выпивал с таким расчетом, чтобы иметь возможность сейчас же заснуть и отнюдь не видеть никаких снов. И расчет никогда не обманывал его: он безмятежно засыпал вплоть до утра, с наступлением которого вновь повторялся вчерашний день с тою же выпивкой, с тем же отъезжим полем и теми же потрясаниями.

А дяденька у меня был, так у него во всякой комнате было по шкапику, и во всяком шкапике по графинчику, так что все время препровождение его заключалось в том: в одной комнате походит и выпьет, потом в другой походит и выпьет, покуда не обойдет весь дом. И ни малейшей скуки, ни малейшего недовольства жизнью!

Десятки лет проходили в этом однообразии, и никто не замечал, что это однообразие, никто не жаловался ни на пресыщение, ни на головную боль! В баню, конечно, ходили и прежде, но не для вытрезвления, а для того, чтобы испытать, какой вкус имеет вино, когда его пьет человек совершенно нагой и окруженный целым облаком горячего пара.

Положим, что в былое время, как говорят, на Руси рождались богатыри, которым нипочем

было выпить штоф водки, согнуть подкову, переломить целковый, но ведь дело не в том, что человек имел возможность совершать подобные подвиги и не лопнуть, а в том, как он мог не лопнуть от скуки.

А мне вот скучно. Я пью у Елисеева вино первый сорт, а мне кажется, что есть и еще какое-то вино, которое представляет собою уже самый первый сорт, и мне его не дают; я смотрю на Шнейдершу, а мне кажется, что есть еще какая-то обер-Шнейдерша и что вот если бы эту обер-Шнейдершу посмотреть, так это точно… Где бы я ни находился, везде меня угнетает мысль, что есть еще нечто, что необходимо бы заполучить, но в чем состоит это нечто — вот этого-то именно я формулировать и не могу. Я процветал под сенью рязанско-козловско-тамбовско-саратовского клуба — и изнемогал от скуки; я наслаждался речами земских авгуров — и изнемогал от скуки; наконец, я приехал в Петербург — и опять изнемогаю от скуки. Везде чего-то недостает, как будто вся жизнь не настоящая. И вино не настоящее, и Шнейдерша не настоящая, и песни не настоящие, и любовь не настоящая: и авгуры не настоящие, и их речи не настоящие — словом, жизнь идет словно пло-

хое театральное представление. Как будто вот наняли актеров из Александринки и сказали им: представляйте комедию. Ну, они и вьют во сне веревки за приличное вознаграждение.

Отчего дедушка Матвей Иваныч мог жуировать так, что эта жуировка не приводила его к мизантропии, а я, его потомок, не могу вкусить ни от какого плода без того, чтоб этот плод тотчас же не показался мне пресным до отвращения? Оттого ли, что в развеселое житье Матвея Иваныча входил какой-нибудь особый, нам неизвестный элемент, которого теперь не существует и который даже однообразию сообщал известного рода осмысленность? Или оттого, что мы, потомки дедушки Матвея Иваныча, лучше и развитее нашего пращура, что наш кругозор несколько шире и что вследствие этого мы не можем удовлетворяться теми дешевыми наслаждениями, которые тешили наших предков?

Вопросы эти как-то невольно пришли мне на мысль во время моего вытрезвления от похождений с действительными статскими кокодессами. А так как, впредь до окончательного приведения в порядок желудка, делать мне решительно было нечего, то они заняли меня до такой степени, что я целый вечер лежал на диване

и все думал, все думал. И должен сознаться, что результаты этих дум были не особенно для меня лестны.

Элементы, которые могли оттенять внешнее однообразие жизни дедушки Матвея Иваныча, были следующие: во-первых, дворянский интерес; во-вторых, сознание властности; в-третьих, интерес сельскохозяйственный; в-четвертых, моцион. Постараюсь разъяснить здесь, какую роль играли эти элементы в том общем тоне жизни, который на принятом тогда языке назывался жуированием.

Что ни говорите о дворянском интересе, но он существовал. Содержание этого явления было несложное и фальшивое (потому-то оно и улетучилось так легко), но что самое явление имело очень реальное существование — в этом не может быть сомнения. Еще на нашей памяти дворянские собрания были шумны и многолюдны, и хотя предметом их было охранение только одного-единственного права, это единственное право обладало такою способностью проникать и окрашивать все, что к нему ни прикасалось, что само по себе представляло, так сказать, целый пантеон прав. Говорят, что это было дурное и вредное право, и я, конечно, не стану возражать

против этого. Но я веду речь не о достоинствах права, а о том, в какой мере оно могло служить подспорьем для жизни. Дедушка Матвей Иваныч недаром не пропускал ни одного собрания, недаром периодически, через каждые три года, бушевал в губернском городе. Бушевание было для него не целью, а символом. Он сознавал себя представителем *своего* права и по случаю этого права предавался всякого рода необузданностям с полною уверенностью, что они пройдут для него безнаказанно. Необузданность и безнаказанность были два понятия, которые шли рядом и взаимно друг друга оплодотворяли. Необузданность льстила грубому чувству сама по себе, а безнаказанность усложняла получаемое от необузданности удовольствие и придавала ему некоторую пикантность. Посмотрите: все люди ходят опасно и жмутся к стороне, а дедушка Матвей Иваныч один во всякое время мчится вихрем по улицам, разбивает наголову полицию и бьет в трактирах посуду! Как хотите, а такое обладание монополией необузданности не могло не льстить чувству человека, не обладавшего особенно утонченным развитием…

Сами по себе взятые, такого рода удовольствия, даже в глазах очень грубых людей, не могли

казаться ни особенно разнообразными, ни особенно умными. Я думаю, что непрерывное их повторение повергло бы даже дедушку в такое же уныние, как и меня, если бы тут не было подстрекающей мысли о каких-то якобы правах. Но в том-то и дело, что эта подстрекающая мысль сказывалась на каждом шагу, напоминала о себе ежеминутно. Известно, что наши предводители дворянства считали своим долгом пикироваться с губернаторами и даже, по временам, подставлять им ножки. Если б кто-нибудь взял на себя труд обстоятельно написать историю этих пикировок, вышла бы очень интересная история, из которой всякий увидел бы, что это был просто глупый обычай, по поводу которого можно только развести руками. Обе стороны лаяли в буквальном смысле этого слова, лаяли бессознательно, беспричинно, просто потому, что исстари так уж заведено. Но ведь дело не в том, глупо или умно было содержание пикировки, а в том, что вот ни один курицын сын не смеет ее производить, а я, имярек, произвожу — и горя мне мало. Конечно, и это опять-таки вносило в жизнь наших пращуров глупость сугубую, но так как это была глупость предвзятая, то она невольным образом получала все свойства

убеждения. Что может быть глупее, как сдернуть скатерть с вполне сервированного стола, и тем не менее для человека, занимающегося подобными делами, это не просто глупость, а молодечество и даже в некотором роде рыцарский подвиг, в основе которого лежит убеждение: *другие* мимо этого самого стола пробираются боком, *а я* подхожу и прямо сдергиваю с него скатерть! Таким образом, натешившись вдоволь в губернии, то есть огласивши неслыханным криком собрание и неслыханным пьянством гостиницы, напикировавшись с губернатором и кинувши подачку прочим чинам, наши пращуры возвращались в свои дворянские гнезда и предавались там дворянским удовольствиям. Удовольствия эти подробно указаны выше, при описании дня дедушки Матвея Иваныча, и несложность их очевидна для всякого. Но, несмотря на эту несложность, мысль, что они дворянские, играла роль масла, питающего огонь. Человек вращался в заколдованном круге, изо дня в день, на один и тот же манер, но не падал духом и не роптал на судьбу, потому что был убежден, что вращаться таким образом *его* право и в то же время долг. Да и одних ли пращуров наших поддерживала подобная мысль при отбывании скучного

процесса жизни? Подите дальше, припомните всевозможные приемы, церемонии и приседания, которыми кишит мир, и вы убедитесь, что причина, вследствие которой они так упорно поддерживаются, не делаясь постылыми для самих участвующих в них, заключается именно в том, что в основе их непременно лежит хоть подобие какого-то представления о праве и долге.

К тому же наши пращуры в упомянутом выше *своем* праве видели твердыню, и видели не без основания. Дедушка Матвей Иваныч понимал очень отчетливо, что ежели он тверд в вере, то никто не только не тронет его, но и *не может* тронуть. Он сам сознавал себя твердыней, и кратковременные капризы его с губернатором были не более чем обоюдное развлечение двух твердынь. А так как последнему это было так же хорошо известно, как и дедушке, то он, конечно, остерегся бы сказать, как это делается в странах, где особых твердынь по штату не полагается: «Я вас, милостивый государь, туда турну, где Макар телят не гонял!» — потому что дедушка на такой реприманд, нимало не сумнясь, ответил бы: «Вы не осмелитесь это сделать, ибо я сам государя моего отставной подпоручик!» И губернатор, наверное, прикусил бы язык, потому что

дедушкина твердость в вере была такова, что вошла даже в пословицу. Припомним, что в ту пору не было ни эмансипации, ни вольного труда, ни вольной продажи вина, и вообще ничего такого, что поселяет в человеческой совести разлад и зарождает в человеке печальные думы о коловратности счастия. А коль скоро нет в жизни разлада, то человек, даже без всякого давления фанатизма, имеет веру сильную и стремительную. Он смотрит в одну точку, около которой располагает и все прочие подробности жизни. А так как эта точка не только существовала для наших пращуров, но и составляла совершеннейший пантеон, то человеку, убежденному, что он находится в самом центре храма славы, весьма естественно было примиряться с некоторыми его недостатками, заключавшимися в однообразии предоставляемых им наслаждений. И отъезжее поле, и потрясающая бедрами девка Палашка, и даже хождение по комнатам, украшенным шкапиками с графинчиками, — все это выносилось безропотно, потому что во всем этом виделся символ, за которым пряталась идея о праве и долге.

Мы, потомки дедушки Матвея Иваныча, никаких подобного рода интересов не имеем. Мы

как-то вдруг опешили и убедились, что у нас от *нашего* права не осталось ни капельки. Собрания наши малолюдны; мы не пикируемся, потому что пикироваться на манер пращуров не имеем уже повода, а каким образом пикироваться на новый манер — еще не придумали. С другой стороны, мы не срываем скатертей с сервированных столов, не услаждаемся потрясаниями доморощенных Палашек, потому что это слишком дорого стоит. Для того чтобы иметь хоть призрак тех удовольствий, которыми пользовались наши пращуры, мы должны ехать в Петербург и там, в складчину, по два рубля с рыла, облизываться на Шнейдершу, qui se gratte les jambes et les hanches. Но ведь Шнейдерша — достояние общее, а при общедоступности доставляемого ею удовольствия кто же из нас может сказать: «Это моя Шнейдерша» — как, бывало, говаривал дедушка Матвей Иваныч: «Это моя Палашка!» А в возможности подобных-то восклицаний и заключается тайна живучести тех несложных удовольствий, которые составляют удел наш. Вникните в смысл этого восклицания, вслушайтесь в тон, которым оно сказано, — и вы убедитесь, что тут звучит нечто большее, нежели просто удовлетворенная необузданность. Вы почувствуете, что Палашка

была для дедушки не просто Палашкой, а олицетворением *его права*; что он, услаждая свой взор ее потрясаниями, приобретал не на два рубля с рыла удовольствия, а сознавал удовлетворенным свое чувство дворянина. А мы что? Мы даже m-lle Филиппо не можем заставить спеть «L'amour — ce n'est que cela»[33], ежели этой песенки не значится в афишах. Да если бы и имели возможность заставить — что же потом? Или, быть может, есть у нас, кроме m-lle Филиппо и ее песенок, и другие какие-нибудь интересы, как, например: ужин с шампанским у Дюссо, устрицы с шампанским у Елисеева и нумер в гостинице для отдохновения от пьяно проведенной ночи?

Понятно, что мы разочарованы и нигде не можем найти себе места. Мы не выработали ни новых интересов, ни новых способов жуировать жизнью, ни того ни другого. Старые интересы улетучились, а старые способы жуировать жизнью остались во всей неприкосновенности. Очевидно, что при таком положении вещей не помогут нам никакие кривляния, хотя бы они производились даже с талантливостью m-lle Schneider.

---

[33] Сноски: 33
«Любовь — это вот что» (*фр.*).

Вторым оттеняющим жизнь элементом было сознание властности. Чтобы понять всю важность этого элемента, представьте себе бессребреника квартального надзирателя, обяжите его с утра до вечера распоряжаться на базаре и оставьте при нем только сладкое сознание исполненных обязанностей. Наверное, он в самый короткий срок выйдет в отставку. «Помилуйте, — скажет, — из-за чего тут биться! И грошей не сбирать, да еще какие-то обязанности наблюдать! Разве с ними, чертями, так можно!» Но скажите тому же квартальному: «Друг мой! На тебя возложены важные и скучные обязанности, но для того, чтобы исполнение их не было слишком противно, дается тебе в руки власть», и вы увидите, как он воспрянет духом и каких наделает чудес! Увы! Как ни малоплодотворно занятие, формулируемое выражением «гнуть в бараний рог», но при отсутствии других занятий, при отчаянном однообразии общего тона жизни и оно освежает. Дедушка Матвей Иваныч говаривал: «Когда я иду, то земля подо мной дрожит» — и радовался этому обстоятельству. Конечно, это была радость неразвитого человека, но это была настоящая, заправская радость, и отвергать возможность ее нет ни малейшего основания.

«Есть наслаждение и в дикости лесов», –

сказал поэт, а дедушка мой, со своей стороны, мог прибавить: «Есть наслаждение и в сечении», разумея под этим, впрочем, не самый процесс — сечения, а принцип его. Конечно, мы, по чувству учтивости, отвергаем такого рода наслаждения, но так как они существовали на нашей памяти, понимать их все-таки можем. Если мы в настоящее время и сознаем, что желание властвовать над ближними есть признак умственной и нравственной грубости, то кажется, что сознание это пришло к нам путем только теоретическим, а подоплека наша и теперь вряд ли далеко ушла от этой грубости. Всякий вслух глумится над позывами властности, но всякий же про себя держит такую речь: «А ведь если б только пустили, какого бы я звону задал!» Я думаю даже, что бóльшая часть наших горестей от того происходит, что нам не над кем и не над чем повластвовать. А дедушке Матвею Иванычу было и над чем, и над кем повластвовать, и он понимал себя в этом отношении не пятым колесом в колеснице и не отставным козы барабанщиком. Смотрит он, например, на девку Палашку, как она коверкается, и в то же время если не фор-

мулирует, то всем существом сознает: «Я с этой Палашкой что хочу, то сделаю: захочу — косу обстригу, захочу — за Антипку-пастуха замуж выдам!»

— Палашка! Хочешь за пастуха Антипку замуж?

— Помилуйте, барин! Чем же я провинилась? Кажется, стараюсь!

— А, ну Христос с тобой! Пляши!

И Палашка ожесточеннее прежнего упирала руки в боки, прыгала, крутилась, взвизгивала, а дедушка посматривал на ее плясательные пароксизмы и думал про себя: «Однако важно я ее, поганку, напугал!»

И таким образом в общее однообразие жизни прокрадывалась новая стихия, которая ее оживляла и скрашивала.

Мы, потомки дедушки Матвея Иваныча, лишены даже такого сорта оживляющих эпизодов.

– *Мы курице не можем сделать зла* — ma parole![34] — говорил мне на днях мой друг Сеня Бирюков. — Объясни же мне, ради Христа: какого рода роль мы играем в природе?

И я ничего не мог ни возразить, ни объяснить,

---

[34] Сноски: 34
Честное слово! (*фр.*)

ибо знаю, что, по утвердившемуся на улице понятию, обладание властью действительно равносильно возможности гнуть в бараний рог и что в этом смысле мы точно никакой власти не имеем. Или, быть может, мы имеем ее в каком-нибудь другом смысле?.. Risum teneatis, amici?[35]

Но если такое убеждение об утраченной властности уже укоренилось в нас, то, очевидно, нам остается нести иго жизни без всякого сознания, что мы что-нибудь можем, и, напротив того, с полным и горьким сознанием, что с нами все совершить можно. Мы так и поступаем. Конечно, с нашей стороны это очень большая добродетель, и мы имеем-таки право утешать себя мыслью, что дальше от властности — дальше от зла, но ведь вопрос не о тех добродетелях, которые отрицательным путем очень легко достаются, а о той скуке, о тех жизненных неудобствах, которые составляют естественное последствие всякой страдательной добродетели. У меня был очень добродетельный дяденька, который служил заседателем в суде и которому, именно за добродетель его, было велено подать в отставку. Я живо помню, что когда это случилось, то не только сам

---

[35] Сноски: 35
Удержитесь ли от смеха, друзья? (*лат.*)

дяденька, но и все родные были в неописанном волнении.

— Мухи не обидел! — говорил дяденька.

— Мухи не обидел! — восклицали родные.

— Мухи не обидел! — шептались между собой дворовые.

— Мухи не обидел! — рассуждали дяденькины сослуживцы.

Это было действительно сладкое сознание, но кончилось дело все-таки тем, что дяденька же должен был всех приходивших к нему с выражениями сочувствия угощать водкой и пирогом. Так он и умер со сладкою уверенностью, что не обидел мухи и что за это, именно за это, должен был выйти в отставку.

Не то же ли явление повторяется теперь надо мною? Дедушка Матвей Иваныч обидел многих — и жил! Я, его внук, клянусь честью, именно мухи не обидел — и чувствую себя находящимся от жизни в отставке! За что?

За что? Вникните в этот вопрос; вспомните, что его повторяют многие тысячи людей, и рассудите, каковы должны быть люди, у которых не выработалось никаких других вопросов, кроме: за что?

Третье подспорье — интерес сельскохозяйственный. Надобно сознаться, что интерес этот,

во времена дедушки, был обставлен очень рутинно и сам по себе занимал наших предков весьма умеренно, но они самими условиями жизни были поставлены в центре хозяйственной сутолоки и потому, волею-неволею, не могли оставаться ей чуждыми. Не было речи ни об улучшениях, ни о преимуществах той или другой системы, ни о замене человеческого труда машинным (об исключениях, разумеется, я не говорю), но была бесконечная ходьба, неумолкаемое галдение, понукание и помыкание во всех видах и, наконец, та надоедливая придирчивость, которая положила основание пословице: Свой глазок — «смотрок». Этот глазок-смотрок очень мало видел, но смотрел действительно много, и этого было достаточно, чтобы наполнить время всевозможными распорядительными подробностями. Наши пращуры не хозяйничали в собственном смысле этого слова, а «спрашивали». Дедушка Матвей Иваныч так рассуждал: распорядиться работами — дело приказчика и старосты, а его дело — с них «спросить». И действительно, «спрашивал» много, хотя в этом «спрашивании» первое место, конечно, занимала случайность. Поедет, бывало, дедушка в беговых дрожках на пашню, наедет на пропашку или на ком не тронутой

бороной земли — и «спросит». Пойдет на гумно, захватит в горсть мякины, усмотрит в ней невывеянные зерна — и опять «спросит». Все в этом хозяйничанье основывалось на случайности: на том, что дедушка захватывал ту, а не другую горсть мякины, но эта случайность составляла один из тех жизненных эпизодов, совокупность которых заставляла говорить: в сельском хозяйстве вздохнуть некогда; сельское хозяйство такое дело, что только на минутку ты от него отвернись, так оно тебя рублем по карману наказало. Допустим, что это было самообольщение, но ведь вопрос не в том, правильно или неправильно смотрит человек на дело своей жизни, а в том, есть ли у него хоть какое-нибудь дело, около которого он может держаться. Дедушка, например, слыл одним из лучших хозяев в губернии, а между тем я положительно знаю, что он ни бельмеса не смыслил в хозяйстве, то есть пахал и сеял там (земли, дескать, вдоволь, рабочие руки даром — а все же хоть полтора зерна да уродится!), где нынче ни один человек со смыслом пахать и сеять не станет. Но он умел «спрашивать», и в этом заключалась вся тайна его репутации. И эта потребность «спрашивать» не сосредоточивалась на одном хозяйстве, но преследовала

его всюду, окрашивала всю остальную его деятельность, сообщая ей характер неумолкающей суеты. Он везде «спрашивал», везде являл себя энциклопедистом. И хотя эта суета, в конце концов, не созидала и сотой доли того, что она могла бы создать, если бы была применена более осмысленным образом, но она помогала жить и до известной степени оттеняла ту вещь, которая известна под именем жуировки и которую, без этих вспомогательных средств, следовало бы назвать смертельною тоской.

Мы, потомки дедушки Матвея Иваныча, решительно никаких хозяйственных интересов не имеем. Зачем, спрашиваю я вас, пойду я на пашню или на гумно? С кого я «спрошу»? А ведь и у меня, точно так же как и у дедушки, кроме «спрашивания», никаких других распорядительных средств по части сельского хозяйства не имеется. Поэтому, если мне и случается как-нибудь заблудиться на гумне, то я отнюдь не позволяю себе прикоснуться ни к мякине, ни к провеянному зерну. К чему? Ведь это любопытство только растравит мои раны! И заочно я совершенно уверен, что провеянное зерно содержит в себе наполовину мякины, а мякина, напротив, содержит наполовину невывеянного зерна.

Зачем же я буду удостоверяться в этом? Лучше я буду сидеть и вздыхать. Вздыхать — это мое право, и я с тем большим увлечением пользуюсь им, потому что это единственное право, которое я сам выработал и которого никто у меня не отнимет. В самом деле, не обидно ли: я не только не меньше дедушки знаю толк в сельском хозяйстве, но даже несколько больше, а между тем дедушка ежегодно ставил целый город скирдов, а у меня на гумне всего два скирдочка стоят, да и те какие-то растрепанные и накренившиеся набок. А все отчего? А оттого, милостивые государи, что как у меня, так и у дедушки главное основание сельскохозяйственных распоряжений все-таки не что иное, как система «спрашивания», с тою лишь разницей, что дедушка мог «спрашивать», а я не могу. Следовательно, мне и хозяйничать нечего, а надлежит все бросить и как можно скорее ехать в столичный город Петербург и там наслаждаться пением девицы Филиппа, проглатыванием у Елисеева устриц и истреблением шампанских вин у Дюссо до тех пор, пока глаза не сделаются налитыми и вполне круглыми.

Затем четвертый оттеняющий жизнь элемент — моцион… Но права на моцион, по-видимому, еще мы не утратили, а потому я и оставляю

этот вопрос без рассмотрения. Не могу, однако ж, не заметить, что и этим правом мы пользуемся до крайности умеренно, потому что, собственно говоря, и ходить нам некуда и незачем, просто же идти куда глаза глядят — все еще как-то совестно.

Таким образом, вопрос, отчего нас так скоро утомляют те несложные удовольствия, которые нимало не пресыщали наших предков, отчасти разъясняется. Но, написавши изложенное выше, я невольным образом спрашиваю себя: ужели перо мое начертало апологию доброго старого времени — апологию тех патриархальных отношений, которые так картинно выражались в крепостном праве?

Не пугайся, однако ж, о слишком либеральный читатель! Речь идет вовсе не о том. Жаль не крепостного права, а жаль того, что право это, несмотря на его упразднение, еще живет в сердцах наших. Отрешившись от него внешним образом, мы не выработали себе ни бодрости, составляющей первый признак освобожденного от пут человека, ни новых взглядов на жизнь, ни более притязательных требований к ней, ни нового права, а просто-напросто успокоились на одном формальном признании факта упразд-

нения. Разве этим все сказано? Разве это конец, а не начало?

Затем я предоставляю каждому по собственному усмотрению разрешить второй из поставленных выше вопросов: насколько мы лучше наших пращуров и насколько сумели расширить наш кругозор? Я же, со своей стороны, могу разрешить этот вопрос лишь следующим образом.

Да, мы лучше наших пращуров, но лучше не сами по себе, а потому, что мы отцы детей наших, которые, несомненно, будут лучше и наших пращуров, и нас.

Совершенно свежий и трезвый, я вышел на улицу с твердым намерением идти на все четыре стороны, как при самом выходе, на крыльце, меня застиг Прокоп.

— Так вот он где! — загремел он своим лающим голосом. — Ну, батюшка, задали вы нам задачу!

Признаюсь, при звуке этого голоса я струсил. Вот, думаю, сейчас схватит он меня в охапку и опять потащит к Елисееву.

— Мы думали, что он тихим манером концессию выслеживает, а он, прошу покорно, Шнейдершу изучает! Видели, батюшка, видели!

— Да, кстати… а ваши дела по концессии?

— Ну их!

Прокоп вдруг заволновался, и несколько секунд я думал, что у него от гнева сперло в зобу дыхание.

— Нет, вы представьте себе, какая со мной штука случилась! — воскликнул он наконец. — Все дело уж было на мази, и денег я с три пропасти рассорил, вдруг хлоп — решение: вести от Изюма дорогу несвоевременно! Это от Изюма-то!

— Гм… да… Изюм… это…

— Одно слово: Изюм! Только назови, всякий поймет! Да ведь кому у нас понимать-то — вы вот что мне скажите! Кому понимать-то!

Я чувствовал, что вот-вот Прокоп сейчас ударится в либереализм, и как-то инстинктивно пролепетал:

— Prenez gardeon… peut nous entendre…[36]

— Ну их! Боюсь я их, что ли! По мне, хоть сколько хочешь подслушивай! Так вот, сударь, какие дела у нас делаются!

— Ну и что ж теперь!

— Теперь я другую линию повел. Железнодорожную-то часть бросил. Я свое дело сделал, указал на Изюм — нельзя? — стало быть, куда хочешь, хоть к черту-дьяволу дороги веди, мое дело

---

[36] Сноски: 36
Остерегайтесь… нас могут слышать… (*фр.*)

теперь сторона! А я нынче по административной части гусара запустил. Хочу в губернаторы. С такими, скажу вам, людьми знакомство свел — отдай все, да и мало!

— А что?

— Да уж шабаш! Одно скверно — скучно очень, да и водки не подают. Не хотите ли, я вас сегодня вечером представлю? Сегодня в одном месте проект об уничтожении читать будут.

— Об уничтожении чего же?

— Ну… чего? Всего, разумеется. И мировые суды чтоб уничтожить, и окружные суды чтобы побоку, и земство по шапке. Словом сказать, чтобы ширь да высь — и больше ничего!

— Что вы! Да ведь это целая революция!

— А вы как об этом полагали! Мы ведь не немцы, помаленьку не любим! Вон головорезы-то — слышали, чай? — миллион триста тысяч голов требуют, ну а мы, им в пику, сорок миллионов поясниц заполучить желаем!

Прокоп, сказав это, залился добродушнейшим смехом. Этот смех — именно драгоценнейшее качество, за которое решительно нет возможности не примириться с нашими кадыками. Не могут они злокозничать серьезно, сейчас же сами свои козни на смех поднимут. А если который и нач-

нет серьезничать, то, наверное, такую глупость сморозит, что тут же его в шуты произведут, и пойдет он ходить всю жизнь с надписью «гороховый шут».

— Однако это любопытно!

— Еще как любопытно-то, умора! Нынче прожекты-то эти в моде: все пишут! Один пишет о сокращении, другой — о расширении. Недавно один из наших даже прожект о расстрелянии прислал — право!

— И что ж?

— На виду! Говорят: горяченько немного, однако кой-чем позаимствоваться можно.

— Стало быть, и вы…

— Еще бы. И я прожект о расточении написал. Ведь и мне, батюшка, пирожка-то хочется! Не удалось в одном месте — пробую в другом. Там побываю, в другом месте прислушаюсь — смотришь, ан помаленьку и привыкаю фразы-то округлять. Я нынче по очереди каждодневно в семи домах бываю и везде только и дела делаю, что прожекты об уничтожении выслушиваю.

Говоря таким образом, мы вышли на Невский проспект и поравнялись с Домиником.

— Зайти разве? — пригласил Прокоп. — Ведь я с тех пор, как изюмскую-то линию порешили,

к Елисееву — ни-ни! Ну его! А у Доминика, я вам доложу, кулебяки на гривенник съешь да огня на гривенник же проглотишь — и прав! Только вот мерзлого сига в кулебяку кладут — это уж скверно!

— Признаюсь, не хотелось бы заходить. Все пьешь да пьешь… Голова как-то…

— Да разве возможно не пить! Вот хоть бы то место, куда мы сегодня поедем: разве наш брат может там хоть один час пробыть, не подкрепившись зараньше? Скучища адская, а развлечение — один чай. Кабы, кажется, не надежды мои на получение — ни одной минуты в этом постылом месте не остался бы!

Согласился. Съели по два куска кулебяки; выпили по две рюмки водки.

— Да обедаем вместе! Тут же, не выходя, и исполним все, что долг повелевает! Скверно здесь кормят — это так. И масло горькое, и салфетки какие-то… особливо вон та, в углу, что ножи обтирают… Ну, батюшка, да ведь за рублик — не прогневайтесь!

Одним словом, день пошел своим чередом.

Вечером Прокоп заставил меня надеть фрак и белый галстух, а в десять часов мы уже были в салонах князя Оболдуй-Тараканова.

Раут был в полном разгаре; в гостиной стоял говор; лакеи бесшумно разносили чай и печенье. Нас встретил хозяин и после первых же рекомендательных слов Прокопа произнес:

— Рад-с. Нам, консерваторам, не мешает как можно теснее стоять друг около друга. Мы страдали изолированностью — и это нас погубило. Наши противники сходились между собою, обменивались мыслями — и в этом обмене нашли свою силу. Воспользуемся же этою силой и мы. Я теперь принимаю *всех*, лишь бы эти *все* гармонировали с моим образом мыслей; *всех*... vous concevez?[37] Я, впрочем, надеюсь, что вы консерватор.

Признаюсь, я так мало до сих пор думал о том, консерватор я или прогрессист, что чуть было не опешил перед этим вопросом. Притом же фраза: «Я теперь принимаю *всех*» — как-то странно покоробила меня. «Вот, — мелькнуло у меня в голове, — скотина! Заискивает, принимает и тут же считает долгом дать почувствовать, что ты в его глазах не больше как *все*!» Вот это-то, собственно, и называется у нас сближением. Один принимает у себя другого и думает: «С каким бы я

---

[37] Сноски: 37
Понимаете? (*фр.*)

наслаждением вышвырнул тебя, курицына сына, за окно, кабы…» — а другой сидит и тоже думает: «С каким бы я наслаждением плюнул тебе, гнусному пыжику, в лицо, кабы…» Представьте себе, что этого «кабы» не существует, — какой обмен мыслей вдруг произошел бы между собеседниками! Быть может, соображения мои пошли бы и дальше по этому направлению, но, к счастью для меня, я встретил строгий взор Прокопа и поспешил на скорую руку сказать:

— Mais oui! Mais comment donc! Mais certainement![38]

Затем последовало представление княгине и какому-то крошечному старичку (дяде хозяина), который сидел отдельно на длинном кресле и имел вид черемисского божка, которому вымазали красною глиной щеки и вместо глаз вставили можжевеловые ягодки.

Картина, представлявшаяся моим глазам, была следующего рода. Хозяин постоянно был на ногах и переходил от одной группы беседующих к другой. Это был человек довольно высокий, тощий и совершенно прямой, но возраст его я и теперь определить не могу. Скорее всего, это был один

---

[38] Сноски: 38
Ну разумеется! Ну как же! Конечно! (*фр.*)

из тех людей без возраста, каких в настоящее время встречается довольно много и которые, едва покинув школьную скамью, уже смотрят государственными младенцами. Физиономия его имела что-то кисло-надменное; речь и движения были сдержанны и как бы брезгливы. Очевидно, тут все держалось очень усиленною внешнею выправкой, скрывавшей то внутреннее недоумение, которое обыкновенно отличает людей раздраженных и в то же время не умеющих себе ясно представить причину этого раздражения. Подобного рода выправка очень многими принимается за серьезность и представляет весьма значительное вспомогательное средство при составлении карьеры. Княгиня, женщина видная, очень красивая, сидела за особым établissement[39], около которого ютились какие-то поношенные люди, имевшие вид государственных семинаристов. Один из них объяснял на французском диалекте вопрос о соединении церквей, причем слегка касался и того, в каком отношении должна находиться Россия к догмату о папской непогрешимости. Тут же сидел французский attaché из породы брюнетов, который ел княгиню глазами и ждал

[39] Сноски: 39
Стол (*фр.*).

только конца объяснений по церковным вопросам, чтобы в свою очередь объяснить княгине мотивы, побудившие императора Наполеона III начать мексиканскую войну. Гости сидели и стояли группами в три-четыре человека, и между ними я заприметил несколько кадыков, которых видел у Елисеева и которые вели себя теперь необыкновенно солидно. В следующей комнате мелькали женские фигуры (то были сестры хозяина и их подруги) вперемежку с безбородыми молодыми людьми, имевшими вид ососов. По временам оттуда долетал сдержанный смех, обыкновенно сопровождающий так называемые «невинные игры». Я встал около дверей и увидел странное зрелище. Посредине комнаты стоял старик француз, который с полупомешанным видом декламировал:

– *Petit oiseau! Qui es-tu?*[40]

И затем от лица птички отвечал, что она l'envoyé du ciel[41], родилась dans les airs[42] и т. д.

---

[40] Сноски: 40
Птичка! Кто ты? (*фр.*)

[41] Сноски: 41
Вестница неба (*фр.*).

[42] Сноски: 42
В воздушном пространстве (*фр.*).

Затем предлагал опять вопрос:

– Petit oiseau! Où vas-tu?[43]

И опять объяснял, что она летит, чтобы утешить молодую мать, отереть слезы невинному младенцу, наполнить радостью сердце поэта, пропеть узнику весть о его возлюбленной и т. д.

– Petit oiseau! Que veux-tu?[44]

— Charmant! — восклицала молодая особа! — Monsieur Connot! Mais recitez-nous donc quelque chose de «Zaire»![45]

— «Zaire», mesdames, — начал мсье Конно, становясь в позу, — c'est comme vous le savez, une des meilleures tragédies de Voltaire…[46]

Но я уже не слушал далее. Увы! Не прошло еще четверти часа, а уже мне показалось, что теперь самое настоящее время пить водку.

Тем не менее я переломил себя и поспешил при-

---

[43] Сноски: 43

Птичка! Куда ты летишь? (*фр.*)

[44] Сноски: 44

Птичка! Чего ты хочешь? (*фр.*)

[45] Сноски: 45

Прелестно! Мсье Конно! Прочитайте же нам что-нибудь из «Заиры»! (*фр.*)

[46] Сноски: 46

«Заира», сударыни, как вам известно, одна из лучших трагедий Вольтера… (*фр.*)

мкнуть к группе, в которой находился хозяин.

— Ваше мнение, messieurs, — говорил он, — вот насущная потребность нашего времени; вы люди земства, — действительная консервативная сила России. Вы, наконец, стоите лицом к лицу с народом. Мы без вас, selon l'aimable expression russe[47], ни взад ни вперед. Только теперь начинает разъясняться, сколько бедствий могло бы быть устранено, если бы были выслушаны *лучшие люди* России!

— «Излюбленные», ваше сиятельство! — осклабился какой-то государственный семинарист.

— Именно «излюбленные»! C'est le mot! Vous savez, messieurs, que du temps de Jean le Terrible il y avait de ces gens qu'on qualifiait d' «izlioublenny», et qui, ma foi, ne faisaient pas mal les affaires du feu tzar![48]

— А что там у нас делается, князь, кабы вы изволили видеть, чудеса! — доложил почтительным басом Прокоп. — Народ споили, рабочих взять негде, хозяйство побросали... смотреть, ваше

---

[47] Сноски: 47

По милому русскому выражению (*фр.*).

[48] Сноски: 48

Вот именно! Вы знаете, господа, что во времена Ивана Грозного существовали люди, которых именовали излюбленными и которые, право же, неплохо вели дела покойного царя! (*фр.*)

сиятельство, больно!

— Не отчаивайтесь… ne perdez pas courage![49] Русский народ добр… au fond, notre peuple est excellent![50] Впрочем, я уже давно все предвидел и изложил в моей записке об устранении… Теперь я кончаю мой другой труд, об уничтожении, который, я надеюсь… К сожалению, я не могу сегодня представить его на ваш суд, потому что недостает несколько штрихов. Но у меня есть другой небольшой труд, который я немного погодя, lorsque nous serons au complet[51], буду иметь честь прочесть вам.

— Нет, вы скажите, ваше сиятельство, куда это нас приведет?

— Боюсь сказать, но думаю выразить мысль, общую нам всем: мы быстрыми, но твердыми шагами приближаемся… en un mot, nous dansons sur un volcan![52]

— Да еще на каком волкане-то, князь! Ведь это

---

[49] Сноски: 49
Не теряйте бодрости! (*фр.*)

[50] Сноски: 50
В сущности, наш народ превосходен! (*фр.*)

[51] Сноски: 51
Когда мы будем в полном составе (*фр.*).

[52] Сноски: 52
Одним словом, мы пляшем на вулкане! (*фр.*)

точь-в-точь лихорадка: то посредники, то акцизные, то судьи, а теперь даже все вместе! Конечно, вам отсюда этого не видно…

— Но поэтому-то мы и просим вас, messieurs: выскажитесь! Дайте услышать ваш голос! Expliquez-nous le fin mot de la chose — et alors nous verrons…[53] По крайней мере, я убежден, что если б каждый помещик прислал свой проект… mais un tout petit projet!.[54]. Согласитесь, что это нетрудно! Вы какого об этом мнения? — внезапно обратился князь ко мне.

— Mais oui! Mais comment donc! Un tout petit projet! Mais avec plaisir![55] — на скорую руку выговорил я, и вслед за тем употребил очень ловкий маневр, чтобы незаметным образом отделиться от этой группы и примкнуть к другой.

— Куда мы идем! — слышалось в этой другой группе. — К чему приближаемся!

— И это та самая Россия, которая двадцать лет

---

[53] Сноски: 53
Разъясните нам суть дела — и тогда мы посмотрим… (*фр.*)

[54] Сноски: 54
Совсем маленький проект!.. (*фр.*)

[55] Сноски: 55
Да! Конечно! Совсем маленький проект! С удовольствием! (*фр.*)

назад цвела! Pauvre chére patrie![56]

— Тогда каждый крестьянин по праздникам щи с говядиной ел! пироги! А нынче! попробуйте-ка спросить, на сколько дворов одна корова приходится?

— Comment? Comment, dites-vous?[57] — послышался голос хозяина. — Прежде мужики ели щи с говядиной?.. Vous en êtes bien sûr?[58]

— Точно так, ваше сиятельство. В моем собственном имении так было. А в храмовые праздники даже уток резали!

— Ссс… А теперь, вы говорите, одна корова на несколько дворов!

— Это верно-с. Да что же тут мудреного, ваше сиятельство! Сначала посредники, потом акцизные, потом судьи. Ведь это почти лихорадка-с! Вот вы недавно оттуда — как об этом думаете?

— Я… что ж… я, конечно… Mais oui! Mais comment donc! Mais certainement![59] — пробормо-

---

[56] Сноски: 56
Бедная дорогая родина! (*фр.*)

[57] Сноски: 57
Как? Как, вы говорите? (*фр.*)

[58] Сноски: 58
Вы в этом уверены? (*фр.*)

[59] Сноски: 59
Ну разумеется! Ну как же! Конечно! (*фр.*)

тал я опять на скорую руку и тут же предпринял маневр, чтобы как-нибудь примкнуть к третьей группе.

— Народ без религии все равно что тело без души, — шамкал какой-то седовласый младенец. — Отнимите у человека душу, и тело перестает фонксионировать, делается бездушным трупом; точно так же отнимите у народа религию — и он внезапно погрязает в пучине апатии. Он перестает возделывать поля, становится непочтителен к старшим и в своем высокомерии возвышает заработную плату до таких размеров, что и предпринимателю ничего больше не остается, как оставить свои плодотворные прожекты и идти искать счастья ailleurs![60]

— Куда мы идем — вот что вы объясните нам!

— Без религии, без авторитетов, без истинного знания куда же можно прийти, кроме… Но я не произношу этого страшного слова, а просто зажмуриваю глаза и говорю: «Dieu, qui méne toutes choses à bien, ne laissera pas périr notre chére et sainte Russie…»[61], messieurs!

---

[60] Сноски: 60

В другом месте! (*фр.*)

[61] Сноски: 61

Бог, который направляет все к благу, не допустит гибели нашей дорогой святой Руси… (*фр.*)

Тут уж я сам не выдержал и произнес:

— Mais oui! Mais comment donc! Mais certainement![62]

При этом перерыве седовласый младенец посмотрел на меня так изумленно, как будто я оскорбил его. Взор его совершенно явственно говорил: «Qu'est-ce qu'il veut, cet intrus, avec son «comment donc»?»[63]

Я вспомнил недавние слова хозяина «теперь мы принимаем *всех*», и в уме моем опять мелькнуло: скотина! Нечего и говорить, что я сейчас же поспешил осчастливить своим присутствием четвертую группу.

— Земледелие уничтожено, промышленность чуть-чуть дышит (прошедшим летом, в мою бытность в уездном городе, мне понадобилось пришить пуговицу к пальто, и я буквально — à la lettre! — не нашел человека, который взял бы на себя эту операцию!), в торговле застой... Скажите, куда мы идем?

В ответ слышатся вздохи.

— Я, впрочем, десять лет назад предвидел это. Я уже тогда всем и каждому говорил: «Messieurs!

---

[62] Сноски: 62
Ну разумеется! Ну как же! Конечно! (*фр.*)

[63] Сноски: 63
Чего хочет этот пришелец со своим «как же»? (*фр.*)

Мы стоим у подошвы вулкана! Остерегитесь, ибо еще шаг — и мы будем на вершине оного!»

— Mais oui! Mais certainement! Mais comment donc! — отвечает кто-то за меня, покуда я маневрирую к пятой группе.

— И чего церемонятся с этою паскудною литературой! — слышится в этой группе. — Ведь это, наконец, неслыханно!

— А суд, ваше превосходительство, между тем оправдывает-с!

— Ах этот суд! Вот он где у меня сидит, этот суд!

— Я, ваше превосходительство, записку составил, где именно доказываю, что в литературе нашей, со смерти Булгарина, ничего, кроме тлетворного направления, не существует-с.

— Тлетворное — c'est le mot! C'est un malfaiteur qui tue par sa puanteur nauséabonde![64] Я со времени покойного Николая Михайловича (c'était le bon temps!)[65] ничего не читаю, но на днях мне, для курьеза, прочитали пять строк… всего пять строк! И клянусь вам богом, что я увидел тут

---

[64] Сноски: 64

вот именно! Это злодей, который убивает своим вредоносным зловонием! (*фр.*)

[65] Сноски: 65

То было доброе время! (*фр.*)

все: и дискредитирование власти, и презрение к обществу, и насмешку над религией, и космополитизм, и выхваление социализма… Ma parole, c'était tout un petit cosmos d'immondices de tout genre![66]

— Я, ваше превосходительство, именно эту самую мысль в моей записке провожу-с!

— И прекрасно делаете, друг мой! Надобно, непременно надобно, чтобы люди бодрые, сильные спасали общество от растлевающих людей! И каких там еще идей нужно, когда вокруг нас все с божьею помощью цветет и благоухает! N'est-ce pas, mon jeune ami?[67]

Увы! Вопрос этот относился опять ко мне, и я опять не нашел никакого ответа, кроме:

—

Mais oui! Mais comment donc! Mais certainement!

К счастью, в это время в гостиной раздалось довольно громогласное «ш-ш». Я обернулся и увидел, что хозяин сидит около одного из столов и держит в руках исписанный лист бумаги.

— Messieurs, — говорил он, — по желанию некоторых уважаемых лиц, я решаюсь передать

---

[66] Сноски: 66
Даю слово, это был целый мирок всевозможных гадостей! (*фр.*)

[67] Сноски: 67
Не правда ли, мой юный друг? (*фр.*)

на ваш суд отрывок из предпринятого мною обширного труда об уничтожении. Отрывок этот носит название «Как мы относимся к прогрессу?», и я помещу его в передовом нумере одной газеты, которая имеет на днях появиться в свет…

— Mesdemoiselles, voulez-vous bien venir écouter ce que va lire le prince?[68] — обратилась княгиня в другую комнату.

Смех и шум прекратились — молодежь высыпала в гостиную.

— Надо вам объяснить, messieurs, что мы, то есть члены консервативной партии, давно чувствовали потребность в печатном органе. У нас была одно время газета, но, отчасти по недостатку энергии, отчасти вследствие некоторой шаткости понятий, она прекратила свое плодотворное существование. Теперь мы решились издавать новую газету под юмористическим названием «Шалопай» — ежедневное консервативно-либеральное прибежище для молодцов, не знающих, куда приклонить голову. Мы выбрали это название, потому что оно совершенно в русском, немножко насмешливом тоне… N'est-

[68] Сноски: 68
Барышни, не хотите ли послушать, что будет читать князь? (*фр.*)

ce pas, messieurs?[69]

— Из-за одного заглавия, ваше сиятельство, сколько будет пренумерантов! Вот увидите! — вставил свое слово господин, который хвастался запиской о тлетворном направлении современной русской литературы.

— Итак, messieurs, приступим.

«КАК МЫ ОТНОСИМСЯ К ПРОГРЕССУ?

Сила совершившихся фактов, без сомнения, не подлежит отрицанию. Факт совершился — следовательно, не принять его нельзя. Его нельзя не принять, потому что он факт, и притом не просто факт, но факт совершившийся (в публике шепот: «*Quelle lucidité*!»[70]). Это, так сказать, фундамент, или, лучше сказать, азбука, или, еще лучше, отправной пункт.

Итак, факт совершился!

И мы не отрицаем его, но принимаем с благодарностью. Мы с благоговейною благодарностью принимаем все совершившиеся факты, хотя бы появление некоторых из них казалось нам при-

---

[69] Сноски: 69
Не правда ли, господа? (*фр.*)

[70] Сноски: 70
Какая ясность ума! (*фр.*)

скорбным и даже легкомысленным (в публике: «*Avalez-moi cela, messeigneurs*!»[71]). Факт совершился — и мы благодарим. Мы благодарим, потому что мы благодарны по самой природе, потому что наши предания, заветы наших отцов, наше воспитание, правила, внушенные нам с детства, — все, en un mot[72], создало нас благодарными…»

— Pardon! — раздается голос старого дяди. — Vous avez fourre là une expression française! Mettez plutôt[73], — «одним словом».

— C'est juste, mon oncle![74] Итак, messieurs: «…Все, *одним словом*, создало нас благодарными. Мы не можем не благодарить, точно так же как не можем не принести наши сердца на алтарь отечества в минуту опасности. Отечество, находящееся в опасности, — это мы сами, находящиеся в опасности! И мы не принесем ему в дар сердца наши — мы поспешим привет-

---

[71] Сноски: 71
Извольте и это проглотить, господа! (*фр.*)

[72] Сноски: 72
Одним словом (*фр.*).

[73] Сноски: 73
Вы ввели тут французское выражение! Скажите лучше (*фр.*).

[74] Сноски: 74
Правильно, дядюшка! (*фр.*)

ствовать его врагов! Нет, мы не сделаем ни того ни этого, потому что отечество и мы — это что-то совершенно нераздельное. Это до такой степени не подлежит отделению в смысле умственности, как и в смысле материальности, что как отечество не может существовать без нас, так и мы не можем существовать без него. А потому, возвращаясь к первичной моей мысли, повторяю: мы благодарим, ибо это есть наша натура.

Теперь рассмотрим несколько близким образом, что такое есть это священное право благодарить.

Благодарить — это фимиам. Это возносящийся фимиам сердца. Точно так же, как для того, чтобы понятно писать по-русски, надобно прежде всего и преимущественнейше обзнакомиться с русским языком и памятниками грамотности, точно так же, повторяем мы, для того, чтобы благодарить, надобно иметь доброе и преданнейшее сердце. Но преданнейшее сердце не только благодарит, но и преимущественнейше предостерегает. Или, лучше сказать, не предостерегает, в грубом значении этого слова, но от благодарных чувств заявляет. Мы не отрицаем совершившихся фактов, мы благодарим, но в то же время заявляем! Мы заявляем, потому что имеем пре-

даннейшее сердце, и потому заявление является на устах наших не в печальном образе горькой улыбки, но в прекрасном виде улыбки, исполненной доверия. Мы не осмеливаемся изречь из наших уст: «Довольно!», ибо не можем даже знать, действительно ли есть то довольно, что нам кажется таковым. Но мы говорим: «Примите благоговейный фимиам, который испускают наши сердца, и ежели мы ошибаемся, то дайте нашей мыслительности другое направление!»

— Encore une fois pardon![75] — вновь откликается дядя. — Мне кажется, это не совсем точно! Не лучше ли сказать: «Дайте другое и, конечно, *столь же благоговейное* направление нашей мыслительности». А еще бы лучше: «*нашим мыслительным благожелательностям*»? N'oubliez pas, mon cher, que vous protestez (ты мягко стелишь, да жестко будет спать, comme dit un charmant proverbe russe), et tu sais que dans ces choses-là rien n'est à négliger![76] Присутствующие переглядываются между собой, как бы говоря:

---

[75] Сноски: 75

Еще раз извините! (*фр.*)

[76] Сноски: 76

Не забывайте, дорогой мой, что вы протестуете… (как гласит превосходная русская пословица) а ты знаешь, что в этих вещах нельзя ничем пренебрегать! (*фр.*)

какой тонкий старик!

— Merci, mon oncle, vous avez touché juste![77] Итак, messieurs, будем продолжать в измененной редакции:

«…другое и, конечно, столь же благоговейное направление нашим мыслительным благожелательностям.

Итак, факт совершился. Мы все видели его совершение, и сердца наши благожелательно — можно сказать, благоговейно — содрогались. Теперь, мы спрашиваем себя только, должен ли повторяться этот едва совершившийся факт безгранично, и на вопрос этот позволяем себе думать, что ежели бы рядом с совершившимся фактом было поставлено благодетельное *тире*, то от сего наши сердца преисполнились бы не менее благоговейною признательностью, каковою был фимиам, наполнявший их по поводу совершившегося факта. Мы были благодарны за факт, но мы, конечно, будем не меньше благодарить и за тире, ибо, как я сказал уже выше, право благодарить есть, так сказать, лучшее и преимущественнейшее право, которое мы за собой признаем!

---

[77] Сноски: 77
Благодарю, дядюшка, вы правильно подметили! (*фр.*)

Совершившийся факт — это есть мудрость. *Тире* — это есть более, нежели мудрость: это мудрость в мудрости («*quelle profondeur*!»[78]). Вспомним по сему случаю Наполеона Третьего, а в настоящую минуту князя Бисмарка. Они сие должны со временем познать, что мы теперь от себя скромным образом утверждаем. Вспомним еще великого преобразователя экономических законов Англии Роберта Пиля, но не забудем и величайшего Вашингтона! Везде и повсюду — закон один, который есть таков: прогресс — это мудрость стремительная, уносящая за собой историю; *тире* — это мудрость, оглядывающаяся назад, скующая историю, а не низвергающая ее в прах!

Стало быть, если мы благоговейно просим поставить *тире*, то не только не грешим против мудрости действительной, но даже споспешествующим образом доказываем, какая от того есть приносимая польза.

Мы объяснились с нашими читателями с открытым сердцем; надеемся, что они с таковым же отнесутся и к нам. Быть может, нас будут бранить ретроградами, но мы того не боимся. Мы

---

[78] Сноски: 78
Какая глубина! (*фр.*)

не имеем ничего бояться, ибо мы не ретрограды. Мы только не хотим бежать вперед сломя голову, потому что ежели все побегут и от того сломают головы, что может из сего произойти, кроме несвоевременной гибели? Вот этого именно вопроса никогда не задают себе господа — слишком пламенные прогрессисты, но не мешало бы от времени до времени все оное себе припоминать. Мы говорим: «не мешало бы, потому что никогда не мешает то, что есть само по себе полезно. А что припоминание такого рода полезно, то это несомненно доказывается приносимою им везде и повсюду бесчисленною пользой.

Затем, прощаясь с читателями до следующего нумера, в коем постараемся обстоятельнейше объяснить нашу profession de foi[79], воскликнем: «С нами наше право!», а затем: «Да пребудет над нами Божие благословение!»

Хозяин умолк. В публике раздавались сдержанные восклицания: «Прекрасно!», «Мастерски!», «Bien écrit et surtout bien pensé!»[80]

Но я почти обезумел от скуки. Никогда я так ясно не сознавал, что пора пить водку, как в эту

---

[79] Сноски: 79
Символ веры (*фр.*).

[80] Сноски: 80
Прекрасно написано и в особенности прекрасно задумано! (*фр.*)

минуту. Прокоп, очевидно, следил за выражением моего лица, потому что подошел ко мне, как только кончилось чтение.

— Уйдем: на тебе лица нет, — тошнит тебя, что ли? — Он вдруг начал говорить мне «ты».

Мы вышли; нас охватила лунная морозная петербургская ночь.

— Айда к Палкину! — скомандовал Прокоп извозчику. — Я, брат, нынче все у Доминика да у Палкина развлекаюсь: напитки тут крепки. Есть устрицы у Елисеева да ужинать у Дюссо тогда хорошо, когда на сердце легко. Концессию там выхлопотываешь или Шнейдершу облюбовываешь — ну и тянет тебя к легкому напитку. А как наслушаешься прожектов об уничтожении да о расстрелянии, так на сердце-то сделается так моркотно, так моркотно, что рад целую четверть выпить, чтобы его опять в прежнее положение привести! А какова статейка-то?

— Гм… да… статья… это…

Вспомнив про статью, я так обозлился, что не своим голосом закричал на извозчика:

— Пошел!

— Да, брат, за такие статейки в уездных училищах штанишки снимают, а он еще вон как кочевряжится. Для того, говорит, чтобы понятно

писать по-русски, надобно прежде всего и преимущественнейше обзнакомиться с русским языком… Вот и поди ты с ним!

Мы пробеседовали у Палкина до двух часов. Съели только по одному бифштексу, но выпили…

Одним словом, мы вышли на улицу, держась под руки. Кажется, даже пели песни.

На другой день утром, вероятно — в видах скорейшего вытрезвления, Прокоп принес мне знаменитый проект «о расстрелянии и благих оного последствиях», составленный ветлужским помещиком Поскудниковым. Проекту предпослано вступление, в котором автор объясняет, что хотя он *со времени известного происшествия* живет в деревне не у дел, но здоровье его настолько еще крепко, что он и на другом поприще мог бы довольно многое «всеусерднейше и не к стыду» совершить. А коль скоро человек в чем-нибудь убежден, то весьма естественно, что в нем является желание в том же убедить и других. Отсюда попытка разъяснить вопрос: *отчего все сие происходит*? — а затем и осуществление этой попытки в форме предлагаемого проекта.

Отчего все сие происходит? Конечно, от недостатка спасительной строгости. Если бы, например, своевременно было прибегнуто к расстреля-

нию, то и общество было бы спасено, и молодое поколение ограждено от заразы заблуждений. Конечно, нелегко лишить человека жизни, «сего первейшего дара милосердого творца», но автор и не требует, чтобы расстреливали всех поголовно, а предлагает только «расстреливать по внимательном всех вин рассмотрении, но неукоснительно». И тогда «все сие» исчезнет, «лицо же добродетели, ныне потускневшее, воссияет вновь, как десять лет назад».

Некоторые мотивы, которыми автор обусловливает необходимость предлагаемой меры, не изъяты даже чувствительности. Так, например, в одном месте он выражается так: «Молодые люди, увлекаемые пылкостью нрава и подчиняясь тлетворным влияниям, целыми толпами устремляются в бездну, а так как подобное устремление законами нашего отечества не допускается, то и видят сии несчастные младые свои существования подсеченными в самом начале (честное слово, я даже прослезился, читая эти строки!). А мы равнодушными глазами смотрим на сие странное позорище, видим гибель самой цветущей и, быть может, самой способной нашей молодежи, и не хотим пальцем об палец ударить, чтобы спасти ее. Устремим же наши спа-

сительные ладьи для спасения сих утопающих, подадим руку помощи этим несчастным увлекающимся юношам! Сделаем все сие — и тогда с спокойною совестью скажем себе: мы совершили все для ограждения детей наших!»

Но всего замечательнее то, что и вступление, и самый проект умещаются на одном листе, написанном очень разгонистою рукой! Как мало нужно, чтоб заставить воссиять лицо добродетели! В особенности же кратки заключения, к которым приходит автор. Вот они:

«А потому полагается небесполезным подвергнуть расстрелянию нижеследующих лиц:

Во-первых, всех несогласно мыслящих.

Во-вторых, всех, в поведении коих замечается скрытность и отсутствие чистосердечия.

В-третьих, всех, кои угрюмым очертанием лица огорчают сердца благонамеренных обывателей.

В-четвертых, зубоскалов и газетчиков».

И только.

Вечером мы были на рауте у председателя Общества чающих движения воды, действительного статского советника Стрекозы. Присутствовали почти все старики, и потому в комнатах господствовал какой-то особенный, старческий

запах. Подавали чай и читали статью, в которой современная русская литература сравнивалась с вавилонскою блудницей. В промежутках, между чаем и чтением, происходил обмен вздохов (то были именно не мысли, а вздохи).

— Где те времена, когда пел сладкогласный Жуковский, когда Карамзин пленял своею прозой? — вздыхал один.

— «Как лебедь на брегах Меандра…» — зажмурив глаза, вздыхал другой.

— Увы! Из всей этой плеяды остался только господин Страхов! — вздыхаючи вторил третий.

— Куда мы идем? Куда идем! — вздыхал четвертый.

Старцы задумывались и в такт покачивали головами.

Очень возможное дело, что они так и заснули бы в этой позе, если бы от времени до времени не пробуждал их возглас:

— И это литература! Куда мы идем?

Я пробыл у действительного статского советника Стрекозы с девяти до одиннадцати часов и насчитал, что в течение этого времени по крайней мере двадцать раз был повторен вопрос: «Куда мы идем?» Это произвело на меня такое тоскливое, давящее впечатление, что, когда мы

вышли с Прокопом на улицу, я сам безотчетно воскликнул:

— Куда же мы в самом деле идем?

— Сегодня я сведу тебя к Шухардину, — ответил Прокоп, — а завтра, если бог грехам потерпит, направим стопы в «Старый Пекин».

Опять два бифштекса и, что всего неприятнее, опять возвращение домой с песнями. И с чего я вдруг так распелся? Я начинаю опасаться, что если дело пойдет таким образом дальше, то меня непременно когда-нибудь посадят в часть.

На третий день раут у председателя Общества благих начинаний, отставного генерала Проходимцева. Приходим и застаем компанию человек в двенадцать. Все отставные провиантские чиновники, заявившие о необыкновенном усердии во время Севастопольской кампании. У всех на лицах написано: «Я по суду не изобличен, а потому надеюсь еще послужить!» Общество сидит вокруг чайного стола; хозяин читает:

А он: моя ты лада!
Есть место репе, точно,
Но сад засеять надо

За то, что он цветочный![81]

— Прекрасно! Не в бровь, а прямо в глаз!

— Куда мы идем? Скажите, куда мы идем?

— Позвольте, господа, послушайте, что дальше будет!

Ее (рощу) порубят, лада,
На здание такое,
Где б жирные говяда
Кормились на жаркое!

— Но какой стих! Вот наконец настоящая-то сатира!

— Ш-ш… ш-ш… Слушайте! Слушайте!

– О, друг ты мой единый!
Воскликнула невеста.
Ужель для той скотины
Иного нету места?
– Есть много места, лада,
Но тот приют тенистый
Затем изгадить надо,
Что в нем свежо и чисто!

---

[81] Сноски: 81

См. и далее: отрывки из стихотворения графа А. К. Толстого «Баллада с тенденцией». Любопытствующие могут отыскать эту балладу в «Русском вестнике» за октябрь 1871 г. — *Примеч. авт.*

— Именно! Именно! — рукоплескали отставные провиантские чиновники, и затем поднялся хохот, который и не прерывался уже до самого конца пьесы. Особенный фурор произвело следующее определение современного материалиста:

Они ж, матерьялисты,
От имени прогресса
Кричат, что трубочисты
Суть выше Апеллеса...

— «Суть выше Апеллеса»! Каков, господа, пошиб! Вот это я называю сатирой! Это отпор! Это настоящий, заправский отпор!

Затем все на минуту смолкли и погрузились в думы. Как вдруг кто-то завыл:

— Куда мы идем? Объясните, куда мы идем?

И все, словно ужаленные, вскочили с мест и подняли такой неизреченный лай, что я поскорее схватил шляпу и увлек Прокопа в «Старый Пекин».

Бифштекс и возвращение домой с песнями.

И еще два вечера провел я в обществе испуганных людей и ничего другого не слышал, кроме возгласа: куда мы идем? Но после пятого вечера со мной случилось нечто совсем необыкновен-

ное.

Я проснулся утром с головною болью и долгое время ничего не понимал, а только смотрел в потолок. Вдруг слышу голос Прокопа: «Господи Иисусе Христе! Да где же мы?»

Вскакиваю, оглядываюсь и вижу, что мы в какой-то совершенно неизвестной квартире; что я лежу на диване, а на другом диване лежит Прокоп. Мною овладел страх.

Я вспомнил слышанную в детстве историю о каком-то пустынножителе, который сначала напился пьян, потом совершил прелюбодеяние, потом украл, убил — одним словом, в самое короткое время исполнил всю серию смертных грехов.

— Где мы вчера были? — обратился я к Прокопу.

Но Прокоп стоял как бы в остолбенении и только пялил на меня свои опухшие глаза.

Я стал припоминать и с помощью неимоверных усилий успел составить нечто целое из уцелевших в моем мозгу обрывков. Да, мы отправились сначала к Балабину, потом к Палкину, оттуда к Шухардину и, наконец, в «Пекин». Но тут нить воспоминаний оборвалась. Не украли ли мы в «Пекине» серебряную ложку? Не уби-

ли ли на скорую руку полового? Не вели ли нас на веревочке? Вот этого-то именно я и не мог восстановить в своей памяти.

Я припоминал, что со мною уже был почти такой же случай в молодости. В то время я был студентом Московского университета и охотно беседовал об искусстве (святое искусство!) в трактире «Британия». Однажды, находясь в хорошей компании, я выпил, рюмку за рюмкой, рублей на двадцать ассигнациями водки и, совершивши этот подвиг, исчез. Где я был, этого я совершенно не помню, но дело в том, что через каких-нибудь полчаса я опять воротился в «Британию», но воротился… без штанов! Можно себе представить, как изумило меня это обстоятельство, когда я, переночевав в «Британии» на бильярде, на другой день проснулся! И что ж оказалось? Что штаны мои преспокойно лежат у меня дома! Что я нарочно приходил домой, чтобы их снять, и, совершивши этот подвиг, отправился назад в «Британию»!

— Да каким же образом это случилось? Я говорил что-нибудь? Приказывал? — допрашивал я своего слугу.

— Ничего не изволили приказывать. Изволили прийти, сняли и опять ушли-с.

— Да что же я еще-то делал?

— Изволили прийти-с, сняли и опять ушли-с.

Так вот на какие подвиги я способен…

И вдруг, в ту самую минуту, когда мне все это припоминалось, дверь нашей комнаты отворилась, и перед нами очутился расторопный малый в мундире помощника участкового надзирателя. Оказалось, что мы находимся у него на квартире, что мы ничего не украли, никого не убили, а просто-напросто в безобразном виде шатались ночью по улице.

— Каким же образом у вас-то мы очутились? — полюбопытствовал Прокоп.

— Да просто шел я, по должности, дозором-с; ну, вижу: благородные люди… не могут объяснить место жительства-с…

Никогда не бывало мне до такой степени стыдно…

III

Пользуясь моею нравственною рыхлостью, Прокоп завалил меня проектами, чтение которых чуть-чуть не навело меня на мысль о самоубийстве. Истинно, только Бог спас мою душу от конечной погибели… Но буду рассказывать по порядку.

Прежде всего при одном воспоминании о моем последнем приключении мне было так совестно, что я некоторое время не мог подумать о себе, не покрасневши при этом. Посудите сами: приехать в Петербург, в этот, так сказать, центр российской интеллигенции, и дебютировать тем, что по истечении четырех недель очутиться, неведомо каким образом, в квартире помощника участкового надзирателя Хватова! Я взглянул на себя в зеркало — и ужаснулся: лицо распухло, глаза заплыли и даже потеряли способность делаться круглыми. С каким-то щемящим чувством безнадежности бродил я в халате из угла в угол по моему номеру и совершенно явственно чувствовал, как меня сосет. Именно «сосет» — и ничего больше. Если б кто-нибудь спросил

меня, что со мною делается, я положительно ничего другого не нашелся бы ответить, кроме этого странного слова «сосет». Не то тоска, не то смутное напоминание об адмиральском часе. К довершению позора, в течение целой недели, аккуратно изо дня в день, меня посещал расторопный поручик Хватов и с самою любезною улыбкой напоминал мне о моем грехопадении. Придет, сядет, закурит папироску и начнет:

— Иду, знаете, дозором, и вдруг вижу — благородные люди! И можно сказать, даже в очень веселом виде-с! Время, знаете, ночное-с… местожительства объявить не могут… Ну-с, конечно, как сам благородный человек… по силе возможности-с… Сейчас к себе на квартиру-с… Диван-с, подушки-с…

— То есть так я вам благодарен! Так благодарен! — заверял я в свою очередь, весь пунцовый от стыда. — Кажется, умирать стану, а услуги вашей не забуду!

— Помилуйте! Что же-с! Благородные люди… время ночное-с… местожительства объявить не могут… диван, подушки-с…

И таким образом целых семь дней сряду. Придет, выкурит три-четыре папиросы, выпьет рюмку водки, закусит и уйдет. Под конец даже

так меня полюбил, что начал говорить мне «ты».

«Дедушка Матвей Иваныч, — думалось мне в эти минуты, — воображал ли ты когда-нибудь, чтоб твой потомок мог покрыть себя подобным позором! Ты, который, выходя грузным из рязанско-козловско-тамбовского клуба, не торопясь влезал в экипаж, подсаживаемый верными слугами, и затем благополучно следовал до постоялого двора, где ожидали тебя и взбитая перина, и теплое пуховое одеяло! Ты, который о самом имени полиции знал только потому, что от времени до времени приходилось посылать какого-нибудь Андрюшку-пьяницу или Ионку-подлеца в часть! Мог ли ты представить себе, что твой родной внук, как какой-нибудь беспаспортный мещанин, проведет целую ночь в самом сердце той самой полиции, о которой ты знал только понаслышке как о вместилище клопов, блох и розог! Что этот внук будет поднят на улице (позор! У него нет ни экипажа, ни верных слуг, ни цуга лошадей!) и призрен, буквально призрен расторопным полицейским поручиком Хватовым! Что этот самый Хватов будет заявлять претензию на вечную признательность сердца со стороны твоего внука, что будет прохаживаться с ним по водочке и, наконец, в минуту откровенности,

скажет ему «ты»!

Позор!

И вот — о реформы, горьки ваши плоды! — каким же образом после всего этого, утишить негодующее сердце? Каким образом сдержать благородные порывы? Реформы!

Вот Прокоп — так тот мигом поправился. Очевидно, на него даже реформы не действуют. Голова у него трещала всего один день, а на другой день он уже прибежал ко мне как ни в чем не бывало и навалил на стол целую кипу проектов.

— Читать ли? — молвил я робко. — Как бы опять не запить!

— Как не читать? Надо читать! Зачем же ты приехал сюда? Ведь если ты хочешь знать, в чем последняя суть состоит, так где же ты об этом узнаешь, как не тут! Вот, например, прожект о децентрализации — уж так он мне понравился, так понравился! И слов-то, кажется, не приберешь, как хорошо!

— А что?

— Да чтобы, значит, везде, по всему лицу земли… по зубам чтоб бить свободно было… вот это и есть самая децентрализация!

Прокоп, по обыкновению своему, залился сме-

хом. И черт его знает, что это за смех у Прокопа, никак понять не могу! Действительно ли звучит в нем ирония, или это только так, избыток веселонравия, который сам собой просится наружу? Вот, кажется, и хохочет человек над децентрализацией с точки зрения беспрепятственного и повсеместного битья по зубам, а загляните-ка ему в нутро — ан окажется, что ведь он и впрямь ничего, кроме этой беспрепятственности, не вожделеет! Вот и поди разбери, как это в нем разом укладывается: и тоска по мордобитию, и несомненнейшая язвительнейшая насмешка над этою самою тоской!

— А уж ежели, — продолжал между тем Прокоп, — ты от этих прожектов запьешь, так значит, линия такая тебе вышла. Оно, по правде сказать, трудно и не запить. Все бить, да сечь, да стрелять… коли у кого чувствительное сердце — ну просто невозможно не запить! Ну а ежели кто закалился — вот как я, например, — так ничего. Большую даже пользу нахожу. Светлые мысли есть — ей-богу!

Опять хохот, этот загадочный, расстраивающий нервы хохот!

Но так как у меня голова все еще была несвежа, то я два дня кряду просто-напросто пробро-

дил из угла в угол и только искоса поглядывал на кипу писаной бумаги. А в груди между тем сосало, и бог знает каких усилий мне стоило, чтоб не крикнуть: «Водки и закусить!» Воздержаться от этого клича было тем труднее, что у лакеев chambres garnies есть привычка, и притом препоганая: поминутно просовывает, каналья, голову в дверь и спрашивает: «Что прикажете?» Ну что я могу приказать? Что могу я ответить на его вызывающий вопрос, кроме как: «Водки и закусить!» Вот дедушка Матвей Иваныч — тот точно мог разные приказания отдавать, а я — что я могу?

Однако, повторяю, бог спас, и, может быть, я провел бы время даже не совсем дурно, если б не раздражали меня, во-первых, периодические визиты поручика Хватова и, во-вторых, назойливость Прокопа. Помимо этих двух неприятностей, право, все было хорошо.

Я находился в том состоянии, когда голова, за несколько времени перед тем трещавшая, начинает мало-помалу разгуливаться. Настоящим образом еще ничего не понимаешь, но кое-какие мысли уж бродят. Подойдешь к печке — и остановишься; к окну подойдешь — и посмотришь. Что в это время бродит в голове — этого ни под каким видом не соберешь, а что бродит нечто — в том

нет ни малейшего сомнения. По временам даже удается иное схватить. Вот сейчас мелькнуло: хорошо бы двести тысяч выиграть — и ушло. Потом: какое это в самом деле благодеяние, что откупа уничтожены, — и опять ушло. Вообще все приходит и уходит до такой степени как-то смутно, что ни встречать, ни провожать нет надобности. И вдруг канальская мысль: не приказать ли водки?

— Ну нет, брат, шалишь! Водка — это, брат, яд! Вспомни, как ты в «Старом Пекине» чуть-чуть полового не ушиб и как потом в квартире у поручика Хватова розоперстую аврору встречал!

Ушло.

И проходят таким образом часы за часами спокойно, безмятежно, даже почти весело! Все бы ходил да мечтал, а о чем бы мечтал — и сам не знаешь! Вот, кажется, сейчас чему-то блаженно улыбался, по поводу чего-то шевелил губами, а через мгновение смотришь — забыл! Да и кто знает? Может быть, оно и хорошо, что забыл…

Вот что совсем уж нехорошо — это Прокоп, который самым наглым образом врывается в жизнь и отравляет лучшие, блаженнейшие минуты ее. Каждый день, утром и вечером, он влетает ко мне и начинает приставать и даже ругаться.

— Ну что, прочел?

— Да, право, душа моя, боюсь, я…

— Что же ты после этого за патриот, коли не хочешь знать, в чем нынешняя суть состоит!

— Да запью я! Чувствует мое сердце, что запью!

— Так ты помаленьку, не вдруг! Сперва «о децентрализации», потом «о необходимости оглушения, в смысле временного усыпления чувств», потом «о переформировании де сиянс академии». Есть даже прожект «о наижелательнейшем для всех сторон упразднении женского вопроса». Честью тебе ручаюсь: начни только! Пригубь! Не успеешь и оглянуться, как сам собой, без масла, всю груду проглотишь!

И я начал.

Но я приступил не вдруг. Сначала произвел наружный осмотр, причем оказалось, что все прожекты были коротенькие, на одном, много на двух листах. Потом перечитал заглавия и убедился, что везде говорилось об упразднении и уничтожении, и только один прожект трактовал о расширении, но и то — о расширении области действия квартальных надзирателей. Затем мною овладела моя обычная привычка резонировать по поводу выеденного яйца, и я

уже на целые сутки сделался не способным ни к каким дальнейшим исследованиям. Одни названия навели на меня какие-то необыкновенно тоскливые мысли, от которых я не мог отделаться ни насвистыванием арий из «Герцогини Герольштейнской», ни припоминанием особенно характерных эпизодов из последних наших трактирных похождений, ни даже закусыванием соленым огурцом, каковое закусывание, как известно, представляет собой во время загула, одно из самых дивных, восстановляющих средств (увы, даже и это средство отыскано не мною, непризнанным Гамлетом сороковых годов, а все тем же дедушкой Матвеем Иванычем!).

Во имя чего, думалось мне, волнуются и усердствуют из глубины своих усадеб отставные прапорщики, ротмистры, полковники? Из-за чего напрягают мозги выгнанные из службы подьячие? Что породило это ужаснейшее творчество, которым заражены российские грады и веси и печальный плод которого — вот эта груда прожектов, которую мне предстоит перечитать?

Вникните пристальнее в процесс этого творчества, и вы убедитесь, что первоначальный источник его заключается в не угасшем еще чувстве жизни, той самой жизни, с тем же содер-

жанием и теми же поползновениями, о которых я говорил в предыдущих моих дневниках. Все мы: поручики, ротмистры, подьячие — одним словом, все причисляющие себя к сонму представителей отечественной интеллигенции, — все мы были свидетелями этой жизни, все воспитывались в ее преданиях, и как бы мы ни открещивались от нее, но не можем, ни под каким видом не можем представить себе что-либо иное, что не находилось бы в прямой и неразрывной связи с тем содержанием, которое выработано нашим прошедшим. Все мы хотим жить именно тем самым способом, каким жил дедушка Матвей Иваныч, то есть жить хоть безобразно (увы, до других идеалов редкие из нас додумались), но властно, а не слоняться по белу свету, выпучив глаза.

Эта перспектива «слоняния» раздражает нас. Был момент, когда мы искренно поверили, что в раскладывании гранпасьянса заключается единственно возможная, так сказать «провиденциальная» роль наша в будущем. Был момент, когда мы не шутя ощутили, что почва ушла из-под ног наших и что нам остается только бежать, бежать и бежать. И теперь, при одном воспоминании об этом ужасном времени, скверно

делается во рту. Но инстинкт самосохранения спас нас. Он заставил нас оглянуться и подумать. Оглянулись, подумали — видим: мы те же, да и кругом нас все то же. И мы «dansons, chantons et buvons», и кругам нас «chantons, dansons et buvons». Конечно, некоторые подробности изменились, но разве подробности когда-нибудь составляли что-нибудь существенное? Сегодня они имеют один вид, завтра — будут иметь другой. Если главная основа жизни не поколеблена, то нет ничего легче, как дать подробностям ту или другую форму — какую хочешь. Сегодня у нас — la grandeur d'âme est à l'ordre du jour[82], а завтра — alea jacta est![83] На очереди — натиск и быстрота! Стало быть, ежели нам, отставным корнетам, ротмистрам и подьячим, показалось на минуту, что почва ускользает из-под наших ног, то это именно только показалось, а на самом деле ничего нового не произошло, кроме кавардака, умопомрачения, труса и т. д. Стало быть, надо только разъяснить, рассеять и затем — настоять. Мы струсили, как дети, сами не зная отчего; мы призрачную жизнь, простую взбалмошлую на-

---

[82] Сноски: 82
Величие души поставлено в порядок дня (*фр.*).

[83] Сноски: 83
Жребий брошен! (*фр.*)

кипь, признали за нечто реальное и устойчивое. Нет, шалишь! Мы докажем миру, что все эти призраки можно рассеять совершенно просто и легко: тем же манием руки, каким и в прежние времена достославные наши предки рассевали и расточали всякого рода дурные призраки!

Отсюда — понятное раздражение против тех, которые продолжают напоминать нам о «слонянии». Как не раздражаться, если мы сами чуть-чуть не поверили этой провиденциальной роли и не обрекли себя на перспективу вечного слоняния? Надо же, наконец, дать почувствовать заблуждающимся всю тщету их надежд! И вот, как плод этого раздражения, являются прожекты об уничтожении и упразднении.

Сидят корнеты-землевладельцы в своих логовищах и немолчно скребут перьями. А так как для них связать две мысли — труд совершенно анафемский, то очень понятно, что творчество их лишь после неимоверных потуг находит себе какое-нибудь выражение. Мысли, зарождающиеся в усадьбах, вдали от всяких учебных пособий, вдали от возможности обмена мыслей, ведь это все равно что мухи, бродящие в летнее время по столу. Поди собери их в одну кучу. Поэтому проводится множество бессонных ночей, пор-

тится громада бумаги для того только, чтобы в конце концов вышло: на последнем я листочке напишу четыре строчки. Но чем малограмотнее человек, тем упорнее в своих начинаниях: однажды задумав какой-нибудь подвиг, рано или поздно добьется-таки своего. Вожделенные «четыре строчки», несомненно, будут написаны, и смысл их, несомненно, будет таков: уничтожить, вычеркнуть, воспретить…

В одно прекрасное утро корнет выходит к утреннему чаю и объявляет жене:

— А я, душа моя, сегодня проект свой кончил!

— Ну и слава богу! Я знаю, ты ведь у меня умный!

— Однако и помучился-таки я над ним! Странно это: мы, русские, кажется, на все способны, а вот проекты писать — смерть!

Почему, однако, уничтожить, вычеркнуть, воспретить, а не расширить, создать, разрешить? Тайна этого обстоятельства опять-таки заключается в слишком страстном желании жить, в представлении, которое с этим словом соединено, и в неимении других средств удовлетворить этому представлению, кроме тех, которые завещаны нам преданием. И в счастии и в несчастии мы как-то равно нерассудительны

и опрометчивы. Немного лет назад (это были дни нашего несчастия), когда мы находились под игом недоразумений, томительно замутивших нашу жизнь, мы не боролись, не отстаивали себя, а только унывали и испускали жалобные стоны. Откуда? Что? Как нужно поступить? Мы ни о чем не спрашивали себя, а только чувствовали, что нас придавило какое-то горе. Теперь, когда случайные недоразумения случайно рассеялись, когда жажда жизни (*наша* жажда жизни!) получила возможность вновь вступить в свои права, мы опять-таки не хотим подумать ни о каком внутреннем перерабатывающем процессе, не спрашиваем себя: куда, как, что из этого выйдет? — а только чувствуем себя радостными и вследствие этого весело гогочем. Нас опять придавило, но на этот раз — придавила радость. Наша не выгорела — мы приникли; наша взяла — мы подняли голову. Мы инстинктом чувствуем, что *наша взяла* — и потому хотим начать жить как можно скорее, сейчас.

Но, спрашивается, возможно ли достигнуть *нашего* идеала жизни в такой обстановке, где не только мы, но и всякий другой имеет право заявлять о своем желании жить?

Дедушка Матвей Иваныч на этот счет совер-

шенно искренно говорил: «Жить там, где все другие имеют право, подобно мне, жить, я не могу! Не могу, сударь, я стерпеть, когда вижу, что хам идет мимо меня и кочевряжится! И будь этот хам хоть размиллионер, хоть разоткупщик, все-таки я ему напомню (действием, государь мой, напомню, действием!), что телесное наказание есть удел его в этом мире! Хоть тысячу рублей штрафу заплачу, а напомню».

Такова была дедушкина мораль, и я, с своей стороны, становясь на его точку зрения, нахожу эту мораль совершенно естественною. Нельзя жить так, *как желал жить дедушка*, иначе как под условием полного исчезновения жизни в других. Дедушка это чувствовал всем нутром своим, он знал и понимал, что если мир, по малой мере верст на десять кругом, перестанет быть пустыней, то он погиб. А мы?

Что дедушкина мораль удержалась в нас всецело — в этом нет никакого сомнения. Но — увы! — мы уже не знаем, как устраивается та пустыня, без которой дедушкина мораль падает сама собою. Секрет этот потерян для нас навсегда — вот почему мы колеблемся, путаемся и виляем. Прямо признать за хамами право на жизнь — не хочется, а устроить таким образом, чтобы

и волки были сыты, и овцы целы, — нет умения. Нет выдержки, выработки, подготовки. Хорошо бы, конечно, такую штуку удрать, чтобы хамы на самом деле не жили, а только думали бы, что живут, да ведь для этого надобно, во-первых, кой-что знать, а во-вторых, придумывать, взвешивать, соображать. А у нас первый разговор: «знать ничего не хочу!» да «ни о чем думать не желаю!». Скажите, возможно ли с таким разговором даже простодушнейшего из хамов надуть?

Естественно, что при такой простоте нравов остается только одно средство оградить свою жизнь от вторжения неприятных элементов — это, откинув все сомнения, начать снова бить по зубам. Но как бить! Бить — без ясного права на битье; бить — и в то же время бояться, что каждую минуту может последовать приглашение к мировому по делу о самовольном избитии!..

До какой степени для нас всякое думанье — нож вострый, это всего лучше доказал мне Прокоп.

— Послушай, мой друг, — говорю я ему на днях, — отчего это тебе так претит, что и другой рядом с тобой жить хочет?

— А по-твоему, как? По-твоему, стало быть, другой у меня изо рта куски станет рвать, а я молчи!

— Да ведь кусков много, мой друг! И для тебя куски, и для других тоже — ведь всех кусков один не заглотаешь!

— Ну нет-с, это аттанде. Я свои куски очень хорошо знаю, и ежели до моего куска кто-нибудь дотронется — прошу не взыскать!

— Ах, все не то! Пойми же ты наконец, что можно, при некотором умении, таким образом устроить, что другие-то будут на самом деле только облизываться, глядя, как ты куски заглатываешь, а между тем думать, что и они куски глотают!

— Это как?

— То-то, душа моя, надобно сообразить, как это умеючи сделать! Я и сам, правду сказать, еще не знаю, но чувствую, что средства сыскать можно. Не все же разом, не все рассекать: иной раз следует и развязать потрудиться!

— Ну, это уж ты трудись, а я — слуга покорный! Думать там, соображать! Какая же это будет жизнь, коли меня на каждом шагу думать заставлять будут? Нет, брат, ты прост-прост, а тоже у тебя в голове прожекты… того! Да ты знаешь ли, что как только мы начнем думать — тут нам и смерть?

Так мы и расстались на том, что свобода от обя-

занности думать есть та любезнейшая приправа, без которой вся жизнь человеческая есть не что иное, как юдоль скорбей. Быть может, в настоящем случае, то есть как ограждающее средство против возможности систематического и ловкого надувания (не ее ли, собственно, я и разумел, когда говорил Прокопу о необходимости соображать?), эта боязнь мысли даже полезна, но как хотите, а теория, видящая красоту жизни в свободе от мысли, все-таки ужасна!

Кто вникнет ближе в цикл понятий, наивным выразителем которых явился Прокоп, тот поймет, почему единственным надежным выходом из всех жизненных затруднений прежде всего представляется действие, обозначаемое словом «вычеркнуть». Вычеркнуть легко, создать трудно — в этом разгадка той бесцеремонности, с которою мы приступаем к рассечению всевозможных жизненных задач.

Предположите, что в голове у вас завелась затея, что вы возлюбили эту затею и с жаром принялись за ее осуществление. Прибавьте к этому, пожалуй, что затея ваша в высшей степени женерозна, что она захватывает очень широко и что с осуществлением ее легко осчастливить целый мир. В деле затей, зарождающихся на нашей поч-

ве, такого рода предположения совсем не шаржа, потому что у нас исстари так заведено: затевать так уж затевать. Но затем все-таки следует вопрос: откуда эта затея явилась, составляет ли она плод предварительной жизненной подготовки или по крайней мере хотя бы теоретически сложившегося убеждения? Или, быть может, она пришла с ветру, затем, что у прочих так водится, так чтобы и нам не стыдно было в людях глаза показать? Как ни придирчив кажется этот вопрос (когда дело идет о женерозных начинаниях, у нас даже вопросов никаких допускать не принято), но он далеко не праздный. Разрешите себе его, и вы разом получите возможность не только оценить по достоинству самою затею и исходный пункт, из которого она возникла, но и провидеть дальнейший процесс ее осуществления, со всеми ожидающими ее впереди колебаниями и неизбежным в конце концов фиаско.

Потребность в выработке новых форм жизни всегда и везде являлась как следствие не одного теоретического признания неудовлетворительности старых форм, но и реального недовольства ими. Имели ли мы, интеллигенция, повод быть недовольными этими старыми формами? Нет, говоря по совести, у нас даже повода к недоволь-

ству не существовало. Повторяю: наш кодекс жизни вполне исчерпывался формулой «chantons, dansons et buvons», а этой формуле не только не мешали старые порядки, но даже вполне ее обеспечивали. Но, может быть, нас заставляло задумываться соседство множества людей, которым старые порядки ни в каком случае не могли быть по нутру? Бесспорно, такое соседство существовало, но мы до такой степени мало думали о нем, что даже и теперь, когда несомненность соседства уже гораздо более выяснилась, мы все-таки продолжаем столь же мало принимать его в расчет, как и прежде. Если б это было иначе, разве мы обращались бы столь легкомысленно с словами «вычеркнуть», «похерить», «воспретить»? Разве мы позволили бы себе считать их палладиумом всевозможных мероприятий? Ясно, стало быть, что соседство тут ни при чем или, по крайней мере, что представление о нем никогда нас сознательно не тревожило. Наконец, еще третье предположение: быть может, в нас проснулось сознание абсолютной несправедливости старых порядков, и вследствие того потребность новых форм жизни явилась уже делом, необходимым для удовлетворения человеческой совести вообще? Но в таком случае почему же это со-

знание не напоминает о себе и теперь с тою же предполагаемою страстною настойчивостью, с какою оно напоминало о себе в первые минуты своего возникновения? Почему оно улетучилось в глазах наших, и притом улетучилось, не подвергаясь никаким серьезным испытаниям? Да, впрочем, в таких ли мы условиях воспитывались, которые могли бы серьезно породить в нас подобное сознание, составляющее, так сказать, венец нравственного и умственного развития человека?

Все эти соображения приводят к заключению очень печальному, но которое едва ли можно назвать неверным, а именно: что наша женерозность пришла к нам без особенно деятельного участия сознания. Это не женерозность, а просто желание куда-нибудь приткнуться от скуки и однообразия жизни и в то же время развлечь себя новым фасоном одежды. Мы сказали себе: пусть будет новый фасон, а что касается до результатов и применений, то мысль о них никогда с особенною ясностью не представлялась нам. Мы до такой степени не думали ни о каких результатах и применениях, что даже не задались при этом никакою преднамеренно-злостною мыслью вроде, например, того, что новые фасоны

должны только отводить глаза от прикрываемого ими старого содержания. Не было органической, кровной надобности в новых фасонах — следовательно, не было мысли и о том, что они могут чему-нибудь угрожать, а следовательно, не было надобности остерегаться или надувать. Самое негодование наше было ретроспективное, и явилось уже post factum, то есть тогда, когда новая пригонка начала производить эффекты, не вполне согласные с общим тоном жизни и с нашими интимными пожеланиями. Тогда только мы начали суетиться, ахать и извергать безграмотные проекты о необходимости возвратиться к системе заушения.

При таком легком отношении к исходному пункту новой жизненной деятельности возможно ли ожидать устойчивости и во всем дальнейшем ее развитии? Увы, если тут и была устойчивость, то это именно была только устойчивость легкомыслия. Сколько бы ни твердили нам, что разумный выход из известного положения, созданного хотя бы и внезапно, но тем не менее несомненно приобретшего право гражданственности, это признать его со всеми естественными результатами, которые оно может дать, разве мы, отставные прапорщики

и подьячие, способны на такое признание?

Разве мы что-нибудь предвидели, что-нибудь призывали сознательно? Нет, мы только сию минуту узнали (да и то не можем разобрать, врут это или правду говорят), что наша затея, кроме нового фасона, заключает в себе и еще нечто, а до сих пор мы думали, что это положительным образом только фасон. Да это фасон и есть; мы это дело так разумели, когда увлекались им и аплодировали ему; так хотим разуметь его и теперь. Все эти колебания и движения, на которые нам указывают как на следствие новых фасонов, — все это вздор, мираж, и ничего больше. А ежели они и впрямь, эти колебания, существуют, то из этого следует только, что новые фасоны надо отменить и возвратиться к старым. А то еще развивать! Что развивать? Фасоны-то развивать!

Рассуждая таким образом, отставные корнеты даже выходят из себя при мысли, что кто-нибудь может не понять их. В их глазах все так просто, так ясно. Новая форма жизни — фасон; затем следует естественное заключение: та же случайность, которая вызвала новый фасон, может и прекратить его действие. Вот тут-то именно и является как нельзя кстати на помощь слово «вычеркнуть», которое в немногих буквах, его

составляющих, резюмирует все их жизненные воззрения.

И зато, посмотрите, какая изумительная краткость проявляется во всех этих плодах деревенского досуга! Лист, много два — и делу конец. Да и тут еще всякий беспристрастный читатель непременно почувствует не краткость, а прискорбное многословие. Всякий читатель совершенно ясно видит, что автор ничего другого не желает, кроме трех вещей: уничтожить, вычеркнуть, воспретить. Следовательно, взял бы лист бумаги, написал бы на нем эти три слова — и дело с концом. Зачем же он примешивает тут какого-то господина Токевяля (удерживаю фамилию этого писателя в том виде, как она является в плодах деревенских досугов)[84] и даже Бисмарка, Наполеона, Вашингтона, а из отечественных публицистов академика Безобразова и кн. Мещерского? Очевидно, он делает это в обременение читателю, думая, что так будет фасонистее.

Эта многословная краткость приводила меня

---

[84] Сноски: 84

Токевиль положительно сделался популярнейшим из публицистов в наших усадьбах. Без него корнеты шагу ступить не могут, хотя знают его только по слухам и устным рассказам других корнетов. Думал ли когда-нибудь знаменитый автор «L'ancien regime et la Revolution» («Старый режим и революция». — *Примеч. ред.*), что сочинение его может послужить опорною точкой при составлении «прожекта об оглушении»?) — *Примеч. авт.*

в отчаяние еще в то время, когда я процветал под сенью рязанско-козловско-саратовского клуба. Видеть человека, который напруживается, у которого на лбу жилы лопнуть готовы и из уст которого вылетает бессвязное бормотание с примесью Токевиля, Наполеона и кн. Мещерского, — может ли быть зрелище, более прискорбное для сердца человека, сознающего себя патриотом! С каким-то ужасом думаешь: да неужели же мы и в самом деле не можем двух мыслей порядком переварить? И отчего не можем — оттого ли, что природа обошла нас своею благосклонностью, или оттого, что откупа уничтожены и вследствие того подешевела водка? В каждой, в каждой-таки деревне кабак — как хотите, а тут хоть кого свалит! Разве Токевиль в таких условиях писал свои прожекты? Разве Наполеон III заглядывал через каждые полчаса в буфет, когда диктовал свои мероприятия относительно расстреляния? А мы что делаем! Уж не потому ли у нас из всех реформ наиболее прочным образом привилась одна — это буфеты при земских собраниях?

Именно от этой многословной краткости, от этих раздражающих Токевилей и Бисмарков я бежал из провинции, и именно ее-то я и обрел опять в Петербурге. Все, что в силах что-нибудь

деятельно напакостить, все, что не чуждо азбуке, — все это устремилось в Петербург, оставив на местах лишь гарнизон в тесном смысле этого слова, то есть людей, буквально могущих только хлопать глазами и таращить их…

Но Прокоп говорит, что и эти невдолге приедут.

— Вот погоди немного, — предсказывает он, — зашевелятся и они: и Хлобыстовские приедут, и Дракины приедут — все прибегут!

Жутко, но должно сознаться, что пророчество Прокопа имеет некоторое основание. Я сам собственными ушами слышал, как на дебаркадере железной дороги один из Хлобыстовских коснеющим языком сказал:

— Гм… в Петербург… скоро… сейчас… фью!

Теперь для меня смысл этого бормотания совершенно ясен.

Ужели, однако ж, и сего не довольно? Ужели на смену нынешней уничтожательно-консервативной партии грядет из мрака партия, которую придется уже назвать наиуничтожательнейше-консервативнейшею? А эта последняя партия, вследствие окончательной безграмотности и незнакомства с именем господина Токевиля, даже не даст себе труда писать проекты об уни-

чтожении, а просто будет зря махать руками направо и налево?

Привожу здесь на выдержку несколько проектов, придерживаясь в этом случае указаний Прокопа.

О НЕОБХОДИМОСТИ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Избегая вредного многословия, приступаю прямо. Известно, какие неудобства всегда и везде представляла излишняя централизация. Токевиль выражается о сем прямо: «Централизация есть зло». Монтескью, подтверждая сие мнение, прибавляет: «Зло, с трудом поправимое даже деспотизмом». Наконец, английский писатель Джон Стуарт выражается так: «Централизация есть остаток варварства». Хотя же преосвященнейший Георгий Конисский в приветственной речи покойной императрице Екатерине II и говорит: «Солнце наше вкруг нас ходит, да мы в безмятежии почиваем», — но сие отнюдь не следует относить к централизации, но к свойственному всякому верноподданному радостному чувству.

И действительно, не токмо во Франции, сей классической стране централизации, но и у нас на каждом шагу мы видим плоды сего горького

порядка вещей. Благодаря оному каких хлопот и издержек, например, стоило, дабы выиграть тяжбу в правительствующем сенате, сколько изнурений даже и доднесь нужно перенести, дабы получить в государственном банке какое-либо удовлетворение?

В первом случае необходимо было: во-первых, ехать в уездный город и нанимать подьячего, который был бы искусен в написании просьб; во-вторых, идти в суд, подать просьбу и там одарить всех, начиная с судьи и кончая сторожем, так как в противном случае просьба может быть возвращена с надписанием; в-третьих, от времени до времени посылать секретарю деревенских запасов и писать ему льстивые письма; в-четвертых, в терпении стяжать душу свою. И вот по истечении двух-трех лет уездный суд дает наконец резолюцию вроде той знаменитой, которая разрешила истцу «ловить в озере рыбу *удою*». Тогда надо ехать в губернский город и подавать просьбу в гражданскую палату. И здесь нанимать искусного подьячего, и здесь поголовно всех одарить, и здесь посылать деревенский запас (при расстоянии уже значительно большем) и писать льстивые письма секретарям. Наконец, года через три, издает палата резолюцию, кото-

рою тоже разрешается «ловить в оном озере рыбу *удою*». Тогда надобно направлять стопы в сенат, где, по дальности расстояний, подьячие деревенскими запасами уже не берут, а берут чистыми деньгами.

Во втором случае, ежели вы, например, имеете в банке вклад, то забудьте о своих человеческих немощах и думайте об одном: что вам предназначено судьбою ходить. Кажется, и расписка у вас есть, и все в порядке: что следует, там обозначено, — но, клянусь, раньше двух-трех дней процентов не получите! И объявления писать вам придется, и расписываться, и с сторожем разговаривать, и любоваться, как чиновник спичку зажечь не может, как он папироску закуривает, и, наконец, стоять, стоять и стоять!

Таковы плоды централизации! Прах друга своего схоронить невозможно, предварительно не расстроив своего здоровья и не раздав полимения своего извозчикам!

Наши заатлантические друзья давно уже сие поняли, и Токевиль справедливо говорит: «В Америке даже самый простой мужик и тот давно смеется над централизацией, называя ее никуда не годным продуктом гнилой цивилизации». Но зачем ходить так далеко? Сказывают, даже

Наполеон III нередко в последнее время о сем поговаривал в секретных беседах с господином Пиетри.

Но для чего таковое непосильное изнурение обывателей? Для того ли, чтобы власть от того возвеличивалась и, возвеличиваясь, предъявляла благодетельные свои для управляемых насильства?

Нет, власть немотствует, а государственный банк, тиранствуя над своими клиентами, нисколько сим не возвеличивается!

Токевиль говорит: «Бесполезное тиранство никогда пользы принести не может».

Обыватель не может своевременно процентов получить, а зло накопляется, распространяет крылья свои, поднимает голову и в конце концов образует гидру! Обыватель тщетно расточает льстивые уверения перед сонмищем секретарей, стараясь убедить их в правоте имущественного своего иска, а зло между тем рыщет и останавливается лишь для того, чтобы выкопать бездну! Зло счастливо и беспечно: оно не получает процентов и не имеет имущественных процессов!

Примеров такого расслабленного состояния власти множество. Приведу два или три.

В селе проживает поповский сын и открыто

проповедует безначалие. По правилам централизации, надлежит в сем случае поступить так: начать следствие, потом представить оное на рассмотрение, потом, найдены будут достаточные поводы для суждения, нарядить суд. Затем суд немедленно оправдывает бунтовщика, и поповский сын как ни в чем не бывало продолжает распространять свой яд!

Другой пример: крестьянские гуси потравили помещичий овес. По правилам централизации, помещик для восстановления нарушенного права собственности поступает так: во-первых, по незнанию законов, обращается в волостной суд. Там ему отказывают на том основании, что волостные суды ведают лишь дела крестьян между собою. Делать нечего: велит помещик закладывать лошадей и, по незнанию законов, отправляется за двадцать, за тридцать верст искать правосудия к мировому посреднику. Сей, тоже по незнанию законов, принимает просьбу, но через две недели, посоветовавшись с своим письмоводителем, объявляет просителю, что ныне уже порядки не те, и направляет его к мировому судье. Тем временем овес вырос вновь, а свидетели преступления, не будучи обязаны подпиской о невыезде, разбрелись по сторонам.

Руководясь сими данными и к тому же будучи филантропом, судья пишет отказ и взыскивает с просителя издержки!

Какое сердце не обольется кровью при виде сего!

Тогда как при децентрализации и поповский сын, распространяющий безначалие, и крестьяне, попустившие своим гусям наносить ущерб помещичьему хозяйству, давно были бы наказаны и самое свидетельство о содеянных ими преступлениях соделалось бы достоянием истории!

Известный криминалист Сергий Баршев говорит: «Ничто так не спасительно, как штраф, своевременно налагаемый, и ничто так не вредно, как безнаказанность»[85]. Святая истина!

Но что же необходимо учинить, дабы ввести сию многожелаемую и спасительную децентрализацию? На сие отвечу прямо: необходимо прежде всего вооружить власть.

Можно ли назвать власть вооруженною, если

---

[85] Сноски: 85

Напрасно мы стали бы искать эту цитату в сочинениях бывшего ректора Московского университета. Эта цитата, равно как и ссылки на Токевиля, Монтескье и проч., сделаны отставным корнетом Толстолобовым, очевидно, со слов других отставных же корнетов, наслышавшихся о том, в свою очередь, в земских собраниях. — *Примеч. авт.*

для достижения ее необходимо ехать за тридцать, за сорок верст, но и тут трепетать, что попадешь не туда, куда надлежит, или же что власть взглянет на все сие иронически, или отзовется неимением средств и указаний?

Можно ли назвать власть вооруженною, ежели, даже при искреннем желании помочь ближнему, она на каждом шагу стеснена всякого рода сомнительностями и пагубным формализмом?

Можно ли назвать власть вооруженною, ежели злу, для того чтобы быть безнаказанным, стоит только поселиться подальше от становой квартиры?

Токевиль справедливо отвечает на сие: невозможно.

А между тем при нынешней централизации власть именно находится в сем беспомощном и, так сказать, ироническом состоянии.

Губернаторы стеснены судами, палатами, общими присутствиями. Ищут преданности и находят одно противоречие.

Исправники лишены права поступать по обстоятельствам и, не имея прочной руководящей нити, совсем никак не поступают.

Становые приставы до такой степени опутаны сетями начальственных предписаний, что вскоре

самою жизнь за тягость себе почитать будут.

О дворянах-землевладельцах — умолчу.

Все жалуются и вопиют; везде говорят о власти, везде ищут сего надежного убежища и за всем тем не токмо не приближаются к оному, но в похвальном стремлении всех осчастливить постепенно все больше и больше от здравого смысла отдаляются!

И сие все при наших обширных, можно сказать даже непреоборимых, пространствах!

А между тем, как говорит бессмертный наш баснописец Крылов, «ларчик просто открывался»!

Будучи одарен многолетнею опытностью и двадцать пять лет лично управляя моими имениями, я много о сем предмете имел случай рассуждать, а некоторое даже и в имениях моих применил. Конечно, по малому моему чину, я не мог своих знаний на широком поприще государственности оказать, но так как ныне уже, так сказать, принято о чинах произносить с усмешкой, то думаю, что и я не худо сделаю, ежели здесь мои результаты вкратце попытаюсь изложить. Посему соображаю так: для того, чтобы искоренить зло, необходимо вооружить власть; для того же, чтобы власть чувствовала себя вооруженною, необходимо повсюду оную децентрализировать.

Затем, уже руководствуясь такими соображениями, предлагаю:

1. Губернаторов назначать везде из местных помещиков, яко знающих обстоятельства. Чинами при сем не стесняться, хотя бы был и корнет, но надежного здоровья и опытен.

2. По избрании губернатора немедленно оного вооружить, освободив от всяких репортов, донесений, а тем более от советов с палатами и какими-либо присутствиями.

3. Ежели невозможно предоставить губернатору издавать настоящие законы, то предоставить издавать *правила* и отнюдь не стеснять его в мероприятиях к искоренению зла.

4. На каждых пяти верстах поставить особенного дистанционного начальника из знающих обстоятельства местных землевладельцев, которого также вооружить, с предоставлением искоренять зло по обстоятельствам.

5. Дистанционному начальнику поставить в обязанность быть праздным, дабы он, ничем не стесняясь, всегда был готов принимать нуж-

ные меры[86].

6. Уезды разделить на округа (по четыре на уезд), и в каждом округе учредить из благонадежных и знающих обстоятельства помещиков особливую комиссию под наименованием «Комиссия для исследования благонадежности».

7. Членам сих комиссий предоставить: а) определять степень благонадежности обывателей, б) делать обыски, выемки и облавы, и вообще испытывать, в) удалять вредных и неблагонадежных людей, преимущественно избирая для поселения места необитаемые и ближайшие к Ледовитому океану.

8. В вознаграждение трудов положить всем сим лицам приличное и вполне обеспечивающее их содержание.

Излагая все сие, не ищу для себя почестей, но буду доволен, ежели за все подъятые мною труды предоставлено мне будет хотя единое утешение — утешение сказать: «*И моего тут капля меду есть*».

Отставной корнет *Петр Толстолобов*

---

[86] Сноски: 86

Пользу от сего я испытал собственным опытом. Двадцать пять лет я проводил время в праздности, а имения мои были так устроены, как дай бог всякому. Не оттого ли, что я всегда имел нужный досуг? — *Примеч. авт. проекта.*

— Ну что? Каково? — пристал ко мне в тот же вечер Прокоп.

— Да что ж… хорошо-то хорошо… только вот насчет Америки как-то сомнительно…

— А ну ее, Америку! Главное дело — децентрализация чтоб была… Согласен ты, что централизация — вред?

— Вред-то вред… что и говорить!

— Ну а ежели вред, стало быть, как следует, по-твоему, поступить?

— А черт его знает, как оно там…

— То-то же вот и есть!

— Вот тоже: какой-то английский писатель Стуарт… Черт его знает, кто он таков! Ну да и Токевиль… Воля твоя, а вряд ли он так говорил!

— Что? Токевиль-то? Да я от Петра Иваныча Дракина сам своими ушами слышал, что именно это самое у него в книжке написано! А уж если Петру Иванычу не поверить — кому же и верить?

— Н-да… а все-таки как-то… На каждых пяти верстах по помещику, и все такое… Черт знает что!

— А я про что же говорю! Именно: черт не разберет! Ты сообрази только, какое мордобитие-то пойдет — любо!

И Прокоп залился таким раздражающим смехом, что я несколько секунд стоял как ошеломленный. Передо мной вдруг совершенно отчетливо встала вся картина децентрализации по мысли и сердцу отставного корнета Толстолобова…

Это было ужасное зрелище…

Не было ни судов, ни палат, ни присутствий — словом сказать, ничего, чем красна современная русская жизнь. Была пустыня, в которой реяли децентрализованные квартальные надзиратели из знающих обстоятельства помещиков.

Бьют, испытывают и ссылают. Потом наскоро подкрепляют силы холодными закусками и водкой и опять бьют, испытывают и ссылают.

Нет ни сапожников, ни портных, ни музыкантов, ни литераторов, ни ученых, ибо всех испытывают. Все кому-нибудь когда-нибудь нагрубили, за всеми есть какой-нибудь счетец, и потому все подлежат исследованию.

Объятый ужасом, я инстинктивно схватился за графин и сразу выпил десять рюмок очищенной.

Другой проект.

О НЕОБХОДИМОСТИ ОГЛУШЕНИЯ В СМЫСЛЕ ВРЕМЕННОГО УСЫПЛЕНИЯ ЧУВСТВ

Новоявленный публицист кн. В. Мещерский говорит справедливо: реформы необходимы, но не менее того необходимы и знаки препинания. Или, говоря иными словами, выпустил реформу — довольно, ставь точку; потом, спустя время, опять выпустил реформу и опять точку ставь. И так далее, до тех пор, пока не исполнятся неисповедимые Божьи пути.

С своей стороны, скажу более: не одну, а несколько точек всякий раз ставить не мешало бы. И не непременно после реформы, но и в другое, свободное от реформ время.

Одно не вполне ясно: каким образом все сие исполнить? В теоретичной принципиальности сия мысль совершенно верна, но в практичной удовлетворительности она далеко не представляется столь же ясною и удобоприменимою.

Что такое реформа? Реформа есть такое действие, которое человеческим страстям сообщает новый полет. А коль скоро страсти получили полет, то они летят — это ясно. Не успев оставить гавань одной реформы, они уже видят открывающуюся вдали гавань другой реформы и стремятся

к ней. Вот здесь-то именно, то есть на этом-то пути стремления от одной реформы к другой, и следует, по мысли кн. Мещерского, употреблять тот знак препинания, о котором идет речь. Возможно ли это?

Возможно, но дабы получить в сем случае успех, необходимо предварительно привести страсти в некоторое особливое состояние, которое поставило бы их в невозможность препятствовать постановке точек. Ибо, в противном случае, они всенепременно тому воспрепятствуют.

Страсти почувствовали силу и получили полет — возможно ли, чтоб они, чувствуя себя сильными, равнодушно взглянули, как небольшое количество благонамеренных людей будут ставить им точки? И опять, какие это точки? Ежели те точки, кои обыкновенно публицисты в сочинениях своих ставят, то разве великого труда стоит превратить оные в запятые, а в крайнем случае и совсем выскоблить?

Стало быть, прежде всего надо ослабить силу страстей, а потом уже начать ставить точки, и притом не такие, которые можно бы выскоблить, а настоящие, действительные.

Удобнее всего это достигается посредством так называемого *оглушения*.

Многие восстают против этой системы, находя ее недостаточно человеколюбивою и прогрессивною. Но это говорят люди, которые, очевидно, знакомы с системой поверхностно или по слухам. Я же, напротив того, утверждаю: оглушение не токмо не противно либерализму, но и составляет необходимейшее от оного отдохновение.

Токевиль говорит: «Так называемое оглушение не только не противно человеческой природе, но в весьма многих случаях даже способствует восстановлению человеческих сил». А за Токевилем эту истину уже повторяют ныне все английские публицисты.

С физической стороны оглушение причиняет боль — это правда, но с нравственной — успокоивает и сберегает слишком легко издерживающиеся силы. Да разве необходимо, чтоб оглушение имело характер непременно физический? Разве невозможно оглушение умственное и нравственное?

Что зло повсюду распространяет свои корни — это ни для кого уже не тайна. Люди обыкновенно начинают с того, что с усмешкой отзываются о сотворении мира, а кончают тем, что не признают начальства. Все это делается публично, у всех на глазах, и притом с такою самоуверенностью,

как будто устав о пресечении и предупреждении давно уже совершил течение свое. Что могут в этом случае сделать простые знаки препинания?

Опасность так велика, что не только запятые, даже точки не упразднят ее. Наполеон I на острове Св. Елены говорил: «Чем сильнее опасности, тем сильнейшие должны быть употреблены средства для их уврачевания». Под именем сих «сильнейших средств» что разумел великий человек? Очевидно, он разумел то же, что разумею и я, то есть: сперва оглуши страсти, а потом уже ставь точку, хоть целую страницу точек.

Но дабы оглушение не противоречило идеям современного человеколюбия, необходимо, чтобы оно имело характер преимущественно нравственный.

Ежели я человека посредством искусно комбинированной системы воспрещений и сокрытий отвлеку от предметов, кои могут излишне пленять его любознательность или давать его мысли несвоевременный полет, то этим я уже довольно много сделаю. Но «довольно много» еще не значит «все». Человек, лишенный средств питать свой ум, впадет в дремотное состояние — но и только. Самая дремота его будет ненадежная

и при первом нечаянном послаблении системы сокрытий превратится в бдение тем более опасное, что, благодаря временному оглушению, последовало сбережение и накопление умственных сил.

Необходимо, чтобы дремотное состояние было не токмо вынужденное, но имело характер деятельный и искренний.

Если, например, приучить молодых людей к чтению сонников, или к ежедневному рассмотрению девицы Гандон (сам не видел, но из газет очень довольно знаю), или же, наконец, занять их исключительно вытверживанием азбуки в том первоначальном виде, в каком оную изобрел Таут, то умы их будут дремотствовать, но дремотствовать деятельно.

Предавшись чтению сонников, молодые люди будут ожидать от сего исполнения желаний. Одолев Таутову азбуку, они преисполнятся сладкой уверенности, что назначение человеческой жизни ими совершено сполна. О девице Гандон уже не говорю. Во всех сих упражнениях, очевидно, будет участвовать страсть, но страсть спасительная, имеющая в предмете отличаться в изучении сюжетов безопасных и малополезных, как, например, эфиопского языка. И таким

образом получится поколение дремотствующее, но бодрое и не только не препятствующее знакам препинания, но деятельно на постановку их согласное.

При таковом согласии реформы примут течение постепенное и вполне правильное. При наступлении благоприятного времени начальство, конечно, и без сторонних побуждений издаст потребную по обстоятельствам реформу, но оная уже будет встречена без сомнения, ибо всякому будет известно, что вслед за тем последуют годы, кои имеют быть употреблены на то, чтобы ставить той реформе знаки препинания. Что, кроме системы нравственного оглушения, может дать такой, превышающий всякие ожидания, результат?

Будучи вынужден, по неприятностям, оставить службу и проживая в своей чухломской усадьбе, я имел возможность много о сем предмете рассуждать и даже меняться мыслями с некоторыми уважаемыми соседями, и все мы пришли к заключению: Токевиль прав.

Законов издавать права не имею, но преподать нечто к изданию таковых — могу.

С горестью покинул службу; с радостью вновь возвратился бы в лоно оной, но удостоюсь ли

сего по трудным и превратным нынешним обстоятельствам — настоящим образом предсказать не могу.

Но ежели бы сей мой прожект оказался почему-либо неудобным — могу написать другой, более удобный.

Бывший штатный смотритель чухломских училищ, титулярный советник *Иван Филоверитов*

P.S. Многие из сверстников моих давно уже архиереями; я же вынужден взяться за плуг. А у нас, в Чухломе, и овес никогда более как сам-третей не родится!

Я был унижен, оскорблен, раздражен…

Вот, думалось мне, ни образования, ни привычки мыслить, ни даже уменья обращаться с человеческою речью — ничего у этого человека нет, а между тем какую ужасную, ехидную мерзость он соорудил! И как свободно, естественно созрела она в его голове! Ни разу не почувствовал он потребности проверить себя, или посоветоваться с своею совестью, или, наконец, хоть из чувства приличия, сослаться на какие-нибудь факты. Нет; он имел в виду только одно: что ему предстоит сочинить пакость и что измышление его, яко пакостное, непременно найдет себе прозелитов.

Выскажи он мысль сколько-нибудь человеческую — его засмеют, назовут блаженненьким, не дадут проходу. Но он явился не с проектом о признании в человеке человеческого образа (это был бы не проект, а опасное мечтание), а с проектом о превращении человеческих голов в стенобитные машины — и нет хвалы, которою не считалось бы возможным наградить эту гнилую отрыжку старой канцелярской каверзы, не нашедшей себе ограничения ни в совести, ни в знании.

Филоверитов стоял передо мной как живой. Длинный, змееобразный, он взвивался, складывался пополам, ползал. Голос у него был детский, плачущий, на глазах дрожали слезы крокодила. И он так вкрадчиво смотрел на меня этими глазами, как будто говорил: «А хочешь, мой друг, я засажу тебя за эфиопские спряжения?»

А что, если в саамом деле мне ничего отныне не дадут читать, кроме сонников? Что, если ко мне приставят педагога, который неупустительно начнет оболванивать меня по части памятников эфиопской письменности?

Нет, надобно все это забыть!

Но как забыть — вот вопрос! Куда бежать, где скрыться от *его* вездесущия! На улице, в тракти-

ре, в клубе, в гостиной — *оно* везде или предшествует вам, или бежит по пятам. Везде *оно* гласит: уничтожить, вычеркнуть, запретить!

Корнет Толстолобов скользнул по поверхности; чухломец Филоверитов — прямо пронизал взором вглубь. В проекте Толстолобова чересчур много блеску; он обращает слишком мало внимания на человеческую жизнь, он слишком охотно ею жертвует. Шутка сказать! Населить поморье Ледовитого океана людьми, оказавшимися по испытании неблагонадежными! Это, наконец, даже непрактично! Напротив того: Филоверитов прост и скромен до крайности; он смотрит на человеческую жизнь как на драгоценнейший дар Творца и потому говорит: «Живи, но пребудь навсегда дураком». Не блестяще… но как практично!

Но ежели нельзя забыть об этих прожектах, то, во всяком случае, надобно их сжечь!

Я схватил всю кипу и с каким-то диким ожесточением бросил ее в камин. С наслаждением следил я, как сначала повалил из-под кипы густой черный дым; как отдельные листы постепенно свертывались, коробились и бурели; как огонь, долгое время не будучи в состоянии осилить брошенную в него массу бумаги, только лизал ее края; как, наконец, он вдруг прорвался

сквозь самый центр массы и разом обхватил ее.

О ужас! Все проекты, один за другим, горели и уничтожались, но один оставался нетленным!

Напрасно огонь напрягал свои усилия, напрасно я сам, вооружившись щипцами, пихал бумагу в самую глубь камина: лист лежал чистый, невредимый, безмятежный, точь-в-точь как лежал он за пять минут перед тем у меня на письменном столе!

Очевидно, тут было какое-то указание, которому я скрепя сердце должен был повиноваться…

Я прочитал следующее:

О ПЕРЕФОРМИРОВАНИИ ДЕ СИЯНС АКАДЕМИИ

С юных лет получил я сомнение в пользе наук, а затем, постепенно произрастая, все более и более в том сомнении утверждался, так что ныне, находясь в чине подполковника и с 1807 года в отставке, даже не за сомнение, а уже за верное для себя оное почитаю.

Вращаясь между людьми всякого звания, я всегда примечал, что лишь те из них вполне благополучны, кои держат себя в довольном от наук расстоянии. Беспечная веселость лица, любезная простота нравов и геройство в телесных упражнениях — вот качества, отличающие истинного

сына природы. Обладая сим неоцененным сокровищем, простодушный поселянин смело может считать свой жребий более счастливым, нежели даже вельможа, отягченный добычей и преступлениями. Причина же сему явная та: не зная наук, поселянин о многом не догадывается, а многого и совсем не разумеет. Напротив того, вельможа всего допытывается, но, не всегда будучи рассудительным, зачастую попадает совсем не в тот пункт, куда метить надлежит. И вследствие того приходит в меланхолию, а со временем и в истощение сил.

Посему самым лучшим средством достигнуть благополучия почиталось бы совсем покинуть науки, но как, по настоящему развращению нравов, уже повсеместно за истину принято, что без наук прожить невозможно, то и нам приходится с сею мыслию примириться, дабы в противном случае в военных наших предприятиях какого ущерба не претерпеть. Как ни велико, впрочем, сие горе, но и оное можно малым сделать, ежели при сем, смотря по обширности и величию нашего отечества, соблюдено будет, *во-первых*, чтобы науки наши против всех прочих были превосходнее и, *во-вторых*, чтобы оные подлинно распространяли свет, а не тьму.

Но здесь представляется весьма щекотливый вопрос: как сего достигнуть?

На сие отвечаю кратко: посредством заведения таких учреждений, которые имели бы в предмете не распространение наук, но тщательное оных рассмотрение.

Казалось бы, что с сею именно целью учреждена в С. — Петербурге известная де сиянс академия, но ежели и была такова цель ее учреждения, то сколь много она от оной отдалилась!

Вместо того чтобы рассматривать науки, академия де сиянс отчасти распространяла их, отчасти же пребывала к ним равнодушною!

Причина такового упущения двоякая:

Во-первых, члены де сиянс академии, будучи в большей части из немцев, почитают для себя рассмотрение наук за нестерпимое и несносное.

Во-вторых, при обширных пространствах, занимаемых нашим отечеством, члены де сиянс академии не в силах уследить за возникающими в уездах и волостях науками, а равным образом, не имея никаких начальственных отношений к капитан-исправникам, не могут и сих последних уполномочить на то.

Очевидно, что пока сии две причины не будут устранены, дело останется все в прежнем поло-

жении!

А что положение сие нестерпимо, в том свидетельствуют три вещи:

1. В каждом селении заведен кабак, а в некоторых по два и по три.

2. На днях в Хвалынской губернии, как свидетельствует газета «Гражданин», одна дочь оставила одного отца, дабы беспрепятственнее предаться наукам.

3. На днях, при моих глазах, дочь одного почтенного генерала резала лягушку и надеялась получить от сего результат.

Все таковые факты внушили мне особливую некоторую мысль, развитие которой яснее выражается из следующих пунктов.

1. Цель учреждения академий

В столичном городе С. — Петербурге учреждается особливая центральная де сиянс академия, назначением которой будет рассмотрение наук, но отнюдь не распространение оных[87].

С тою же целью повсеместно по мере возникновения наук учреждаются отделения центральной де сиянс академии, а так как ныне едва ли можно

---

[87] Сноски: 87

О составе и занятиях сей центральной академии умалчиваю, предоставляя устройство сего вышнему начальству. Скажу только, что заведение сие должно быть обширное. — *Примеч. сост. проекта.*

встретить даже один уезд, где бы хотя о причинах частых градобитий не рассуждали, то надо прямо сказать, что отделения сии, или, лучше сказать, малые сии де сиянс академии, разом во всех уездах без исключения объявятся.

Академиям сим, для большего удобства в предстоящих им действиях, прежде всего поставлено будет в обязанность определить:

2. Что такое в науках свет?

Мнения по сему предмету разделяются на правильные и неправильные, а в числе последних есть даже много таких, кои, по всей справедливости, могут считаться дерзкими.

Дабы предотвратить в столь важном предмете всякие разногласия, всего натуральнее было бы постановить, что только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний. Во-первых, правило сие вполне согласуется с показаниями сведущих людей и, во-вторых, установляет в жизни вполне твердый и надежный опорный пункт, с опубликованием которого всякий, кто по малодушию или из хвастовства вздумал бы против оного преступить, не может уже сослаться на то, что он не был о том предупрежден.

3. Какие люди для рассмотрения наук наиболее пригодны суть?

Люди свежие и притом опытные.

Как сказано выше, главная задача, которую науки должны преимущественно иметь в виду, есть научение, каким образом в исполнении начальственных предписаний быть исправным надлежит. Таков фундамент. Но дабы в совершенстве таковой постигнуть, нет надобности в обременительных или прихотливых познаниях, а требуется лишь свежее сердце и не вполне поврежденный ум. Все сие в свежем человеке не токмо налицо имеется, но даже и преизбыточествует.

Посему как в президенты де сиянс академий, так и в члены оных надлежит избирать благонадежных и вполне свежих людей из местных помещиков, кои в юности в кадетских корпусах образование получили, но от времени все позабыли.

Примечание. Президентом следует избирать человека хотя и преклонных лет, но лишь бы здравый ум был.

4. Что от сего произойти может?

Прежде, нежели приступит к рассмотрению наук, свежий человек постарается припомнить,

в каком виде преподавались оные ему в кадетском корпусе. Убедившись затем, что в его время науки имели вид краткий, он, конечно, оком несколько изумленным взглянет на бесчисленные томы, кои после того произошли. Во-первых, увидит он, что хрестоматии появились новые и притом такие, в коих заключаются зачатки революции. Во-вторых, что появилось множество наук, о коих в кадетских корпусах даже в упоминовении не бывало (в особенности одна из них вредная и, как распространительница бездельных мыслей, весьма даже пагубная, называемая психологией). Третье, наконец, что партикулярные люди о таких материях явно размышляют, о которых в прежнее время даже генералам не всегда размышлять дозволялось.

Ввиду сего как он поступит?

Не знаю, как другие, но я поступил бы прямо и откровенно, то есть сказал бы: все сие навсегда прекратить!

А кто же, кроме вполне свежего человека, может таким образом поступить?

5. О пределах власти де сиянс академий

Пределы власти де сиянс академий надлежит сколь возможно распространить.

Везде, где присутствуют науки, должны ока-

зывать свою власть и де сиянс академии. А так как в науках главнейшую важность составляют не столько самые науки, сколько действие, ими на партикулярных людей производимое, то из сего прямо явствует, что ни один обыватель не должен мнить себя от ведомства де сиянс академии свободным. Следственно, чем менее ясны будут границы сего ведомства, тем лучше, ибо нет ничего для начальника обременительнее, как ежели он видит, что пламенности его положены пределы.

6. О правах и обязанностях президентов де сиянс академий

Президенты де сиянс академий имеют следующие права:

1. Некоторые науки временно прекращать, а ежели не заметит раскаяния, то отменять навсегда.

2. В остальных науках вредное направление переменять на полезное.

3. Призывать сочинителей наук и требовать, чтобы давали ответы по сущей совести.

4. Ежели даны будут ответы сомнительные, то приступать к испытанию.

5. Прилежно испытывать обывателей, не заражены ли, и в случае открытия таковых отсылать

для продолжения наук в отдаленные и малонаселенные города.

6. Вообще распоряжаться так, как бы в комнате заседаний де сиянс академии никого, кроме их, президентов, не было.

Обязанности же президентов таковы:

1. Действовать без послабления.

2. От времени до времени требовать от обывателей представления сочинений на тему: «О средствах к совершенному наук упразднению, с таким притом расчетом, чтобы от сего государству ущерба не произошло и чтобы оное и по упразднении наук соседей своих в страхе содержало, а от оных почитаемо было, яко всех просвещением превзошедшее».

7. Об орудиях власти президента

Ближайшие орудия президента суть члены де сиянс академии.

Права их следующие:

1. Они с почтительностью выслушивают приказания президента, хотя бы оные и не ответствовали их желаниям.

2. По требованию президента являются к нему в мундирах во всякое время дня и ночи.

3. При входе президента встают с мест стремительно и шумно и стоят до тех пор, пока не будет

разрешено принять сидячее положение. Тогда стремительно же садятся, ибо время начать рассмотрение.

4. Ссор меж собой не имеют.

5. В домашних своих делах действуют по личному усмотрению, причем не возбраняется, однако ж, в щекотливых случаях обращаться к президенту за разъяснениями.

6. Наружность имеют приличную, а в одежде соблюдают опрятность.

7. Науки рассматривают не ослабляючи, но не чиня по замеченным упущениям исполнения, обо всем доносят президенту.

8. Впрочем, голоса не имеют.

После того, в качестве орудий же, следуют чины канцелярии, кои пребывают в непрерывном писании. Права сих чинов таковы:

1. Они являются к президенту по звонку.

2. Рассматривать науки обязанности не имеют, но, услышав нечто от посторонних людей, секретно доводят о том до сведения президента.

3. Бумаги пишут по очереди; написав одну, записывают оную в регистр, кладут в пакет и, запечатав, отдают курьеру для вручения; после того зачинают писать следующую бумагу и так далее до тех пор, пока не испишут всего.

4. Голоса не токмо не имеют, но даже рта разинуть не смеют.

5. Относительно почтительности, одежды и прочего поступают с такою же пунктуальностию, как и члены.

Кроме сего, в распоряжении президента должна быть исправная команда курьеров.

8. О прочем

Что касается прочего, то оное объявится тогда, когда де сиянс академии, в новом своем виде, по всему лицу российския державы действие возымеют. Теперь же присовокупляю, что ежели потребуется от меня мнение насчет мундиров или столовых денег, то я во всякое время дать оное готов.

Отставной подполковник *Дементий Сдаточный*

Я прочитал до конца, но что после этого было — не помню. Знаю, что сначала я ехал на тройке, потом сидел где-то на вышке (кажется, в трактире, в Третьем Парголове) и угощал проезжих маймистов водкой. Сколько времени продолжалась эта история: день, месяц или год — ничего неизвестно. Известно только то, что *забыть* я все-таки не мог.

IV

Не знаю, как долго я после того спал, но, должно быть, времени прошло немало, потому что я видел во сне целый роман.

Но прежде всего я должен сказать несколько слов о сновидениях вообще.

В этом отношении жизнь моя резко разделяется на две совершенно отличные друг от друга половины: до упразднения крепостного права и после упразднения оного.

Клянусь, я не крепостник; клянусь, что еще в молодости, предаваясь беседам о святом искусстве в трактире «Британия», я никогда не мог без угрызения совести вспомнить, что все эти пунши, глинтвейны и лампопо, которыми мы, питомцы нашей alma mater[88], услаждали себя, — все это приготовлено руками рабов; что сапоги мои вычищены рабом и что когда я, веселый, возвращаюсь из «Британии» домой, то и спать меня укладывает — раб!.. Я уж тогда сознавал, насколько было бы лучше, чище, благороднее и целесообразнее, если б лампопо для меня

[88] Сноски: 88
Мать-кормилица (*фр.*).

приготовляли, сапоги мои чистили, помои мои выносили не рабы, а такие же свободные люди, как я сам. А многие ли в то время сознавали это? Я даже написал одну повесть (я помню, она называлась «Маланья»), в которой самыми негодующими красками изобразил безвыходное положение русского крепостного человека, и хотя, по тогдашнему строгому времени, цензура не пропустила этой повести, но я до сих пор не могу позабыть (многие даже называют меня за это злопамятным), что я автор ненапечатанной повести «Маланья». И когда Прокоп или кто-нибудь другой из «наших» начинают хвастаться передо мною своими эмансипаторскими и реформаторскими подвигами, то я всегда очень деликатно даю почувствовать им, что теперь, когда все вообще хвастаются без труда, ничего не стоит, конечно, прикинуть два-три словечка себе в похвалу, но было время…

— Вот когда я свою «Маланью» писал, тогда бы попробовали вы похвастаться, господа!

Так говорю я в упор хвастуну Прокопу, и этого напоминания совершенно достаточно, чтобы заставить его понизить тон. Ибо как он ни мало развит, но все-таки понимает, что написать «Маланью» в такое время, когда даже в альбомы

девицам ничего другого не писали, кроме:

О Росс! О род непобедимый!
О твердокаменная грудь! –

дело далеко не шуточное…

Тем не менее я должен сознаться, что, при всей моей ненависти к крепостному праву, сны у меня в то время были самые веселые. Либо едешь в гости, либо сидишь в гостях, либо из гостей едешь с сладкою надеждой, что в непродолжительном времени опять в гости ехать надо. Ничего огорчительного, ничего такого, что имело бы прямое отношение к «Маланье» или к бунтовским разговорам в «Британии». Я помню, что в «Маланье» я очень живо изобразил, как некоторый Силантий томится в темной вонючей конуре. И за что томится — за то только, что не хочет «с великим своим удовольствием» предоставить свою дочь Маланью любострастию помещика Пеночкина! Но во сне тот же самый Силантий представлялся мне уж совсем в ином виде: тут он не только не изнывает и не томится, но, напротив того, или песни поет, или Бога за меня молит. «Добрый я, добрый!» — грезилось мне во сне, и на эту сладкую грезу не оказывал влияния даже тяжкий бред моего камердинера и раба Гришки, который

в это самое время, разметавшись в соседней комнате на войлоке, изнемогал под игом иного рода сонной фантазии. Ему представлялся миллион сапог, которые он обязывался вычистить, миллион печей, которые ему предстояло вытопить, миллион наполненных помоями лоханок, мимо которых он не мог пройти, чтобы не терзала его мысль, что он, а не кто другой, должен все это вынести, вылить, вычистить и опять поставить на место для дальнейшего наполнения помоями… С искаженным от ужаса лицом он вскакивал с одра своего, схватывал в руки кочергу и начинал мешать ею в холодной печке, а я между тем перевертывался на другой бок и продолжал себе потихоньку грезить: «Добрый я, добрый!»

Теперь все это изменилось, и сновидения мои приняли характер печальный, почти трагический. Правда, что я все еще продолжаю ездить в гости, но возвращаться вечером из гостей уж не совсем безопасно. Всегда как-то так случается, что едешь лесом, а уж коль скоро снится человеку лес, то непременно приснятся и волки. Они выбегают на дорогу, скалят зубы, стучат ими, прыгают около коляски, визжат, воют и, наконец, бросаются. Я чувствую, как железные когти вонзаются в мою грудь, я вижу разинутую розовую пасть,

чувствую ее шумное дыхание — и просыпаюсь… Конечно, осмотревшись кругом, я успокоиваюсь и благодарю моего Создателя за то, что я не в лесу, а у себя, на мягкой постели. Но едва я успеваю перевернуться на другой бок, как опять сон. Я гуляю в своем парке (известно, как опасно помещику ходить одному в своем парке с тех пор, как нет крепостных садовников!), и вдруг из-за куста — волк! Опять железные когти, опять разинутая розовая пасть, опять тлетворное песье дыхание…

Положим, что все эти страхи мнимые, но если уж они забрались в область сновидений, то ясно, что и в реальной жизни имеется какая-нибудь отрава. Если человеку жить хорошо, то как бы он ни притворялся, что жить ему худо, — сны его будут веселые и легкие. Если жить человеку худо, то как бы он ни разыгрывал из себя удовлетворенную невинность — сны у него будут тяжелые и печальные. Нет сомнения, что в сороковых годах я написал «Маланью» и, следовательно, в некотором роде протестовал, но так как, говоря по совести, жить мне было отлично, протесты мои шли своим чередом, а сны — своим. Теперь же, хотя я и говорю: «Ну слава богу, свершились лучшие упования моей молодости!» — но так как на душе у меня

при этом скребет, то осуществившиеся упования моей юности идут своим чередом, а сны — своим. Скажу более: сны едва ли в этом случае не вернее выражают действительное настроение моей души, нежели протесты и осуществившиеся упования. Поэтому, когда я встречаю на улице человека, который с лучезарною улыбкой на лице объявляет мне, что в пошехонском земстве совершился новый отрадный факт: крестьянин Семен Никифоров, увлеченный артельными сыроварнями, приобрел две новые коровы — мне как-то невольно приходит на мысль: «Мой друг! И Семен Никифоров, и артельные сыроварни — все это осуществившиеся упования твоей юности, а вот рассказал бы ты лучше, какие истории во сне видишь!»

Печальные сны стали мне видеться с тех пор, как я был выбран членом нашего местного комитета по улучшению быта крестьян. В то время, как ни придешь, бывало, в заседание, так и сыплются на тебя со всех сторон самые трагические новости.

— Представьте себе: у соседа моего ребенка свинья съела! — говорит один член.

— Представьте себе: компаньонку моей жены волк искусал! — объясняет другой.

— А я вам доложу вот что-с, — присовокупляет третий. — С тех пор как эта эмансипация у нас завелась, жена моя нарочно по деревне гулять ходит. И что ж бы вы думали? Ни одна шельма даже шапки не думает перед нею ломать!

И таким образом мы жили в чаду самых разнообразных страхов. С одной стороны — опасения, что детей наших переедят свиньи, с другой — грустное предвидение относительно неломания шапок… Возможно ли, чтобы при такой перспективе мы, беззащитные, так сказать, временно лишенные покровительства законов, могли иметь какие-нибудь другие сны, кроме страшных!

Но этого мало. В одно прекрасное утро нам объявляют, что наш собственный председатель исчез неведомо куда, но «в сопровождении»… Признаюсь, это уж окончательно сразило меня! Господи боже мой! Что ж это будет, если уж начали пропадать председатели! И бог знает чего только не припомнилось мне по этому случаю: и анекдот о помещике, которого за продерзость приказано было всю жизнь возить по большим дорогам, нигде не останавливаясь; и слышанный в детстве рассказ о младенце, которого проездом родители выронили из саней в снег и только че-

рез сутки потом из-под снегу вырыли. «И что ж бы вы думали! Спит мой младенчик самым то есть крепким сном, и как теперича его из-под снегу вырыли, так он сейчас: «Мама»!» — так оканчивала обыкновенно моя няня рассказ свой об этом происшествии.

В следующую за пропажей председателя ночь я видел свой первый страшный сон. Сначала мне представлялось, что нашего председателя возят со станции на станцию и, не выпуская из кибитки, командуют: «Лошадей!» Потом виделось, что его обронили в снег… «Любопытно бы знать, — думалось мне, — отроют ли его и скажет ли он: «Мама!» — как тот почтительный младенец, о котором некогда повествовала моя няня?»

И, таким образом, получив для страшных снов прочную реальную основу, я с горестью убеждаюсь, что прежние веселые сны не возвратятся ко мне по малой мере до тех пор, пока не возвратится порождавшее их крепостное право.

Но возвратится ли оно?

Итак, я видел сон.

Мне снилось, что я был когда-то откупщиком, нажил миллион и умираю одинокий в chambres garnies.

Около меня стоит Прокоп и с какою-то хищ-

ническою тревогой следит за последними, предсмертными искажениями моего лица. Он то на меня посмотрит, то бросит ядовитый взгляд на мою шкатулку. По временам он обращается ко мне с словами: «Ну-ну! Не бойсь! Бог не без милости!» Но я, с свойственною умирающим проницательностью, слышу в его словах нечто совсем другое. Мне чуется, что Прокоп говорит: «Уж как ты ни отпрашивайся, а от смерти не отвертишься! Так умирай же, ради Христа, поскорее, не задерживай меня понапрасну!» Одно мгновение мне даже показалось, что на губах его мелькнула какая-то подлейшая улыбка, словно он уж заранее меня смаковал, — и ах как не понравилась мне эта улыбка!

Наконец я испускаю последний вздох, но не успеваю еще окончательно потерять сознание, как вижу: шкатулка моя в одно мгновение ока отперта, и Прокоп торопливо, задыхаясь, вытаскивает из нее мои капиталы…

Я умер.

Читатель, не воображай, что я человек жадный до денег, что я думаю только о стяжании и что поэтому сребролюбивые мечтания даже во сне не дают мне покоя. Нет, я никогда не принадлежал к числу капиталистов, а тем менее откупщи-

ков; никогда не задавался мыслью о стяжаниях и присовокуплениях, а, напротив того, с таким постоянным легкомыслием относился к вопросу о производстве и накоплении богатств, что в настоящее время буквально проедаю последнее свое выкупное свидетельство. Я с гордостью могу сказать, что при составлении уставной грамоты пожертвовал крестьянам четыре десятины лугу по мокрому месту и все безнадежные недоимки простил. Когда я покончу с последним выкупным свидетельством, у меня останется в виду лишь несколько сот десятин худородной и отчасти болотистой земли при деревне Проплеванной[89], да еще какие-то надежды… На что надежды — этого я и сам хорошенько не объясню, но что надежды никогда и ни в каком случае не оставят

[89] Сноски: 89

Название «Проплеванная» — историческое. Однажды дедушка Матвей Иванович, будучи еще корнетом, ехал походом с своим однополчанином, тоже корнетом, Семеном Петровичем Сердюковым. Последний, надо сказать правду, был довольно-таки прост, и дедушка хорошо знал это обстоятельство. И так как походом делать было нечего, хитрый старик, тогда еще, впрочем, полный надежд юноша, воспользовался простотой своего друга и предложил играть в плевки (игра, в которой дедушка поистине не знал себе победителя). Развязка не заставила долго ждать себя: малыми кушами Сердюков проиграл столь значительную сумму, что должен был предоставить дедушке в полную собственность свою деревню Сердюковку. Дедушка же, в память о финансовой операции, с помощью которой он эту Сердюковку приобрел, переименовал ее в Проплеванную. Замечательно, что мужики долгое время сердились, когда их называли проплеванными, а два раза даже затевали бунт. Но, благодарение богу, с помощью экзекуций все

улаживалось благополучно. Впрочем, с объявлением мужицкой воли мужики опять переименовали деревню в Сердюковку, но я, в пику, продолжаю называть их проплеванными. Я делаю это в ущерб самому себе, потому что в отмщение за мое название они ни за какие деньги не хотят ни косить мои луга, ни жать мой хлеб, но что же делать? Пусть лучше хлеб мой остается несжатым и луга нескошенными, но зато я всегда буду высоко держать мое знамя! — *Примеч. авт.*

меня — это несомненно. Все сдается, что вот-вот совершится какое-то чудо и спасет меня. Например: у других ничего не уродится, а у меня всего уродится вдесятеро, и я буду продавать свои произведения по десятерной цене. Или еще: вдруг Волга изменит течение, повернет левей-левей — и прямо в мое имение! Деревню Проплеванную при этом, разумеется, разрушит до основания, а мои болота обратит в богатейшие заливные луга.

Но ежели не личная корысть дала основание моему сну, тем не менее основание это до известной степени все-таки не было чуждо реальности. Дело в том, что я много лет сряду безвыездно живу в провинции, а мы, провинциалы, обделываем свои денежные дела просто, а относимся к ним еще проще. Это совсем не то, что, например, в Петербурге, где ежели кто и ограбит умирающего родственника, то тотчас же начинает рассчитывать, сколько теперь у него шансов за получение бубнового туза на спину и сколько против такового получения. Мы грабим не стыдясь, а ежели что-нибудь и огорчает нас в подобных финансовых операциях, то это только неудача. Удалась операция — исполать тебе, добру молодцу; не удалась — разиня! Достаточно посетить наши клубы

в дни общих обедов, чтобы получить любопытнейшие по сему предмету сведения, особливо ежели соседи по бокам люди знающие и словоохотливые.

— Вот этого видите, вон того, черноволосого, что перед обедом так усердно Богу молился? Он у своего собственного сына материнское имение оттягал! — скажет сосед с правой руки.

— Вот этого видите, вон того, что салфеткой брюхо себе застелил? Он родной тетке конфет из Москвы привез, а она, поевши их, через два часа богу душу отдала! — шепчет сосед с левой руки.

— А вон того видите — вон, что рот-то разинул? — Он, батюшка, перед самою эмансипацией всем мужикам вольные дал да всех их к купцу на фабрику и закабалил. Сколько деньжищ от купца получил, да мужицкие дома продал, да скотину, а земля-то вся при нем осталась… Вот ты и смотри, что он рот разевает, а он операцию-то эту в лучшем виде устроил! — снова нашептывает сосед с правой руки.

И вдруг — о удивление! — человек, застилавший брюхо салфеткой, шлет моему левому соседу стакан шампанского. Разумеется, обмен мыслей.

— Ивану Николаевичу! Каково поживаете?

Каково прижимаете!

— Вы как?

— Вашими молитвами. После обеда пульку составить надо.

— Невредно.

И действительно, тотчас же после обеда брюхан и мой левый сосед сидят уже за ералашем и дружелюбнейшим образом козыряют до глубокой ночи. И кто же знает? если за брюханом есть конфета, то не считается ли за моим левым соседом целого пирога?

Каким образом создалась эта круговая порука снисходительности, я объяснить не берусь, но что порука эта была некогда очень крепка — это подтвердит каждый провинциал. Однажды я был свидетелем оригинальнейшей сцены, в которой роль героя играл Прокоп. Он обличал (вовсе не думая, впрочем, ни о каких обличениях) друга своего, Анемподиста Пыркова, в присвоении не принадлежащего ему имущества.

— Ну, брат, уж нечего тут очки-то вставлять! — ораторствовал Прокоп. — Уж всякому ведь известно, как ты дядю-то мертвого под постель спрятал, а на место его другого в колпаке под одеяло положил! Чтобы свидетели, значит, под завещанием подписались, что покойник, дескать, в здравом

уме и твердой памяти… Штукарь ведь ты!

— Но… финисе…[90] — умолял Пырков, простирая руки.

— Нечего финисе… или уж по-французски заговорил! Уж что было, то было… Вон он и на кровати-то за покойника лежал! — вдруг указал Прокоп на добродушнейшего старичка, который, проходя мимо и увидев, что собралась порядочная кучка беседующих, остановился и с наивнейшим видом стал прислушиваться к разговору.

— Пожалуйста, финисе… прошу! — продолжал умолять Пырков.

— Чего финисе! Вот выпить с тобой — я готов, да и то чтоб бутылка за семью печатями была! А других делов иметь не согласен! Потому ты сейчас либо конфет от Эйнема подаришь, либо пирогом с начинкой угостишь! Уж это верно!

И что ж? Через каких-нибудь полчаса Прокоп и Пырков сидели за одним столом и дружелюбнейшим образом чокались, что, впрочем, не мешало Прокопу от времени до времени язвить:

— А уж что ты тогда покойника под постель

---

[90] Сноски: 90

От *фр.* finisse — прекратите…

спрятал — это, брат, верно!

В другой раз, за обедом у одного из почетнейших лиц города, я услышал от соседа следующий наивный рассказ о двоеженстве нашего амфитриона.

— Служили они, знаете, в Польше-с… ну, молоды-с… полечки там, паненочки… сейчас руку и сердце-с. Вот только, женившись, и спохватились они, что дурно это сделали. Приданого за паненочкой — обтрепанный хвост-с, а родители у них престрогие-с. Вот и говорят они своей коханой-с: я, говорит, душенька, к старикам съезжу, а ты, говорит, после приедешь, как я подготовлю их. Сказано — сделано-с. Приезжают это в наши Палестины, а тем временем родители-то уж вдову для них приготовили. Двенадцать тысяч душ-с. Задумались-с. Однако как увидели, что от ихней теперича решительности все будущее счастие в зависимости состоит, довольно-таки твердо выговорили: «Согласен-с». А потом, не говоря худого слова, веселым пирком да за свадебку-с. Пошли тут пиры да банкеты; они было в Варшаву, для устройства служебных дел, — куда тебе! Наша вдовушка так во вкус вошла, что и слышать ничего не хочет-с! Только проходит три месяца, четыре-с, получают наш

Петр Иваныч из Варшавы письмо за письмом-с! А наконец, и решительное-с. Не знаю, говорит, что и подумать, коханый мой Петрусь (это она попольски его Петрусем называла), я же без тебя не могу жить, а потому и выезжаю завтрашнего числа к тебе. Ну-с, и в другое время неприятно, знаете, этакую конфету получить, а у них, кроме того, еще бал на другой день в подгородном имении на всю губернию назначен-с. Вот и открылись они Кузьме Тихонычу — вон они, с большими-то усами, по правую руку от них сидят, — так и так, говорят, устрой! И что же-с! На другой день идет это бал: кадрели, вальсы, все как следует, — вдруг входит Кузьма Тихоныч, подходит к хозяину и только, знаете, шепнул на ушко: «Алле!» И представьте себе, никто даже не заметил, как они с Кузьмой Тихонычем в Незнамовку съездили (почтовая станция так называется, верстах в четырех от их имения), как там свое дело сделали и обратно оттуда приехали. И такой это приятный бал был, что долгое время вся губерния о нем говорила! А паненочки с тех пор и след простыл. Сказывали, будто в Незнамовке стакан воды выпила-с. Так вот, сударь, какие в старину люди-то живали! Этакое, можно сказать, особливой важности дело сделалось,

а они хоть бы вид подали!

.....

Таким образом, реальность моих сновидений не может подлежать сомнению. Если я сам лично и никого не обокрал, а тем менее лишил жизни, то, во всяком случае, имею полное основание сказать: «Я там был, мед-пиво пил, по усам текло… а черт его знает — может быть, и в рот попало!»

Итак, продолжаю.

Я умер, но так как смерть моя произошла только во сне, то само собою разумеется, что я мог продолжать видеть и все то, что случилось после смерти моей.

Прокоп мигом очистил мою шкатулку. Там было пропасть всякого рода ценных бумаг на предъявителя, но он оставил только две акции Рыбинско-Бологовской железной дороги, да и то лишь для того, чтобы не могли сказать, что дворянина одной с ним губернии (очень он на этот счет щекотлив!) не на что было похоронить. Все остальное запихал он в свои карманы и даже за голенищи сапог.

Потом Прокоп посетил мой чемодан, и так как нельзя было взять вещей очень громоздких, то украл (кажется, я вправе употребить это выражение?) два батистовых носовых платка. Затем

он вскрыл мой дорожный несессер и украл оттуда чайную серебряную ложку.

Исполнивши все это, Прокоп остановился посреди комнаты и некоторое время осовелыми глазами озирался кругом, как бы нечто обдумывая. Но я — я совершенно ясно видел, что у него в голове уже зреет защитительная речь. «Я не украл, — говорил он себе, — я только устранил билеты из места их прежнего нахождения!» Очевидно, он уже заразился петербургским воздухом: воровал без провинциальной непосредственности, а рассчитывая наперед, какие могут быть у него шансы для оправдания.

Затем он отер украденным платком лицо, позвал номерного… и заплакал!

Это были до такой степени настоящие слезы, что мне сделалось жутко. Видя, как они текут по его лоснящимся щекам, я чувствовал, что умираю все больше и больше. Казалось, я погружаюсь в какую-то бездонную тьму, в которой не может быть речи ни об улике, ни об отмщении. Здесь не было достаточной устойчивости даже для того, чтобы задержать след какого бы то ни было действия. Забвение — и далее ничего…

Но я ошибался. Мой мститель — или, лучше сказать, мститель моих законных наследников —

был налицо.

То был номерной Гаврило. Очевидно, он наблюдал в какую-нибудь щель и имел настолько верное понятие насчет ценности Прокоповых слез, что, когда Прокоп, всхлипывая и указывая на мое бездыханное тело, сказал: «Вот, брат Гаврилушко (прежде он никогда не называл его иначе, как Гаврюшкой), единственный друг был на земле — и тот помер!» — то Гаврило до такой степени иронически взглянул на него, что Прокоп сразу все понял.

Тогда произошел между ними разговор, который неизгладимо напечатлелся в бессмертной душе моей.

— Видел?

— Смотрел-с.

— Однако, брат, ты шельма!

— По нашей части, сударь, без того нельзя-с.

— Вот тебе три серебра!

Прокоп протянул зеленую кредитку, но Гаврило стоял с заложенными за спину руками и не прикасался к подачке.

— Что ж не берешь?

— Как возможно-с!

— Рожна, что ли, тебе нужно? Ну, сказывай!

— А вот как-с. Тысячу рублей деньгами, да

из платья, да из белья — это чтобы сейчас. А впоследствии, по смерть мою, чтобы кормить-поить, жалованья десять рублей в месяц… вина ведро-с.

— Да ты очумел?

— Это как вам угодно-с. Угодно — сейчас можно людей скричать-с!

— Стой! Мы вот как сделаем. Денег тебе сейчас — сто рублей…

— Никак невозможно-с.

— Да ты слушай! Денег сейчас тебе сто… ну двести рублей. Да слушай же, братец, не торопись. Денег сейчас тебе… ну триста рублей. Потом увезу я тебя к себе в деревню и сделаю над всеми моими имениями вроде как обер-мажордомом… понимаешь?

— А какое будет в деревне положение?

— Жалованья — пятнадцать рублей в месяц. Одежда, пища, вино — это само собой.

Гаврило, однако ж, мялся.

— Сумнительно, сударь, — наконец произнес он, — как бы после обиды от вас не было. Многие вот так-то обещают, а после, гляди, свидетелев-то на тот свет угодить норовят.

Но я уже видел, что колебания Гаврилы не могут быть продолжительны. Действительно, Прокоп набавил всего полтину в месяц — и торг

был заключен. Тут же Прокоп вынул из кармана триста рублей, затем вытащил из чемодана две рубашки, все носовые платки, новый сюртук (я только что сделал его у Тедески) и вручил добычу Гаврюшке.

Никогда я так ясно не ощущал, что душа моя бессмертна, и в то же время никогда с такою определенностью не сознавал, до какой степени может быть беспомощною, бессильною моя бессмертная душа!

Я мог реять в эмпиреях, мог с быстротой молнии перелетать через громаднейшие пространства, мог все видеть, все слышать, мог страдать и негодовать, но не мог одного: не мог воспрепятствовать грабежу моих наследственных и благоприобретенных капиталов.

Через час в моем номере уже ходили взад и вперед какие-то неизвестные личности (из них только одна была мне знакома — это поручик Хватов), которые описывали, опечатывали, составляли протоколы — одним словом, принимали так называемые охранительные меры. И никто из них не удивился, что в моей шкатулке оказалось всего-навсего две акции Рыбинско-Бологовской железной дороги да старинная копеечка, которою когда-то благословила дедушку Матвея Иваныча

какая-то нищенка. Никому не показалось странным, что у меня нет *ни одного* носового платка. Никому не пришло в голову поинтересоваться, отчего у Прокопа так безобразно оттопырились карманы пиджака. Пришли, понюхали — и ушли. Один Хватов на мгновение как бы удивился.

— Скажите на милость! — воскликнул он, обращаясь к Прокопу. — Я ведь, признаться, воображал, что они миллионщики!

— Ну да, держи карман — миллионщики! В прежнее время — это точно: и из помещиков миллионщики бывали, а с тех пор как прошла над нами эта сипация, всем нам одна цена: грош! Конечно, вот кабы дали на концессии разжиться — ну тогда слова нет; да и тут подлец Мерзавский надул!

— Тсс…

— Уж так были бедны, так бедны! — лгал в свою очередь и Гаврюшка. — Как только дотянули! Третьего дня подходят, это, ко мне: «Гаврилушка, говорят, дай на два дня три целковых!»

Издержки по погребению моего тела принял Прокоп на свой счет, и, надо отдать ему справедливость, устроил похороны очень прилично. Прекраснейшие дроги, шесть попов, хор певчих и целый взвод факельщиков, а сзади громад-

нейший кортеж, в котором приняли участие все находящиеся в Петербурге налицо кадыки. На могиле моей один из кадыков начал говорить, что душа бессмертна, но зарыдал и не кончил. Видя это, отец протоиерей поспешил на выручку.

— Достославный болярин, — произнес он, обращаясь к моему гробу, — не будем много глаголати, но скажем кратко. Что означает сие торжество? Сие торжество прискорбное, ибо оно означает, что душа твоя оставила нас, друзей и присных твоих, но сие торжество и радостное, ибо отколе бежала душа твоя и куда воспарила! Она бежала от прогорькия сей юдоли и воспарила в высоты! Днесь вкушает она от трапезы благоуготованной и благоучрежденной! Вкушай же, душе, вкушай пищу благопотребную, вкушай вечно! Мы же, воспоминая о тебе, друже наш, да не постыдимся!

Эти слова были сигналом к отъезду кортежа в ближайшую кухмистерскую, где Прокоп заказал погребальный обед. Ели: щи, приготовленные кухаркой Карнеевой, московских поросят с кашей, осетрину по-русски, жареную телятину и ледник (мороженое). И я имел удовольствие видеть, как во щи капали Прокоповы слезы и нимало не портили их.

По-настоящему на этом месте мне следовало проснуться. Умер, ограблен, погребен — чего ждать еще более? Но после продолжительного пьянственного бдения организм мой требовал не менее же продолжительного освежения сном, а потому сновидения следовали за сновидениями, не прерываясь. И при этом с замечательным упорством продолжали разработывать раз начатую тему ограбления.

Душа моя не могла долее выдерживать зрелища Прокоповой безнаказанности и воспарила. А однажды воспаривши, мой дух совершенно естественно очутился в господской усадьбе при деревне Проплеванной.

На этот раз, впрочем, сонная фантазия не представила мне никаких преувеличений. Перед умственным взором моим действительно стояла моя собственная усадьба: с потемневшими от дождя стенами, с составленными из кусочков стекла окнами, с проржавевшею крышей, с завалившеюся оранжереей, с занесенными снегом в саду дорожками, — одним словом, со всеми признаками несомненной опальности, в которую ввергла ее так называемая «катастрофа».

Зимний вечер близится к концу; в окнах усадьбы там и сям мелькает свет. Я незримо проби-

раюсь в дом и застаю моих присных в гостиной. Тут и сестрица Машенька, и сестрица Дашенька, и племянницы Фофочка и Лелечка. Они сидят с работой в руках и при трепетном свете сальной свечи рассуждают, что было бы, кабы, да как бы оно сделалось, если бы…

При жизни сестрицы меня ненавидели и в то же время любили. Как было им не ненавидеть меня! Я был богат, они — бедны! И чем быстрее я обогащался, тем быстрее росла моя холодность к ним. Сколько раз они умоляли меня (разумеется, каждая с глазу на глаз и по секрету от другой) дозволить им «походить» за мной, а ежели не им, то вот хоть Фофочке или Лелечке. И я всякий раз с беспримерною в семейных летописях черствостью отказывался. Мало того: я не просто отказывался, но и язвил при этом. Еще недавно, перед самым отъездом моим в последний раз в Петербург, Дарья Ивановна, несмотря на распутицу, прискакала ко мне из Ветлуги и уговаривала довериться ей.

— Не ровен час, братец, — говорила она, — и занеможется вам, и другое что случится — все лучше, как родной человек подле! Принять, подать…

— Вот, сестра Марья тоже просится…

Я сказал это нарочно, ибо знал, что одно упоминовение имени сестрицы Машеньки выведет сестрицу Дашеньку из себя. И действительно, Дарья Ивановна немедленно понеслась на всех парусах. Уж лучше первого встречного наемника, чем Марью Ивановну. Разбойник с большой дороги — и у того сердце мягче, добрее, нежели у Марьи Ивановны. Марья Ивановна! Да разве не ясно, как дважды два — четыре, что она способна насыпать яду, задушить подушками, зарубить топором!

— Разве примеры-то эти, братец, не бывали?

Тем не менее я остался глух ко всем просьбам и предложениям и зато имел удовольствие видеть, какая глубокая ненависть блестела в глазах обеих сестриц, когда они прощались со мной, отправляясь обратно в Ветлугу.

Но в то же время они не могли и не любить меня. Кошка усматривает вдали кусок сала, и так как опыт прошлых дней доказывает, что этого куска ей не видать как своих ушей, то она естественным образом начинает ненавидеть его. Но увы: мотив этой ненависти фальшивый. Не сало она ненавидит, а судьбу, разлучающую ее с ним. Напрасно старается она забыть о сале, напрасно отворачивается от него, начинает за-

мывать лапкой мордочку, ловить зубами блох и проч. Сало такая вещь, не любить которую невозможно. И вот она принимается любить его. Любить — и в то же время ненавидеть…

А разве я не был именно таким куском сала для моих сестриц?

Они до того любили меня, что ради меня даже друг друга возненавидели. Не существовало на свете той клеветы, того подозрения, о которых не было бы заявлено в наших интимных семейных беседах. И Фофочка и Лелечка — все переплелось, перепуталось в этой бесконечной сети любовей и ненавистей, которую нерукотворно сплела семейная связь. «И лег и встал», «походя ворует», «грабит», «добро из дому тащит» — таков был созданный временем семейный наш лексикон, и ежели этот бессмысленный винегрет всевозможных противоречий, уверток и оговорок мог казаться для постороннего человека забавным, то жить в нем, играть в нем деятельную роль было просто нестерпимо.

— И что вы грызетесь! — говорил я им иногда под добрую руку. — Каждой из вас по двугривенному дать — за глаза довольно, а вы вот думаете миллион после меня найти и добром поделить не хотите: все как бы одной захапать!

— Это не я, братец, это сестрица Даша! Это она завистлива. А мне что! Я и своим предовольна-довольна! — оправдывалась сестрица Марья Ивановна.

— Это не я, братец, это сестрица Маша! Мне что! Это она завистлива, а я и своим предовольна-довольна! — в свою очередь оправдывалась сестрица Дарья Ивановна.

И таким образом, в взаимных поклепах шло время, покуда мои миллионы не очутились в руках Прокопа.

Итак, сестрицы сидели в гостиной усадьбы Проплеванной и толковали. Взаимное горе соединило их, но поводы для взаимной ненависти чувствовались еще живее. Для каждой каждая представлялась единственною причиной обманутых надежд и случившегося разорения. Если бы не Машенькины интриги — братец, наверное, отказал бы свой миллион Дашеньке, и наоборот. Хотя же усадьба Проплеванная и принадлежала им несомненно, но большого утешения в этом они не видели. Во-первых, трудно поделить землю: кому отдать просто худородную землю, кому — болота и пески? Во-вторых, дом: неминучее дело продать его за бесценок на своз. Отдать Машеньке — будет протестовать Дашенька; от-

дать Дашеньке — будет протестовать Машенька. Кончится тем, что придется выписать из Петербурга адвоката, который и присудит себе Проплеванную за труды. Следовательно, в будущем виделись только ссоры, утучнение адвоката и бесконечное, безвыходное галдение. И куда делся этот миллион! Вот кабы он был налицо, так тогда точно поделить было бы не трудно! Вот вам, Марья Ивановна, пятьсот тысяч, а вот вам, Дарья Ивановна, пятьсот тысяч. Это была такая светлая, такая лучезарная возможность, что на ней сестрицы позабывали даже о взаимной вражде своей.

— Сам, сам перед отъездом в Петербург говорил: «Миллиона добром поделить не хотите!» — восклицает сестрица Марья Ивановна и от волнения даже вскакивает с места и грозится куда-то в пространство кулаком.

— Сама собственными ушами слышала, как говорил: «Миллиона добром поделить не хотите!» — вторит с невольным увлечением сестрица Дарья Ивановна.

Фофочка, Лелечка, Нисочка, Аннинька пожимают плечиками и, шепелявя на институтский манер, произносят:

— Это ужасно! Это уж бог знает что!

— И куда этот миллион девался!

— Точно в прорву какую этот миллион провалился!

— То есть руку на отсеченье отдаю, что Прокопка-мерзавец его украл!

— Он, он, он! Кому другому украсть, как не ему, мерзавцу!

— Сказывают, наш-то пьяница так и не расставался с ним в последнее время! Куда наш пропоец идет — глядишь, и подлец за ним следом!

— А я так слышала: еще где до свету, добрые люди от заутрени возвращаются, а они уж в трактир пьянствовать бегут! Вот и допьянствовался, голубчик!

— У нашего-то, говорят, даже глаза напоследок от пьянства остановились!

— Как не остановиться — с утра до вечера водку жрал! Тут хоть железный будь, а глаза выпучишь!

Я слушаю эти разговоры, и мне делается так жаль, так жаль моих бедных сестриц! Правда, что они не совсем-то вежливо обо мне отзываются, но ведь и я с ними поступил… Ах как я поступил! Шутка сказать — миллион! Чье сердце не содрогнется при этом слове! И как удачно этот Прокоп дело обделал! Ни малейшего усложне-

ния! Ни взлома, ни словоохотливой любовницы, ни даже глупой родственницы, которая иначе не помирилась бы, как на подложном завещании, и потом стала бы этим завещанием его же, Прокопа, всю жизнь шпиговать! Ничего! Взял, украл — и был таков!

Но часы бьют одиннадцать, и сестрицы расходятся по углам. Тем не менее сон долгое время не смежает их глаз; как тени, бродят они, каждая в своем углу, и все мечтают, все мечтают.

— Уж кабы я на месте Прокопки-подлеца была, — мечтает сестрица Марья Ивановна, — уж, кажется, так бы… так бы! Ну вот ни с эстолько этой Дашке-паскуде не оставила бы!

Сестрица отмеривает на мизинце самую крохотную частицу и как-то так загадочно улыбается, что нельзя даже определить, что в этой улыбке играет главную роль: блаженство или злорадство.

— Уж кабы я на месте подлеца Прокопки была, — с своей стороны, мечтает сестрица Дарья Ивановна, — уж, кажется, так бы… так бы! Ну вот ни с эстолько эта Машка-паскуда от меня бы не увидела!

И тоже отмеривает крохотную частицу на мизинце, и тоже улыбается — этак загадочно,

блаженно-злорадно…

Минутное сожаление, которое я только что почувствовал было к сестрицам, сменяется негодованием. Мне думается: если несомненно, что украла бы Маша, украла бы Даша, то почему же нельзя было украсть Прокопу? Разве кража, совершенная кровными, имеет какой-нибудь особенный вкус против кражи, совершенной посторонними?

И в уме моем невольно возникает вопрос: что могло бы случиться, если б мой миллион был устранен из своего первоначального помещения не Прокопом, а, например, сестрицей Машей?

Во-первых, для меня — или, лучше сказать, для моего тела — последствия были бы самые скверные.

Хотя я и знаю, что Прокоп проедает свое последнее выкупное свидетельство, но покуда еще не проел, сохраняет все внешние признаки человека достаточного, живущего в свое удовольствие. Следовательно, обокравши меня, он, по крайней мере, имел полную возможность дать полный простор чувству благодарности, наполнявшему его сердце. Он *мог* нанять прекраснейшие дроги для моего гроба, *мог* устроить для меня погребение с шестью попами и обедом

у кухмистера. И если б выискался вольнодумец, который сказал: «Вот как свободно может человек распоряжаться награбленными деньгами!» — Прокоп мог бы, в виде опровержения, вынуть из кармана *свое собственное* выкупное свидетельство и сунуть его вольнодумцу под нос: вот оно!

Напротив того, ограбь меня сестрица Маша — о великолепии, сопровождавшем мое погребение, не могло бы быть и помину. Будучи состояния бедного и погребая брата, оставившего после себя только старинную копеечку да две акции Рыбинско-Бологовской железной дороги, она, для того только, *чтобы не обличить саму себя*, обязывалась бы продолжать притворяться нищей и сократить расходы по погребению до последней крайности. Прощай попы, прощай факельщики, прощай великолепный кортеж кадыков! Кто знает, не было ли бы мое тело в таком случае погребено где-нибудь на острове Голодае. И имела ли бы тогда возможность душа моя парить, негодовать, ликовать и вообще испытывать всякого рода ощущения, как она делает это теперь, когда тело мое по милости Прокопа погребено в 1-м классе Волковского кладбища?

Стало быть, с точки зрения моего тела, еще

бабушка надвое сказала, выгоднее ли было бы, если б меня обокрала сестрица Маша, а не Прокоп.

Во-вторых, *для моего капитала* последствия были бы едва ли менее невыгодны. Обладая *своим собственным* выкупным свидетельством, Прокоп под его эгидой имеет полную возможность пустить в ход мои деньги. Он может и у Бореля кредит себе открыть, и около Шнейдерши походить, а пожалуй, чего доброго, и концессию получить. И никто не имеет юридического основания сказать: «Вот как человек на награбленные деньги кутит!» А так как я и сам при жизни любил, чтоб мой капитал имел обращение постоянное и быстрое, то душа моя может только радоваться, что в руках Прокопа он не прекращает своего течения, не делается мертвым.

Напротив того, сестрица Маша прежде всего вынуждена была бы скрыть мои таланты от всех взоров, потому что всякому слишком хорошо известно, что собственно у нее нет даже медного гроша за душой. Но скрыть — этого еще недостаточно. Она обязывалась даже теперешние свои расходы сократить до невозможности, потому что подозрительные глаза сестрицы Даши с бдительностью аргуса следили бы за каждым ее шагом. Купила Маша фунт икры — сейчас Даша:

Машка-воровка нынче уж икру походя ест!» Сшила Маша Нисочке ситцевое платьице — сейчас Даша: «А видели вы, как воровка-то наша принцессу свою вырядила?» Чем могло бы кончиться это ужасное преследование? А вот чем: в одно прекрасное утро, убедясь, что украденный капитал принес ей только терзания, Маша с отчаяния бросила бы его в отхожее место… Каково было бы смотреть на это душе моей!

Стало быть, как ни кинь, а выходит, что даже лучше, что меня обокрал Прокоп, а не сестрицы.

Но в ту минуту, когда я пришел к этому заключению, должно быть, я вновь перевернулся на другой бок, потому что сонная моя фантазия вдруг оставила родные сени и перенесла меня, по малой мере, верст за пятьсот от деревни Проплеванной.

Я очутился в усадьбе Прокопа. Он сидел у себя в кабинете; перед ним, в позе более нежели развязной, стоял Гаврюшка.

Прокоп постарел, поседел и осунулся. Он глядел исподлобья, но когда по временам вскидывал глаза, то от них исходил какой-то хищный, фальшивый блеск — что-то среднее между «убью!» и «боюсь!» виделось в этих глазах.

Очевидно было, что устранение моих денег

из первоначального их помещения не прошло ему даром и что в его жизнь проникло новое начало, дотоле совершенно ей чуждое. Это начало — всегдашнее, никогда не оставляющее человека, совершившего рискованное предприятие по присвоению чужой собственности, опасение, что вот-вот сейчас все кончится, соединенное с чувством унизительнейшей зависимости вот от этого самого Гаврюшки, который в эту минуту в такой нахальной позе стоял перед ним.

И действительно, стоило лишь взглянуть на Гаврюшку, чтоб понять всю горечь Прокопова существования. Правда, Гаврюшка еще не сидел, а стоял перед Прокопом, но по отставленной вперед ноге, по развязно заложенным между петлями сюртука пальцам руки, по осовелым глазам, которыми он с наглейшею самоуверенностью озирался кругом, можно было догадываться, что вот-вот он сейчас возьмет да и сядет.

— На что ж это теперича похоже-с! — докладывал Гаврюшка. — Я ему говорю: «Предоставь мне Аннушку», а он, вместо того чтоб угождение сделать…

— Да пойми ты, ради Христа, разве могу я его заставить? Такие ли теперь порядки у нас? Вот кабы лет пятнадцать долой — ну, тогда точно!

Разве жалко мне Аннушки-то?

— Это как вам угодно-с. И прежде вы барины были, и теперь барины состоите… А только доложу вам, что ежели паче чаяния и дальше у нас так пойдет — большие у нас будут с вами нелады!

— Да опомнись ты! Чего тебе от меня еще нужно? Сколько денег высосал? сколько винища одного вылакал! На-тко с чем еще пристал: Аннушку ему предоставь! Ну ты умный человек: ну скажи же ты мне, как я могу его принудить уступить тебе Аннушку? Умный ли ты человек или нет?

— Опять-таки это как вам угодно. А я, с своей стороны, полагаю так: вместе похищение сделали — вместе, значит, и отвечать будем.

— Вот видишь ли, как ты со мной говоришь! Ну как ты со мной говоришь! Кабы ежели ты настоящий человек был — ну смел ли бы ты со мной так говорить! Где у тебя рука?

— Где же рука-с… при мне-с!

— То-то вот «при мне-с»! Разве так отвечают? Разве смел бы ты мне таким родом ответить, кабы ты человек был! «При мне-с»! А я вот тебе, свинье, снисхожу! Зачем снисхожу? Оказал ты мне услугу — я помню это и снисхожу! Вот и ты, кабы ты был человек, а не свинья, тоже бы понимал!

— А я, напротив того, так понимаю, что с моей стороны к вам снисхождениев не в пример больше было. И коли ежели из нас кто свинья, так скорее всего вы против меня свиньей себя показали!

Я ожидал, что Прокоп раздерет на себе ризы и, во всяком случае, хоть одну скулу, да своротит Гаврюшке на сторону. Но он только зарычал, и притом так деликатно, что лишь бессмертная душа моя могла слышать это рычание.

— Для тебя ли, подлец, мало делается! — говорил он, делая неимоверные усилия, чтоб сообщить своему голосу возможно мягкие тоны. — Мало ли тебе в прорву-то пихали! Вспомни… искариот ты этакий! Заставил ли я тебя, каналья ты эдакая, когда-нибудь хоть пальцем об палец ударить? И за что только тиранишь ты меня, бесчувственный ты скот?

— Это как вам угодно-с. Только я так полагаю, что, ежели мы вместе похищение делали, так вместе, значит, следует нам и линию эту вести. А то какой же мне теперича, значит, расчет! Вот вы, сударь, на диване теперича сидите — а я стою-с! Или опять: вы за столом кушаете, а я, как какой-нибудь холоп, — в застольной-с… На что похоже!

И Гаврюшка до того забылся, что начал даже

кричать.

А так как он с утра был пьян (очевидно, с самого дня моего погребения он ни одной минуты не был трезв), то к крику присоединились слезы.

Прокоп некоторое время смотрел на него с выпученными глазами, но наконец-таки обнял всю необъятность Гаврюшкиных претензий и не выдержал, то есть с поднятыми дланями устремился к негодяю.

— Вон… курицын сын! — гремел он, не помня себя.

— Это как вам угодно-с. Только какое вы слово теперича мне сказали… ах какое это слово! Ну да и ответите же вы передо мной за это ваше слово!

Гаврюшка с шиком повернулся на каблуках и не торопясь вышел из кабинета. А Прокоп продолжал стоять на месте, ошеломленный и уничтоженный. Наконец он, однако ж, очнулся и быстро зашагал по комнате.

— Каждый день так! Каждый день! — слышалось мне его невнятное бормотание.

Прокоп был несчастлив. Он украл миллион и не только не получил от того утешения, но убедился самым наглядным образом, что совершил кражу исключительно в пользу Гаврюшки. Он не мог ни одной копейки из этого капитала упо-

требить производительно, потому что Гаврюшка был всегда тут и при первой попытке Прокопа что-нибудь приобрести замечал: а ведь мы вместе деньги-то воровали. Стало быть, положение Прокопа было приблизительно такое же, как и то, которое душа моя рисовала для сестрицы Марьи Ивановны, если б не Прокоп, а она украла мои деньги. Везде и всегда Гаврюшка! Он болтал без умолку, и если еще не выболтал тайны во всем ее составе, то о многом уже дал подозревать. Самое присутствие Гаврюшки в имении, льготы, которыми он пользовался, нахальное его поведение — все это уже представляло богатую пищу для догадок. Дворовые уже шепчутся между собою, а шепот этих людей — первый знак, что нечто должно случиться. Прокоп видел это, и у него готова была лопнуть голова при мысли, что из его положения только два выхода: или самоубийство, или…

И Прокоп все шагал и шагал, как будто усиливаясь прогнать ехидную мысль.

— И кто же бы на моем месте не сделал этого, — бормотал он, — кто бы свое упустил! Хоть бы эта самая Машка или Дашка — ну разве они не воспользовались бы? А ведь они, по настоящему-то, даже и сказать не могут, зачем им деньги нужны!

Вот мне, например… ну, я… что бы, например… ну, пятьдесят бы стипендий пожертвовал… Театр там буфф, что ли… тьфу! А им на что? Так, жадность одна!

Но ехидная мысль: или самоубийство, или… — раз забравшись в голову, наступает все больше и больше. Напрасно он хочет освободиться от нее при помощи рассуждений о том, какое можно бы сделать полезное употребление из украденного капитала: она тут, она жжет и преследует его.

— Позвать Андрея! — наконец кричит он в переднюю.

Андрей — старый дядька Прокопа, в настоящее время исправляющий у него должность мажордома. Это старик добрейший, не способный муху обидеть, но за всем тем Прокоп очень хорошо знает, что ради его и его интересов Андрей готов даже на злодеяние.

— Надо нам от этого Гаврюшки освободиться! — обращается Прокоп к старому дядьке.

— И что за причина такая? — вздыхает на это Андрей.

— Ну, брат, причина там или не причина, а надо нам от него освободиться!

— В шею бы его, сударь!

— Кабы можно было в шею, разве стал бы я

с тобой, дураком, разговаривать!

Наступает несколько минут молчания. Прокоп ходит по кабинету и постепенно все больше и больше волнуется. Андрей вздыхает.

— Надо его вот так! — наконец произносит Прокоп, делая правою рукой жест, как будто прищелкивает большим пальцем блоху.

— Да ведь и то, сударь: с утра до вечера винище трескает, а все лопнуть не может! — объясняет Андрей и, по обыкновению своему, прибавляет: — И что за причина такая — понять нельзя!

Опять молчание.

— Дурману бы… — произносит Прокоп и какими-то такими бесстрастными глазами смотрит на Андрея, что мне становится страшно.

Я вижу, что преступление, совершенное в минуту моей смерти, не должно остаться бесследным. Теперь уже речь идет о другом, более тяжелом преступлении, и кто знает, быть может, невдолге этот самый Андрей… Не потребуется ли устранить и его как свидетеля и участника совершенных злодеяний? А там Кузьму, Ивана, Петра? Душа моя с негодованием отвращается от этого зрелища и спешит оставить кабинет Прокопа, чтобы направить полет свой в людскую.

Там идет говор и гомон. Дворовые хлебают щи;

Гаврюшка, совсем уже пьяный, сидит между ними и безобразничает.

— Мне бы, по-настоящему, совсем не с вами, свиньями, сидеть надо! — говорит он.

— Что говорить! И то тебя барин ужо за стол с собой посадит! — поддразнивает его кто-то из дворовых.

— А то не посадит! Посадит, коли прикажу! Барин! Велик твой барин! Он барин, а я против него слово имею — вот что!

— Какое же такое слово, Гаврилушка? И что такое ты против барина можешь, коли он тебя сию минуту и всячески наказать, и даже в Сибирь сослать может?

— А таково слово… «вор»!

Речь эта несколько озадачивает дворовых, но так как крепостное право уж уничтожено, то смущение, произведенное словом «вор», проходит довольно быстро. К Гаврюшке начинают приставать, требовать объяснений. Дальше, дальше…

И вот, в тот самый вечер, камердинер Семен, получивши от Прокопа затрещину за то, что, снимая с него на ночь сапоги, нечаянно тронул баринову мозоль, не только не стерпел по обыкновению нанесенного ему оскорбления, но прямо

так-таки и выпалил Прокопу в лицо:

— От вора да еще плюхи получать — это уж непорядки!

При такой неожиданной апострофе Прокоп до того растерялся, что даже не нашелся сказать слова в ответ.

Вся его жизнь прошла перед ним в эту ночь. Вспомнилось и детство, и служба в гусарском полку, и сватовство, и рождение первого ребенка… Но все это проходило перед его умственным взором как-то смутно, как бы для того только, чтобы составить горький контраст тому безвыходному положению, ужас которого он в настоящую минуту испытывал на себе. Одна только мысль была совершенно ясна: «Зачем я это сделал?» — но и она была до того очевидно бесплодна, что останавливаться на ней значило только бесполезно мучить себя. Но бывают в жизни минуты, когда только такие мысли и преследуют, которые имеют привилегию вгонять человека в пот. Другая мысль, составлявшая неизбежное продолжение первой: «вот сейчас… сейчас, сию минуту… вот!» — была до того мучительна, что Прокоп стремительно вскакивал с постели и начинал бродить взад и вперед по спальной.

— Всех, — бормотал он, — всех!

Однако ж нелепость этой угрозы была до того очевидна, что он едва успевал вымолвить ее, как тут же начинал скрипеть зубами и с каким-то бессильным отчаянием сучить руками.

— Всем, — продолжал он, вдруг изменяя направление своих мыслей, — всем с завтрашнего же дня двойное жалованье положу! А уж Гаврюшку-подлеца изведу! Изведу я тебя, мерзкий ты, неблагодарный ты человек!

Прокоп шагал и скрипел зубами. Он злобствовал тем более, что его же собственная мысль доказывала ему всю непрактичность его предположений. «Разве Гаврюшка один! — подсказывала эта мысль. — Нет, он был один только до тех пор, пока немотствовали его уста. Теперь, куда ни оглянись, — везде Гаврюшки! Сегодня их двадцать, завтра — будет сто, тысяча. Да опять и то: за что им платить? За что? Разве они что-нибудь заслужили? Разве они видели, помогли, скрыли? Ну, Гаврюшка… это так! Он видел, и все такое… Он был вправе требовать, чтоб ему платили! А то, на-тко сбоку припеку, нашлась целая орава охотников — и всем плати!»

— Да будь я анафема проклят, если хоть копейку вы от меня увидите… м-м-мерзавцы! — задыхается Прокоп.

И он шагает, шагает без сна до тех пор, пока розоперстая аврора не освещает спальни лучами своими.

Утром он узнает, что Гаврюшка исчез неизвестно куда…

А сестрица Марья Ивановна уж успела тем временем кой-что пронюхать, и вот, в одно прекрасное утро, Прокопу докладывают, что из города приехал к нему в усадьбу адвокат.

Адвокат — молодой человек самой изящной наружности. Он одет в щегольскую коротенькую визитку; волосы аккуратно расчесаны à la Jésus[91]; лицо чистое, белое, слегка лоснящееся; от каждой части тела пахнет особыми, той части присвоенными, духами. Улыбка очаровательная; жест мягкий, изысканный; произношение такое, что вот так и слышится: «А хочешь, сейчас по-французски заговорю!» Прокоп в первую минуту думает, что это жених, приехавший свататься к старшей его дочери.

— Я приехал к вам, — начинает адвокат, — по одному делу, которое для меня самого крайне прискорбно. Но… vous savez…[92] вы знаете… на-

---

[91] Сноски: 91
Как у Христа (*фр.*).

[92] Сноски: 92
Вы знаете… (*фр.*)

ше ремесло… впрочем, au fond[93], что же в этом ремесле постыдного?

Сердце Прокопа болезненно сжимается, но он перемогает себя и прерывает речь своего собеседника вопросом:

— Позвольте… в чем дело-с?

— Итак, приступим к делу. В сущности, это безделица — une misere! И ежели вы будете настолько любезны, чтоб пойти на некоторые уступочки, то безделица эта уладится сама собой… et ma foi! il n'en sera plus question![94] Итак, приступим. Несколько времени назад, в chambres garnies, содержимых некоторою ревельскою гражданкою Либкнехт, умер один господин, которого молва называла миллионером. Я вам сознаюсь по совести: существование этих миллионов еще не доказано, но в то же время, entre nous soit dit[95], оно может быть доказано, и доказано без труда. Итак, в видах упрощения наших переговоров, допустим, что это уж дело доказанное, что миллионы были, что, во всяком случае, они

---

[93] Сноски: 93
В сущности (*фр.*).

[94] Сноски: 94
И, право же, об этом не будет больше речи! (*фр.*)

[95] Сноски: 95
Между нами говоря (*фр.*).

могли быть, что, наконец…

— Позвольте-с… умер… миллионы… Не понимаю, при чем же тут я? — все еще храбрится Прокоп.

— Я понимаю, что вам понять нелегко, но в то же время надеюсь, что если вы будете так добры подарить мне несколько минут внимания, то дело, о котором идет речь, для вас самих будет ясно как день. Итак, продолжаю. В нумерах некоей Либкнехт умер некоторый миллионер, при котором в минуту смерти не было ни родных, ни знакомых — словом, никого из тех близких и дорогих сердцу людей, присутствие которых облегчает человеку переход в лучшую жизнь. Здесь был только один человек, и этот-то один человек, который называл себя другом умиравшего, и закрыл ему глаза…

— Прекрасно-с! Это прекрасно-с! Называл себя другом! Закрыл глаза! Скажите, какое важное преступление! — все еще бодрил себя Прокоп.

— Покуда преступления действительно еще нет. Закрыть глаза другу — это даже похвально. Да и вообще я должен предупредить вас, что я и в дальнейших действиях этого друга не вижу ничего такого… одним словом, непохвального.

Я не ригорист, Dieu merci[96]. Я понимаю, что только Богу приличествует судить тайные побуждения человеческого сердца, сам же лично смотрю на человеческие действия лишь с точки зрения наносимых ими потерь и ущербов. Конечно, быть может, на суде, когда наступит приличная обстоятельствам минута — я от всего сердца желаю, чтобы эта минута не наступила никогда! — я тоже буду вынужден квалифицировать известные действия известного «друга» присвоенным им в законе именем, но теперь, когда мы говорим с вами как порядочный человек с порядочным человеком, когда мы находимся в такой обстановке, в которой ничто не говорит о преступлении, когда, наконец, надежда на соглашение еще не покинула меня…

— Ну да! Это значит, что вам хочется что-нибудь с меня стянуть, — так, что ли?

— «Стянуть» — ce n'est pas le vrai mot[97], но сознаюсь откровенно, что если бы вы пошли на соглашение, я услышал бы об этом с большим, с величайшим, можно сказать, удовольствием!

— С кем же на соглашение — с Машкой, с Даш-

---

[96] Сноски: 96
Благодарение богу (*фр.*).

[97] Сноски: 97
Это не то слово (*фр.*).

кой?

— В настоящую минуту я еще не нахожу удобным открыть вам, кто в этом деле истец. Вообще с потерпевшею стороной… Я полагаю, что покамест это и для вас совершенно безразлично.

— Однако, брат, ты фификус! — вдруг произносит Прокоп с какою-то горькою иронией.

Но видно, что краткое введение молодого адвоката уже привело его в то раздраженное состояние, когда человеку, как говорится, ни усидеть, ни устоять нельзя. С судорожным подергиванием во всем организме, с рычанием в груди вскакивает он со стула и начинает обычное маятное движение взад и вперед по комнате. По временам из уст его вылетают легкие ругательства. А молодой человек между тем так ясно, так безмятежно смотрит на него, как будто хочет сказать: «А согласись, однако, что в настоящую минуту нет ни одного сустава в целом твоем организме, который бы не болел!»

— А знаете ли вы, сударь, русскую пословицу: «С сильным не борись, с богатым не тянись»? — вопрошает наконец Прокоп, останавливаясь перед молодым человеком.

— Помилуйте! Я затем и адвокат, чтобы знать все прекраснейшие наши пословицы!

— Ну-с и что же!

— И за всем тем намерений своих изменить не могу-с. Я отнюдь не скрываю от себя трудностей предстоящей мне задачи; знаю, что мне придется упорно бороться и многое преодолевать, но — ma foi![98] — я надеюсь! И поверите ли, прежде всего я надеюсь на вас! Вы сами придете мне на помощь, вы сами снимете с меня часть того бремени, которое я так неохотно взял на себя нести!

— Ну уж это, кажется… дудки!

— Нет-с, это совсем не так странно, как может показаться с первого взгляда. Во-первых, вам предстоит публичный и — не могу скрыть — очень и очень скандальный процесс. При открытых дверях-с. Во-вторых, вы, конечно, без труда согласитесь понять, что пожертвовать десятками тысяч для вас все-таки выгоднее, нежели рисковать сотнями, а быть может — кто будет так смел, чтобы прозреть в будущее! — и потерей всего вашего состояния!

— Десятками тысяч! Однако это штука! Ни дай, ни вынеси за что — плати десятки тысяч!

— Позвольте, мы, кажется, продолжаем не по-

---

[98] Сноски: 98
Клянусь! (*фр.*)

нимать друг друга. Вы изволите говорить, что платить тут не за что, а я, напротив того, придерживаюсь об этом предмете совершенно противоположного мнения. Поэтому я постараюсь вновь разъяснить вам обстоятельства настоящего дела. Итак, приступим. Несколько времени назад, в Петербурге, в Гороховой улице, в chambres garnies, содержимых ревельской гражданкою Либкнехт…

— Да ты видел, что ли, как я украл?

— Pardon!.. Я констатирую, что выражение «украл» никогда не было мною употреблено. Конечно, быть может, в суде… печальная обязанность… но здесь, в этой комнате, я сказал только: «Несколько времени назад, в Петербурге, в Гороховой улице, в chambres garnies…»

Любопытно было видеть, с какою милою непринужденностью этот молодой и, по-видимому, даже тщедушный мышонок играл с таким старым и матерым котом, как Прокоп, и заставлял его жаться и дрожать от боли. Наконец Прокоп не выдержал.

— Стой! — зарычал он в неистовстве. — Срыву? Сколько надобно?

— Помилуйте… срыву! Разве я дал повод предполагать?

— Да ты не мямли: сказывай сколько!

— Ежели так, то, конечно, я буду откровенен. Прежде всего я охотно допускаю, что исход процесса неизвестен и что, следовательно, надежды на обратное получение миллиона не могут быть названы вполне верными. Поэтому потерпевшая сторона *может* и даже *должна* удовлетвориться возмещением лишь части понесенного ею ущерба. В этих видах, а равно и в видах округления цифр, я полагал бы справедливым и достаточным… ограничить наши требования суммой в сто тысяч рублей.

— На-тко выкуси!

Прокоп сделал при этом такой малоупотребительный жест, что даже молодой человек, несмотря на врожденную ему готовность, утратил на минуту ясность души и стал готовиться к отъезду.

— Стой! Пять тысяч на бедность! Довольно?

Молодой человек обиделся.

— Я решительно замечаю, — сказал он, — что мы не понимаем друг друга. Я допускаю, конечно, что вы можете желать сбавки пяти… ну, десяти процентов с рубля… но предлагать вознаграждение до того ничтожное, и притом в такой странной форме…

— Ну, сядем… будем разговаривать. За что же я, по-вашему, вознаграждение-то должен дать?

— Я полагаю, что этот предмет нами уже исчерпан и что насчет его не может быть даже недоразумений. Дело идет вовсе не о *праве* на вознаграждение — это право вне всякого спора, — а лишь о размере его. Я надеюсь, что это наконец ясно.

— Ну, хорошо. Положим. Поддели вы меня — это так. Ходите вы, шатуны, по улицам и примечаете, не сблудил ли кто, — это уж хлеб такой нынче у вас завелся. Я вот тебя в глаза никогда не видал, а ты мной здесь орудуешь. Так дери же, братец, ты с меня по-божески, а не так, как разбойники на больших дорогах грабят! Не все же по семи шкур драть, а ты пожалей! Ну, согласен на десяти тысячах помириться? Сказывай, сейчас и деньги на стол выложу!

Молодого человека слегка передергивает. С минуту он колеблется, но колебание это длится именно не больше одной минуты, и твердость духа окончательно торжествует.

— Извольте, — говорит он, — для вас девяносто тысяч. Менее — ей-богу — не в состоянии!

— Да ты говори по совести! Ведь десять тысяч — это какие деньги! Сколько делов на десять тысяч

сделать можно! Ведь и Дашке твоей, и Машке — обеим им вместе красная цена грош! Им десяти-то тысяч и не прожить, куда им! Пойми ты меня, ради Христа!

— Я все очень хорошо понимаю-с, но позвольте вам доложить: тут дело идет совсем не о каких-то неизвестных мне Машках или Дашках, а о восстановлении нарушенного права! Вот на что я хотел бы обратить ваше внимание!

— Ну да, и восстановления и упразднения — все это мы знаем! Слыхали. Сами прожекты об упразднениях писывали!

Я не стану описывать дальнейшего разговора. Это был уж не разговор, а какой-то ни с чем не сообразный сумбур, в котором ничего невозможно было разобрать, кроме: «пойми же ты!», да «слыхано ли, да «держи карман, нашел дурака!». Я должен, впрочем, сознаться, что требования адвоката были довольно умеренны и что под конец он даже уменьшил их до восьмидесяти тысяч. Но Прокоп, как говорится, осатанел: не идет далее десяти тысяч — и баста. И при этом так неосторожно выражается, что так-таки напрямки и говорит:

— Миллион просужу, а тебе, прохвосту, копейки не дам!

С тем адвокат и ушел.

Дальнейшие подробности этого замечательного сновидения представляются мне довольно смутно. Помню, что было следствие и был суд. Помню, что Прокоп то и дело таскал из копилки деньги. Помню, что сестрица Машенька и сестрица Дашенька, внимая рассказам о безумных затратах Прокопа, вздыхали и облизывались. Наконец, помню и залу суда.

Речи, то пламенные, то язвительные, неслись потоком; присяжные заседатели обливались потом; с Прокоповой женой случилась истерика; Гаврюшка, против всякого чаяния, коснеющим языком показывал:

— Ничего этого не было, и никому я этого не говорил. Я человек пьяный, слабый, а что жил я у их благородия в обер-мажордомах — это конечно, и отказу мне в вине не было — это завсегда могу сказать!

Наконец, сформулировали и вопросы для присяжных…

Но какие это были странные вопросы! Именно только во сне могло представиться что-нибудь подобное!

Вопрос первый. Согласно ли с обстоятельствами дела поступил Прокоп, воспользовавшись еди-

ноличным своим присутствием при смертных минутах такого-то (имярек), дабы устранить из первоначального помещения принадлежавшие последнему ценности на сумму приблизительно в миллион рублей серебром?

Вопрос второй. Не поступили ли бы точно таким же образом родственницы покойного, являющиеся в настоящем деле в качестве истиц, если бы были в таких же обстоятельствах, то есть единолично присутствовали при смертных минутах миллионовладельца и имели легкую возможность секретно устранить из первоначального помещения принадлежавший ему миллион?

Душа моя так и ахнула.

Через минуту ответы уж были готовы (до такой степени присяжные заседатели были тверды в вере!).

На *первый вопрос*: да — строго согласно с обстоятельствами дела.

На *второй вопрос*: да, поступили бы, и притом не оставив даже двух акций Рыбинско-Бологовской железной дороги.

Один из заседателей простер свое усердие до того, что, не удовольствовавшись сим кратким исповеданием своих убеждений, зычным

голосом воскликнул:

— Свое — да упускать! Этак и по миру скоро пойдешь! Прокоп сиял; со всех сторон его обнимали, нюхали и осыпали поцелуями.

Один молодой адвокат глядел как-то томно и был как бы обескуражен, хотя же я и слышал, как он сквозь зубы процедил:

— Ну нет, messieurs, еще роббер не весь сыгран! О нет! Сыграна еще только первая партия!

Но внутренне он, конечно, скорбел, что не примирился с Прокопом на десяти тысячах.

Я проснулся с отяжелевшею, почти разбитою головой. Тем не менее хитросплетения недавнего сна представлялись мне с такою ясностью, как будто это была самая яркая, самая несомненная действительность. Я даже бросился искать мой миллион и, нашедши в шкатулке последнее мое выкупное свидетельство, обрадовался ему как родному отцу.

— Однако-таки оставил! — вырвалось у меня из груди.

Но через минуту я опять вспомнил о миллионе и, продолжая бредить, так сказать, наяву, предался размышлениям самого горького свойства.

«Как жить? — думалось мне. — Как оградить свою собственность? Как обеспечить права прис-

ных и кровных? «Согласно с обстоятельствами дела»! — шутка сказать! Разве можно украсть не согласно с обстоятельствами дела? Нет, надо бежать! Непременно куда-нибудь скрыться, затеряться, забыть! Не денег жалко — нет! Деньги — дело наживное! Вот выйду из номера, стану играть оставшимися двумя акциями Рыбинско-Бологовской железной дороги — и доиграюсь опять до миллиона! Не денег — нет! — жаль этого дорогого принципа собственности, этого, так сказать, палладиума… Но куда бежать, в провинцию? Но там Петр Иваныч Дракин, Сергей Васильич Хлобыстовский… Ведь они уже притаились… они уже стерегут! Я вижу отсюда, как они стерегут!»

И я готов был окончательно расчувствоваться, как в комнату мою, словно буря, влетел Прокоп.

— Обложили! — кричал он неистово. — Обложили!

— Кого? Когда? Каким образом?

— Сами себя! На этих днях! Кругом… Ну, то есть, просто вплотную!

Но об этом в следующей главе.

V

Очевидно, речь шла или о подоходном налоге, или о всесословной рекрутской повинности. А может быть, и о том и о другом разом.

Прокоп был вне себя: как говорится, рвал и метал. Я всегда знал, что он ругатель по природе, но и за всем тем был изумлен. Таких ругательств, какие в эту минуту расточали уста его, я, признаюсь, даже в соединенном рязанско-тамбовско-саратовско-воронежском клубе не слыхивал.

— Успокойся, душа моя! — умолял я его. — В чем дело?

— Да ты, с маймистами-то пьянствуя, видно, не слыхал, что на свете делается! Сами себя, любезный друг, обкладываем! Сами в петлю лезем! Солдатчину на детей своих накликаем! Новые налоги выдумываем! Нет, ты мне скажи — глупость-то какая!

— Напротив того, я вижу тут прекраснейший порыв чувств!

— Фофан ты — вот что! Везде-то у вас порыв чувств, все-то вы свысока невежничаете, а коли поближе на вас посмотреть — именно только

глупость одна! Ну где же это видано, чтобы человек тосковал о том, что с него денег не берут или в солдаты его не отдают!

— Однако согласись, что нельзя же допускать такую неравномерность! Ведь берут же деньги с *других*, отдают же *других* в солдаты!

— Да ведь *других*-то и порют! Порют ведь, милый ты человек! Так отчего же у тебя не явится порыва чувств попросить, чтобы и тебя заодно пороли?

Признаюсь откровенно, вопрос этот был для меня ненов, но я как-то всегда уклонялся от его разрешения. И деньги, покуда их еще не требуют, я готов отдать с удовольствием, и в солдаты, покуда еще не зовут на службу, идти готов, но как только зайдет вопрос о всесословных поронцах (хотя бы даже только в теории), инстинктивно как-то стараешься замять его. Не лежит сердце к этому вопросу — да и полно! «Ну, там как-нибудь», или «Будем надеяться, что дальнейшие успехи цивилизации» — вот фразы, которые обыкновенно произносят уста мои в подобных случаях, и хотя я очень хорошо понимаю, что фразы эти ничего не разъясняют, но, может быть, именно потому-то и говорю их, что действительное разъяснение этого предмета только завело бы

меня в безвыходный лабиринт.

Эта боязнь взглянуть вопросу прямо в лицо всегда угнетала меня. И я тем более не могу простить ее себе, что в душе и даже на бумаге я один из самых горячих поклонников равенства. Уж если драть, так драть всех поголовно и неупустительно: нельзя сказать, чтоб я не понимал этого, — но я не имею настолько твердости в характере, чтоб быть совершенно последовательным, то есть просить и даже требовать для самого себя права быть поротым. Иногда я иду даже далее идеи простого равенства перед драньем и формулирую свою мысль так: уж если не драть одного, то не будет ли еще подходящее не драть никого? Кажется, что может быть радикальнее! Но и тут опять овладевает мною малодушие… Да как это никого не драть? Да ведь эдак, пожалуй, мы и Бога-то позабудем! И кончается дело тем, что я порешаю с моими сомнениями при помощи заранее проштудированных фраз: «Ну, там как-нибудь… будем надеяться, что дальнейшие успехи цивилизации… с одной стороны, оно, конечно, и т. д. Так точно поступил я и теперь.

— Послушай, душа моя, — сказал я Прокопу, — какая у тебя, однако ж, странная манера! Ты всегда поставишь вопрос на такую почву, на ко-

торой просто всякий обмен мыслей делается невозможным! Ведь это нельзя!

И, говоря таким образом, я постепенно так разгорячился, что даже возвысил голос и несколько раз кряду в упор Прокопу повторил:

— Это нельзя! Нет, это нельзя!

— Что нельзя-то? Ты не грозись на меня, а сказывай прямо: отчего ты не просишь, чтобы тебя, по примеру «других», пороли? Ну, говори, не виляй!

— Послушай, если я еще в сороковых годах написал «Маланью», то, мне кажется, этого достаточно… Наконец, я безвозмездно отдал крестьянам четыре десятины очень хорошей земли… Понимаешь ли — *безвозмездно!*

— Ну а я «Маланьи» не писал и никакой земли безвозмездно не отдавал, а потому, как оно там, не знаю. И поронцы похулить не хочу, потому что без этого тоже нельзя. Сечь — как не сечь, сечь нужно! Да сам-то я, друг ты мой любезный, поротым быть не желаю!

— Но я не понимаю, какое же может быть отношение между поронцами, как ты их называешь, и, например, всесословною рекрутскою повинностью?

— Где тебе понять! У тебя ведь порыв чувств!

А вот как у меня два сына растут, так я понимаю!

Прокоп был в таком волнении, в каком я никогда не видал его. Он был бледен и, по-видимому, совершенно искренно расстроен.

— Я это дело так понимаю, — продолжал он, — вот как! Я сам, брат, два года взводом командовал — меня порывами-то не удивишь! Бывало, подойдешь к солдатику: ты что, такой-сякой, рот-то разинул!.. Это сыну-то моему! А! Хорош сюрприз!

— Но позволь… ведь успехи цивилизации…

— Какие тут успехи цивилизации, тут убивства будут — вот что! «Что ты рот-то разинул?» Ах, черт подери! Ты понимаешь ли, как в наше время на это благородные люди отвечали!

Действительно, я вспомнил, что когда еще был в школе, то какой-то генерал обозвал меня щенком за то только, что я зазевался, идя по улице, и не вытянулся перед ним во фронт. И должен сознаться, что при одном воспоминании об этом эпизоде моей жизни мне сделалось крайне неловко.

— Или опять этот подоходный налог! — продолжал Прокоп. — С чего только бесятся: с жиру, что ли? Держи карман — жирны!

При этих словах я вдруг вспомнил о своем

миллионе и невольным образом начал рассчитывать, сколько должно сойти с меня налогу, если восторжествует система просто подоходная, и сколько — ежели восторжествует система подоходно-поразрядная.

— А ведь знаешь ли, — сказал я, — я сегодня во сне видел, что у меня миллион!

— Ну, разве что во сне…

— А если бы, однако ж, у тебя был миллион — что бы тогда?

— Ну, тогда, пожалуй, и подоходный и поразрядный — катай на все!

Однако непоследователен же ты, душа моя!

— Да пойми же, ради Христа, ведь тогда…

Прокоп, по-видимому, хотел объяснить, что из дарового миллиона, конечно, ничего не стоит уступить сотню-другую тысяч, но вдруг опомнился и уставился на меня глазами.

— Фу, черт! — воскликнул он. — Да никак, ты еще не очнулся! О каких это ты миллионах разговариваешь?

— Нет, ты не виляй, ты ответь прямо: ежели бы…

— «Ежели бы! Мало чего, ежели бы! Вот я каждую ночь в конце июня да в конце декабря во сне вижу, что двести тысяч выиграл, только толку-то

из этих снов нет!

— А ну как выиграешь?

— Кабы выиграть! Уж таких бы мы делов с тобою наделали!

— Я бы сейчас у Донона текущий счет открыл!

— Донон — это само собой. Я бы и в Париж скатал — это тоже само собой. Ну а и кроме того… Вот у меня молотилка уж другой год не молотит… а там, говорят, еще жнеи да сеноворошилки какие-то есть! Это, брат, посерьезнее, чем у Донона текущий счет открыть.

— Винокуренный завод хорошо бы устроить. Про костяное удобрение тоже пишут…

— Уж как бы не хорошо! Ты пойми, ведь теперь хоть бы у меня земля… ну какая это земля? Ведь она холодная! Ну, может ли холодная земля какой-нибудь урожай давать? Ну а тогда бы…

Разговор как-то вдруг смяк, и мы некоторое время молча похаживали по комнате, сладко вздыхая и еще того слаще соображая и вычисляя.

— И отчего это у нас ничего не идет! — вдруг как-то нечаянно сорвалось у меня с языка. — Машин накупим — не действуют; удобрения накопим видимо-невидимо — не родит земля, да и баста! Знаешь что? Я так думаю, чем маши-

ны-то покупать, лучше прямо у Донона текущий счет открыть — да и покончить на этом!

— А что ты думаешь, ведь оно, пожалуй…

Сказавши это, Прокоп опять взглянул на меня изумленными глазами, словно сейчас пробудился от сна.

— Слушай, не мути ты меня, Христа ради! — сказал он. — Ведь мы уж и так наяву бредим.

— Отчего же и не побредить, душа моя! Ведь прежнего не воротишь, а если не воротишь, так надо же что-нибудь на место его вообразить!

— Тоска! Тоски мы своей избыть не можем — вот что!

Я знал, что когда Прокоп заводит разговор о тоске, то, в переводе на рязанско-тамбовско-саратовский жаргон, это значит: водки и закусить! — и потому поспешил распорядиться. Через минуту мы дружелюбнейшим образом расхаживали по комнате и постепенно закусывали.

— Не понимаю я одного, — говорил я. — Как ты не признаешь возможности внезапного порыва чувств?

— Кто, я-то не признаю? Я, брат, даже очень хорошо понимаю, что с самой этой эмансипации мы ничем другим и не занимаемся, кроме как внезапными порывами чувств!

— Ну, видишь ли! Сидим мы себе да помалчиваем. Другой со стороны посмотрит, да скажет: «Вот бесчувственные!» А мы вдруг возьмем да и вскочим: бери все!

— Нам, значит, чтоб ничего!

— А зачем нам? Жить бы только припеваючи да не знать горя-заботушки — чего еще нужно?

Начался разговор о сладостях беспечального жития, без крепостного права, но с подоходными и поразрядными налогами, с всесословною рекрутскою повинностью и т. д. Мало-помалу перспективы, которые при этом представились, до тоге развеселили нас, что мы долгое время стояли друг против друга и хохотали. Однако ж постепенно серьезное направление мыслей вновь одержало верх над смешливостью.

— А знаешь ли, что мне пришло в голову? — вдруг сказал я. — Ведь, может быть, это они неспроста.

— Что такое «неспроста»?

— А наши-то обкладывают себя. Вот теперь они себя обкладывают, а потом и начнут… и начнут забирать!

— Да что забирать-то?

— Как что! Чудак ты! Да просто возьмут да и скажут: мы, скажут, сделали удовольствие, об-

ложили себя, что называется, вплотную, а теперь, дескать, и вы удовольствие сделайте!

— Держи карман!

— Нет, да ты вникни! Ведь это дело очень и очень статочное! Возьми хоть Петра Иваныча Дракина — ну станет ли он себя обкладывать, коли нет у него про запас загвоздки какой-нибудь?

— Та и есть загвоздка, что будет твой Петр Иваныч денежки платить, а сыну его будут «что ты рот-то разинул?» говорить.

— Однако ж деньги-то ведь не свой брат! Коли серьезно-то отдавать их придется… ведь это ой-ой-ой!

— Ничего, обойдемся! А коли тошно придется — пардону попросим!

— Нет, как хочешь, а что-нибудь тут есть! Петр Иваныч — он прозорлив!

Но Прокоп, который только что перед тем запихал себе в рот огромный кусок колбасы, сомнительно покачивал головой.

— Вот разве что, — наконец произнес он, — может, новых местов по этому случаю много откроется. Вот это — так, против этого — не спорю!

— Зачем же тут места?

— А как же. Наверное, пойдут счеты да отчеты,

складки да раскладки, наблюдения, изыскания… Одних доносов сколько будет!

— Гм… а что ты думаешь! Ведь, пожалуй, это и так!

— Верно говорю. Сначала вот земство тоже бранили, а теперича сколько через это самое земство людей счастливыми себя почитают!

— Что же, если даже только места — ведь и это, брат, штука неплохая!

— Что говорить. И я в раскладчики пойду, коли доброе жалованье положат!

— А я доносы буду разбирать, коли тысячи две в год дадут! Стало быть, черт-то и не так страшен, как его малюют! Вот ты сюда прибежал — чуть посуду сгоряча не перебил, а посмотрел да поглядел — ан даже выгоду для себя заприметил!

Прокоп молча перебирал пальцами, как будто нечто рассчитывал.

— С тебя что возьмут? — продолжал я. — Ну, триста, четыреста рублей, а жалованья-то две-три тысячи положат! А им ведь никогда никакого жалованья не положат, а все будут брать, все брать!

— И так-то, брат, будут брать, что только держись! Это верно.

— Ну вот видишь!

Беседуя таким образом, мы совершенно шутя

выпили графинчик и, настроив себя на чувствительный тон, пустились в разговоры о меньшей братии.

— Меньшая братия — это, брат, первое дело! — говорил я.

— Меньшая братия — это, брат, штука! — вторил Прокоп.

И — странное дело! — ни мне, ни Прокопу не было совестно. Напротив того: я чувствовал, как постепенно проходила моя головная боль и как мысли мои все больше и больше яснели. Что же касается до Прокопа, то лицо его под конец беседы дышало таким доверием, что он решился даже тряхнуть стариной и, прощаясь со мной, совсем неожиданно продекламировал:

В надежде славы и добра
Иду вперед я без боязни!

— Так-то, брат! — завершил он. — Надо теперь бежать домой да письма писать. А то ведь и место наметишь, а его у тебя из-под носа выхватят!

Несмотря на будничный исход, разговор этот произвел на меня возбуждающее действие. Что в самом деле кроется в этом самообкладывании: подкоп ли какой-нибудь или только внезапный наплыв чувств?

«Или, быть может, — мелькало у меня в голове, — дело объясняется и еще проще. Пришло какому-нибудь либералу-гласному в голову сказать, что налоги, равномерно распределяемые, суть единственные, которые, по справедливости, следует назвать равномерно распределенными. — Другим эта мысль понравилась, а там и пошла пильня в ход».

Прежде всего я, разумеется, обратился за разрешением этих вопросов к истории нашей общественности.

Имели ли наши предки какое-нибудь понятие о подкопах? Конечно, имели, ибо фрондерство исстари составляло характеристическую черту наших дедушек и бабушек. Они фрондировали в дворянских собраниях, фрондировали в клубах, фрондировали, устраивая в пику предержащим властям благородные спектакли и пикники. Но им никогда не приходило на мысль (по крайней мере, история не дает ни одного примера в этом роде), что самообкладывание есть тоже вид фрондерства, из которого могут выйти для них какие-то якобы права. Как люди грубые и неразвитые, они предпочитали пользоваться правами вполне реальными (не весьма нравственными, но все-таки реальными), нежели заглядывать-

ся на какие-то якобы права, сущность которых до того темна, что может быть выражена только словами: «кабы», да «если бы, да «паче чаяния, чего боже сохрани». Поэтому они обкладывали не себя, а других, обкладывали всякого, кого им было под силу обложить, обкладывали без энтузиазма и без праздной политико-экономической игры слов. И если бы, например, дедушке Матвею Иванычу кто-нибудь предложил поступиться своим правом обкладывать других и взамен того воспользоваться правом обложить самого себя, он, наверное, сказал бы: «Помилуй бог! Какая же это мена!»

И что всего страннее, даже мужик, в качестве искони обкладываемого лица долженствовавший знать до тонкости все последствия обложения, и тот никогда не возвышался до мысли, что чем более его обложат, тем больше выйдет из этого для него якобы прав. Как человек, стоящий на реальной почве, он знал, что двойное, например, обложение приведет за собой для него только одно право: право быть обложенным вдвое — и больше ничего. Поэтому он нес тяготы, доколе возможно, то есть до тех пор, пока у него в сусеке водилась пушнина. Как скоро иссякала и пушнина, он или просил пощады, или бунтовал

на коленях, но ни в мольбе о пощаде, ни в бунте на коленях все-таки никакого подкопа не видел и видеть не мог.

Одним словом, и обкладывающие, и обкладываемые — все стояли на реальной почве. Одни говорили: «Мы обкладываем», другие: «Нас обкладывают», и никто из этого простейшего акта внутренней политики никаких для себя якобы прав не ожидал. Напротив того, всякий молчаливо сознавал, что самое нестерпимое реальное положение все-таки лучше, нежели какие-то «якобы права».

Затем, были ли наши предки доступны так называемому «наплыву чувств»? Я полагаю, что и на этот вопрос никто не решится отвечать отрицательно. Деды наши не были скопидомы и не тряслись над каждою копейкой, из чего можно было бы заключить, что они не были способны к самообложению из энтузиазма. Напротив того, по большей части это были широкие русские натуры из числа тех, которым, при известной степени возбуждения, самое море по колена. Бабушка Дарья Андреевна отказала цирюльнику Прошке каменный дом в Москве за то только, что он каким-то особенным образом умел взбивать ей букли. Дяденька Петр Петрович подарил заез-

жему человеку, маркизу де Безе, пятьдесят дворов (замечательно, что дяденька и тут не удержался, чтобы не пошутить: подарил все дворы через двор, так что вышла неслыханнейшая чересполосица, расхлебывать которую пришлось его же наследникам) за то, что он его утешил.

— Дарю тебе, голоштаннику, пятьдесят дворов, — сказал он при этом, — чтобы не ездил ты на будущее время по помещикам на штаны собирать!

— Oh, monseigneur! — захлебнулся в ответ растерявшийся француз, воздевая руки.

Стало быть, ни в энтузиазме, ни в презрении к металлу недостатка не было, только применение их было несколько иное, нежели в настоящее время. «Бей в мою голову!», «За все один в ответе!» — такого рода восторженные восклицания были до того общеупотребительны, что ни в ком даже не возбуждали удивления. Взирая на эти подвиги человеческой самоотверженности (я совершенно вправе назвать их таковыми, потому что большинство их все-таки оканчивалось в уголовной палате), никто не восклицал: «Какое великодушие!» — но всякий считал их делом вполне обыкновенным, нимало не выходящим из общего репертуара привилегированных заня-

тий. Но и за всем тем, повторяю, никому из наших предков и на мысль не приходило обкладывать самих себя, хотя в некоторых случаях подобное самообкладывание, в смысле удовлетворения внезапному наплыву чувств, могло обойтись даже дешевле, нежели, например, подарок пятидесяти мужицких дворов заезжему маркизу де Безе.

Но ежели ни фрондерство, ни наплыв чувств не могли произвести самообкладывания, то нужно ли доказывать, что экономические вицы вроде того, что равномерность равномерна, а равноправность равноправна, были тут ни при чем? Нет, об этом нет надобности даже говорить. Как люди интересов вполне реальных, наши деды не понимали никаких вицев, а, напротив того, очень хорошо понимали, что равномерность именно потому и называется равномерностью, что никогда не бывает равномерною.

Очевидно, стало быть, что мысль о самообкладывании принадлежит всецело нам, потомкам наших предков, и должна быть рассматриваема как результат: во-первых, способности выдерживать наплыв чувств, несколько большей против той, которою обладали наши предки, во-вторых, вечно присущей нам мысли о якобы правах и,

в-третьих, нашей страсти к политико-экономическим вицам.

Что наплыв чувств, и притом с подкладкой более или менее либеральною, составляет главную основу нашей теперешней жизни — против этого я никаких возражений не имею. Всякая либеральная восторженность есть плод той привычки к обобщениям, которою предки наши, как люди неразвитые, обладать не могли. Им жилось по-своему хорошо, но у них был очень важный недостаток: они не понимали, что другие тоже имеют основание желать, чтобы и им жилось хорошо. Они смотрели на вещи исключительно с точки зрения их конкретности и никогда не примечали тех невидимых нитей, которые идут от одного предмета к другому, взаимно уменьшают пропорции явлений и делают их солидарными. Поэтому они были, так сказать, поставлены даже вне возможности обобщать.

Мы в этом отношении стоим неизмеримо выше наших предков. Мы не только фактически констатируем, что между жизненными явлениями существуют соединительные нити, но и понимаем, что, в каких бы благоприятных условиях ни стоял человек, он не может быть вполне счастливым, если его окружают несчастливцы.

И что же? Странное дело! Даже этот несомненный шаг вперед на пути развития мы каким-то образом сумели свести на нет! Мы обобщаем, но приступаем к обобщению не прямо, а, так сказать, сбоку, или, еще точнее, с задней стороны. Мы не говорим: «Выгоды, которыми я пользуюсь, справедливо распространить и на других», — но говорим: «Невыгоды, которые стесняют жизнь других, я нахожу справедливым распространить и на меня!» Допустим, что когда мы формулируем подобные положения, то нами руководит самый чистый и искренний либерализм, но спрашивается: не примешивается ли к этому либерализму и известная доля легкомыслия, нет ли тут чего-то похожего на распущенность, на недостаток мужества, на совершенную неспособность взглянуть на вопрос с деятельной стороны?..

Затем перехожу к третьему предположению: к предположению о каких-то задних мыслях.

Есть убеждение, что жизненные приобретения никогда не достигаются иначе, как окольными путями, поэтому благоразумные люди постоянно вопиют к людям менее благоразумным: «Остерегитесь, подождите: придет время, когда и наш грош сделается двугривенным!»

Я ничего не имею ни против подобных полез-

ных предостережений вообще, ни в особенности против самочинного превращения гроша в двугривенный. Пускай себе превращается — это для меня все равно, тем более что я и на двугривенный смотрю не как на особенно ценную монету. Но я совершенно вправе утверждать, что в обобщении невыгод, неудобств и стеснений не только нет окольного пути, но есть даже отсутствие всякого пути. Если бы кто посредством самоубийства вздумал доказывать свое право на жизнь — многое ли бы он доказал? Он доказал бы только, что существовал на свете несчастливец, который не нашел другого выхода из жизненных запутанностей, кроме самого простого: смерти. В самом крайнем случае это личный протест — и ничего больше. Общее значение (впрочем, все-таки весьма маленькое) этот личный протест мог бы иметь только тогда, если б он имел возможность отыскать для себя вполне яркое и образное выражение, то есть когда бы все подготовлявшие самоубийство причины могли быть выслежены и констатированы. Но представьте себе, что в большей части случаев такого рода протесты сводятся к «найденному на берегу реки Пряжки телу неизвестного человека». Какое странное фиаско! «Тело неизвестного

человека» — и это протест! Что же в нем, однако ж, есть поучительного? И какой практический результат может быть достигнут *подобным* окольным путем?

Но сторонники мысли о подкопах и задних мыслях идут еще далее и утверждают, что тут дело идет не об одних окольных путях, но и о сближениях. Отказ от привилегий, говорят они, знаменует величие души, а величие души, в свою очередь, способствует забвению старых распрей и счетов и приводит к сближениям. И вот, дескать, когда мы сблизимся… Но, к сожалению, и это не более как окольный путь, и притом до того уже окольный, что можно ходить по нем до скончания веков; все только ходить, а никак не приходить.

Я отнюдь не хочу сказать, что человечество, на какой бы низкой степени развития ни стояло, не способно оценивать приносимые жертвы. Нет, оно относится к ним сочувственно, но все-таки лишь к таким жертвам, которые имеют характер положительный, а не отрицательный. Такие *положительные* жертвы вовсе не невидаль и не утопия: это жертвы, приносимые, во-первых, знанием, охотно делящимся своими сокровищами с незнанием, и, во-вторых, деятельным сочув-

ствием к интересам, не находящим себе, вследствие несчастно сложившихся обстоятельств, ограждения и защиты. Если я сижу в деревне, умно веду свое хозяйство и не отказываю в добром совете нуждающемуся, то, очевидно, приношу жертву *положительную*. Если я выслушиваю жалобу человека, попавшего впросак, угнетенного, обиженного, принимаю эту жалобу к сердцу, предпринимаю ходатайства, хлопоты — я тоже приношу жертву *положительную*. Такие жертвы *всегда* оцениваются по достоинству, и человек, который приносит их, будет почтен даже в том случае, если он несомненно платит налогов на три копейки меньше против сущей справедливости. Но представьте себе, что я умею только раскладывать гранпасьянс и этот недостаток умственных сокровищ предполагаю заменить гривенником! Представьте себе, что к одному несчастливцу приходит другой несчастливец и начинает утешать его, говоря: «Посмотри, я столько же несчастлив, как и ты!» Ужели тут есть какая-нибудь жертва? А если и есть жертва, то какое же она может принести за собой утешение?

Увы! Это будет утешение самое микроскопическое, а быть может, даже и не совсем хорошего качества. Утешаться общим равенством перед

несчастием можно лишь сгоряча; те же люди, которые в подобных утешениях видят нечто удовлетворяющее, суть люди несомненно злые и испорченные и, во всяком случае, не настолько умные, чтобы отличать облегчения мнимые от облегчений реальных…

Но в том случае, о котором идет речь в настоящее время, даже и такого поистине злого утешения не может быть. Тщетно будем мы ожидать забвений и сближений при помощи самообкладывания: зоркий глаз несчастливца действительного очень тонко сумеет угадать несчастливца мнимого. Он различит тут все до последней мелочи, до последней утаенной копейки, и в этой работе расследования дойдет до обличения таких подробностей, которых на деле, быть может, и нет. Обыкновенное простодушие он возведет на степень преднамеренного поддразнивания; в так называемом внезапном наплыве чувств увидит систему, задуманную издалека. А коль скоро люди вступают на темный путь подозрений, то ничего хорошего от них ждать уж нельзя. Вместо прежней, исторической, распри, которую желали устранить, но к которой так или иначе успели уже приглядеться, явится распря новая, которая тем менее доступна бу-

дет соглашениям, что в основание ее, положим, неправильно, но *непременно*, лягут слова «преднамеренность» и «обман».

Таким образом, достаточных оснований, которые оправдывали бы надежды на сближения, нет. А ежели нет даже этого, то о каких же задних мыслях может идти речь?

Следовательно, и предположение о наплыве чувств, и предположение о неизвестных, но крайне хитрых и либеральных целях оказываются равно несостоятельными.

Остается, стало быть, предположение о наклонности к политико-экономическим вицам. Но одна мысль о возможности чего-либо подобного была так странна, что я вскочил как ужаленный.

Ужели?

Ужели афоризм, утверждающий, что равномерность равномерна, а равноправность равноправна, до того обольстителен, что может кого-нибудь увлекать?

Я гнал от себя эту ужасную мысль, но в то же время чувствовал, что сколько ни размышляю, а ни к каким положительным результатам все-таки прийти не могу. И то невозможно, и другое немыслимо, а третье даже и совсем не годится. А между тем факт существует! Что же, наконец,

это такое?

Мучимый сомнениями, я почувствовал потребность проверить мои мысли, и притом проверить в такой среде, которая была бы в этом случае вполне компетентною.

Я вспомнил, что у меня был товарищ, очень прыткий мальчик по фамилии Менандр Прелестнов, который еще в университете написал сочинение на тему «Гомер как поэт, человек и гражданин», потом перевел какой-то учебник или даже одну страницу из какого-то учебника и, наконец, теперь, за оскудением, сделался либералом и публицистом при ежедневном литературно-научно-политическом издании «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница». Открытие это освежило и ободрило меня. Наконец-то, думалось мне, я буду в самом сердце всероссийской интеллигенции! И, не откладывая дела в долгий ящик, я побежал к Прелестнову.

Я уж не раз порывался к Прелестнову с тех пор, как приехал в Петербург, но меня удерживала свойственная всем провинциалам застенчивость перед печатным словом и его служителями. Нам и до сих пор еще кажется, что в области печатного слова происходит что-то вроде священнодействия, и мы были бы до крайности

огорчены, если бы узнали за достоверное, что в настоящее время это дело упрощено до того, что стоит только поплевать на перо, чтобы вышла прелюбопытнейшая передовая статья.

Лично же для меня трепет перед печатным словом усложняется еще воспоминанием о том, что я и сам когда-то собирался сослужить ему службу. Экземпляр «Маланьи», отлично переписанный и великолепно переплетенный, и доднесь хранится у меня, и по временам — надо ли в том сознаться? — я втихомолку кой-что из него почитываю. Иногда я до того упиваюсь красотами моего произведения, что в голове моей вдруг мелькнет дерзкая мысль: а не махнуть ли в типографию? Но не успеет эта мысль зародиться, как мне уже делается вполне ясною вся ее несостоятельность. Увы! Время «Маланий» прошло безвозвратно! Никто теперь так не пишет, никто так не мыслит, и уж, конечно, никто не переписывает своих «Маланий» набело и не переплетает их! Очевидно, что вход в литературу закрыт для меня навсегда и что мне остается только скитаться по берегу вечно кипящего моря печатного слова и лишь издали любоваться, как более счастливые пловцы борются с волнами его!

«Маланья» написана неуклюже и формой своей напоминает старинные, топорной работы помещичьи экипажи. В ней затискано множество подробностей и отступлений, которые положительно загромождают архитектуру повести. И кузов выпятился безобразно назад, и козлы построены такие, что ни влезть, ни слезть, и мешочков понавешено множество, а подножек чуть не четыре этажа. С первого взгляда трудно даже определить, что это такое: дом, корабль или экипаж. Что-то тут и звенит, и громыхает, что-то грозит перекувырнуться вверх дном, но что именно — хоть целый день ломай голову, не отыщешь. Все это я сознаю совершенно ясно, но тем не менее утверждаю, что ежели сравнение с экипажем тут уместно, то это был все-таки *свой собственный* экипаж, а не извозчичий.

Нынче, даже в литературе, пошли на Руси в ход экипажи извозчичьи. Почистили сбрую, покрасили подержанные экипажи с графскими гербами, завели приобретенных по случаю, после отъезжающих кокоток, кровных рысаков: «Ваше сиятельство! Эх, прокачу!» И вот вы мчитесь, мчитесь во все лопатки, и нигде вас не тряхнет, ничем не потревожит, не шелохнет. Молодец лихач ни обо что не зацепится, держит в руках

вожжи бодро и самоуверенно, и примчит к вожделенной цели так легко, что вы и не заметите. Мысли у него коротенькие, фразы коротенькие; даже главы имеют вид куплетов. Так и кажется, что он спешит поскорее сделать конец, потому что его ждет другой седок, которого тоже нужно на славу прокатить. Слышно: «Пади! Берегись!» — и ничего больше. Через две-три минуты — приехали.

Ну куда же тут соваться с «Маланьей»!

Взирая на этих людей, с такою легкостью мчащихся по улице мостовой, я ощущаю невольную робость. Вот люди, мнится мне, которые не зарыли своих талантов в землю, но, имея за душой грош, сумели с помощью одних быстрых оборотцев преобразить его в двугривенный! Правда, что это все-таки только двугривенный, но ведь и двугривенный… воля ваша, а для гроша и это неслыханный успех! И кто же может предвидеть, что станется с этим двугривенным в будущем! Вглядитесь в него хорошенько: ведь он и теперь чуть ли не выглядит уж рублем!

И когда я подумаю, что если бы меня в свое время не обескуражили цензора, то и я, постепенно оборачиваясь, мог бы в настоящую минуту быть обладателем целого литературного двугривен-

ного, — мной овладевает какая-то положительно дурная зависть. И я бы мчался теперь неведомо куда, мчался бы на подержанных графских дрожках, блестя почищенною сбруей на купленном по случаю кокоткином рысаке! Но мне на первом же шагу закричали: «Стой!» — и тем, так сказать, навсегда прекратили мое течение. Оскорбленный, я изнемогал с тех пор или в деревне, или под сению рязанско-тамбовско-саратовского клуба и все упивался воспоминаниями о «Маланье». О, «Маланья», о, юнейшее из юнейших, о, горячейшее из горячейших произведений, одно воспоминание о котором может извлечь токи слез из глаз его автора! А время между тем шло, не внося в мои взгляды никаких усовершенствований. Появились коротенькие фразы, изобретены коротенькие мысли, а я все упорно оставался при четырехэтажных периодах и хитросплетенных силлогизмах. Собственные экипажи давно заброшены, проданы в лом… а я и до сего дня ношусь с своею «Маланьей» да с воспоминаниями о неизмеримом пьянстве и бесконечных спорах в трактире «Британия»!

Понятно, стало быть, почему я, литератор неудавшийся, литератор с длинными запутанными фразами, с мыслями, сделавшимися сбивчи-

выми и темными вследствие усилий высказать их как можно яснее, робею и стушевываюсь перед краткословными и краткомысленными представителями новейшей русской литературы. Мысль, что любой из этих господ может кого угодно с помощью самой коротенькой фразы и осчастливить, и сконфузить, преследует меня. А так как коротенькие фразы, в сущности, даже усилий никаких не требуют, то представьте себе, сколько тут можно разбросать двугривенных, нимало не трогая самого капитала, который так и останется навсегда неразменным двугривенным! О, Бутков! О Достоевский! О, Аполлон Григорьев! О вы, немазаноколеснейшие, о вы, скрипяще мыслящие прорицатели сороковых годов! Как бы стушевались, сконфузились вы перед лобанчиками[99] современной русской литературы!

От Прелестнова пахло публицистикой, просонками и головною болью. Так как он редижировал отдел «Нам пишут» и, следовательно, постоян-

---

[99] Сноски: 99

Лобанчиком в сороковых годах называлась в русской торговле французская монета с изображением одного из Бурбонов, как известно, обладавших большими открытыми лбами. Монета эта была почти всегда стертая и ходила несколько ниже, нежели двадцатифранковики позднейших чеканов. — *Примеч. авт.*

но находился под угрозой мысли: «А что, если и завтра опять сообщат, что в Шемахе произошло землетрясение?» — то лицо его приняло какое-то уныло-озабоченное выражение. Две фразы были совершенно ясно написаны на этом лице: «О чем бишь я хотел сказать?» и «Ах, не забыть бы, что из Иркутска пишут!». Тем не менее, когда Прелестнов увидел меня, входящего, лицо его на мгновение просветлело.

— «Британия»! — воскликнул он, простирая ко мне руки.

— Санковская! Мочалов! «Башмаков еще не износила»! — отозвался я с неменьшим увлечением.

— Давно ли? И не побывать? Не грех ли? Помнишь «Маланью»?

Мы долгое время стояли рука в руку и смотрели друг на друга светящимися глазами. Наконец рукам нашим стало тепло, и мы бросились обнимать друг друга и целоваться.

— Хорошее было это время! — говорил он, сжимая меня в объятиях. — Еще бы! Ты писал диссертацию «Гомер как поэт, человек и гражданин», я…

— А ты… ты вдохновлялся «Маланьей»! Ты был поэт! О! Это было время святого искусства!..

А впрочем, ведь и теперь… ведь не оскудела же русская земля деятелями! Не правда ли? Ведь не оскудела?

— Где же, голубчик, оскудеть! Возьми: ведь больше семидесяти миллионов жителей, и ежели на каждый миллион хоть по одному Ломоносову…

— Не правда ли? Вот и я постоянно твержу: «Не оскудеет она!» Так ли?

— Помилуй! Как оскудеть! Полководцев, говорят, нет — будут, говорю!

— Будут!

— Администраторов, говорят, подлинных нет — будут, говорю!

— Будут!

— Денег, говорят, нет — будут, говорю!

— Еще бы! И пословица говорит: «Нет денег — перед деньгами!»

— Перед нами времени-то сколько?

— Мало ли перед нами времени!

Мы поцеловались опять.

— Только вот голова болит! — продолжал он. — Постоянно болит! Корреспонденции эти, что ли… а впрочем, какой это бодрый крепкий народ — корреспонденты!

— Коренники!

— У нас есть один Екатеринославский корреспондент — ну, просто можно зачитаться его корреспонденциями!

— Что и говорить! екатеринославцы — они молодцы!

— В наше время ярославцы молодцами слыли… Помнишь, половые ведь все были ярославцы! И все один к одному! Мяса какие у них были — не уколупнешь!

— Ну, екатеринославцы… те по части публицистики!

— Да, брат, везде прогресс! Не прежнее нынче время! Поди-ка ты нынче в половые — кто на тебя как на деятеля взглянет! Нет! Нынче вот земство, суды, свобода книгопечатания… вон оно куда пошло!

Под влиянием воспоминаний я так разгулялся, что даже совсем позабыл, что еще час назад меня волновали жестокие сомнения насчет тех самых предметов, которые теперь возбуждали во мне такой безграничный энтузиазм. Я ходил рядом с Прелестновым по комнате, потрясал руками и, как-то нелепо захлебываясь, восклицал: «Вон оно куда пошло! Вон мы куда метнули!»

— Не правда ли, — вторил в свою очередь Прелестнов, — не правда ли, как легко дышится?

— Уж чего легче надо!

— И как светло живется!

— Уж чего же…

— Банки, ссудо-сберегательные кассы, артельные сыроварни… А сколько в одном Ледовитом океане богатств скрыто… О, черт побери!

Мы поцеловались еще раз.

— Только, брат, расплываться не надо — вот что! — прибавил он с некоторою таинственностью. — Не надо лезть в задор! Тише! Тише!

— То есть как же это: не расплываться?

— Ну да. Вот, например, ежели взялся писать о ссудо-сберегательных кассах — об них и пиши! Чтоб ни о социализме, ни об интернационалке… упаси бог!

— Это вследствие свободы печати, что ли?

— Ну да, и свобода печати, да и вообще… расплываться не следует!

Лицо Прелестнова приняло строгое выражение, как будто он вдруг получил из Екатеринославля совершенно верное известие, что я имею намерение расплываться. Мне, с своей стороны, показалось это до крайности обидным.

— Да я разве… расплываюсь? — спросил я, смотря на него изумленными глазами.

— То-то, то-то! Время «Маланий», брат, нынче

прошло! Ну да, впрочем, не в том дело. Я очень рад тебя видеть, но теперь некогда: надо корреспонденцию разбирать. Кстати: из Кишинева пишут, что там в продолжение целого часа было видимо северное сияние… Каков фактец!

— Да… фактец — ничего!

— Ну-с, так вот что: приходи ты ко мне завтра вечером, и тогда…

Лицо Прелестнова из строгого вдруг сделалось таинственным. Видно было, что он хотел нечто сообщить мне, но некоторое время не решался.

— Впрочем, от тебя скрываться нечего, — наконец сказал он, — с некоторого времени здесь образовалось общество под названием «Союз пенкоснимателей»… но ради бога, чтоб это осталось между нами!

Он произнес это так тихо, что я даже побледнел.

— И это общество… запрещенное? — спросил я.

— То есть как тебе сказать… Оно, конечно, цели нашего общества самые благонамеренные… Ведем мы себя, даже можно сказать, примернейшим образом… Но странное дело! Для правительства все как будто неясно, что от пенкоснимателей никакого вреда не может быть!

— Гм… и завтра у тебя сборище?

— Ну да, ты увидишь тут всех.

— Отлично. А у меня, кстати, несколько вопросов есть.

— Прекрасно. Стало быть, до завтра. Завтра мы все порешим. Только, чур, не расплываться! Помни, что время «Маланий» прошло! А покуда вот тебе писаный устав нашего общества.

Мы опять обнялись, поцеловались и, смотря друг на друга светящимися глазами, простояли рука в руку до тех пор, пока нам не сделалось тепло.

Наконец, однако ж, я вышел. Но когда я уже был внизу лестницы, Прелестнов, должно быть, не выдержал, выбежал на площадку и сверху закричал мне:

— Смотри же, не расплываться! «Маланью» нужно оставить! Оставить «Маланью» нужно!

Я не шел домой, а бежал.

«Тайное общество! — думалось мне. — И какое еще тайное общество! Общество, цель которого формулируется словами: «не расплываться» и «снимать пенки»! Великий боже! В какие мы времена, однако ж, живем!»

А ведь какой был прекраснейший малый этот Прелестнов в то незабвенное время, когда писал свою диссертацию «Гомер как поэт, человек

и гражданин»! Совсем даже и не похож был на заговорщика! А теперь вот заговорщик, хитрец, почти даже государственный преступник! Какое горькое сплетение обстоятельств нужно было, чтоб произвести эту метаморфозу!

Я как сейчас помню некоторые выдержки из его достопамятной диссертации.

«Гомер! Кто не испытывал высокого наслаждения, читая бессмертную «Илиаду»? Гомер — это море, или, лучше сказать, целый океан, как он же — безбрежный, как он же — глубокий, а быть может, даже бездонный!»

Далее:

«Но Гомер безбрежен не только как поэт, но и как человек. Ежели мы хотим представить себе идеал человека, то, конечно, не найдем ничего лучшего, как остановиться на величественном образе благодушного старца, в котором, как в море, отразилась седая древность времен».

И еще далее:

«Но Гомер был в то же время и гражданин. Он не скрывает своего сочувствия к оскорбленному Менелаю, что же касается до его патриотизма, то это вопрос настолько решенный, что всякое

сомнение в нем может возбудить лишь *гомерический* хохот».

И проч. и проч.

И этот человек — заговорщик! Этот человек не настолько свободен, чтобы ясно сказать, что в городе имярек исправник ездит на *казенных* лошадях! Этот человек, защитник Гомера как человека, поэта и гражданина, — один из деятельных членов разбойничьей банды пенкоснимателей!

И что это за банда такая — настоящая разбойничья или так, вроде оффенбаховской, при которой Менандр разыгрывает роль Фальзакаппы?

О, Менандр! Что же таится в душе твоей? Что кроется в этом тихо дремлющем заливе, в котором так весело смотрится «наш екатеринославский корреспондент»? Снятся ли ей сны о подкопах или просто закипает неясный наплыв неясных чувств? О, Менандр!

Прибежав домой, я с лихорадочною поспешностью вынул из кармана данную мне Прелестновым рукописную тетрадку и на заглавном листе ее прочитал: «Устав Вольного союза пенкоснимателей», но в глазах у меня рябило, дух занимало, и я некоторое время не мог прийти в себя. Однако ж две-три рюмки водки — и я был уже в состоянии продолжать.

Устав разделен на семь параграфов, подразделенных, в свою очередь, на статьи. Каждая статья снабжена объяснением, в котором подробно указываются мотивы, послужившие для статьи основанием.

Устав гласил:

«1. Цель учреждения Союза и его организация

Ст. 1. За отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени, учреждается учено-литературное общество под названием «Вольный союз пенкоснимателей».

Объяснение. В журнале «Вестник пенкоснимания», в статье «Вольный союз пенкоснимателей перед судом общественной совести», сказано:

«В сих печальных обстоятельствах какой исход предстоял для русской литературы? По нашему посильному убеждению, таких исходов было два: во-первых, принять добровольную смерть, и, во-вторых, развиться в Вольный союз пенкоснимателей». Она предпочла последнее решение, и, смеем думать, поступила в этом случае не только разумно, но и вполне согласно с чувством собственного достоинства. Зачем умирать, когда в виду еще имеется обширное и плодотворное

поприще пенкоснимания?»

Ст. 2. Никакой организации союз не имеет. Нет в нем ни президентов, ни секретарей, ни даже совокупного обсуждения общих всем пенкоснимателям интересов по той простой причине, что из столь невинного занятия, каково пенкоснимание, никаких интересов проистечь не может.

Союз сей — вольный по преимуществу. Каждому предоставляется снимать пенки с чего угодно и как угодно, и эта уступка делается тем охотнее, что в подобном занятии никаких твердых правил установить невозможно.

Объяснение. В той же статье далее говорится:

«Что же такое этот Вольный союз пенкоснимателей, который, едва явившись на свет, уже задал такую работу близнецам «Московских ведомостей»? Имеет ли он в виду проведение каких-либо разрушительных начал? Или же представляет собой, как уверяют некоторые доброжелатели нашей прессы, хотя и невинное, но все-таки не дозволенное законом тайное общество? Мы смело можем ответить на эти вопросы: ни того, ни другого предположить нельзя. Пенкоснимательство составляет в настоящее время единственный живой общественный эле-

мент, а ежели оно господствует в обществе, то весьма естественно его господство и в литературе. Пенкосниматели всюду играют видную роль, и литература *обязана* была раскрыть им свои двери сколь возможно шире. И она сделала это тем бестрепетнее, что пенкосниматели суть вполне вольные люди, приходящие в литературный вертоград с одним чистым сердцем и вполне свободные от какой бы то ни было мысли. Поэтому говорить о какой-то организации, о каких-то тайных намерениях — просто смешно. Этим чистым людям самая мысль об организации должна быть противна».

2. О членах Союза

Ст. 1. В члены Союза пенкоснимателей имеет право вступить всякий, кто может безобидным образом излагать смутность испытываемых им ощущений. Ни познаний, ни тем менее так называемых идей не требуется. Но ежели бы кто, видя, как извозчик истязает лошадь, почел бы за нужное рядом фактов, взятых из древности или из истории развития современных государств, доказать вред такого обычая, то сие не токмо не возбраняется, но именно и составляет тот высший вид пенкоснимательства, который в современной литературе известен под именем

науки.

Объяснение. Там же:

«Чувство, одушевляющее пенкоснимателя, есть чувство наивной непосредственности. А так как чувство это доступно всякому, то можно себе представить, как громадно должно быть число пенкоснимателей! Но само собою разумеется, что в тех случаях, когда это чувство является во всеоружии знания и ищет применений в науке, оно приобретает еще большую цену. Хорош пенкосниматель-простец, но ученый пенкосниматель еще того лучше. Появление сих последних на арене нашей литературы есть признак утешительный и, смеем думать, даже здоровый. Пора наконец убедиться, что наше время не время широких задач и что тот, кто, подобно автору почтенного рассуждения «Русский романс: «Чижик-пыжик, где ты был?» перед судом здравой критики», сумел прийти к разрешению своей скромной задачи, сделал гораздо более, нежели все совокупно взятые утописты-мечтатели, которые постановкой «широких» задач самонадеянно волнуют мир, не удовлетворяя оного».

Ст. 2. Отметчики и газетные репортеры, то есть все те, кои наблюдают, дабы полуда на посуде

в трактирных заведениях всегда находилась в исправности, могут вступать в Союз даже в том случае, если не имеют вполне твердых познаний в грамматике.

Объяснение. В передовой статье, напечатанной об этом предмете в газете «Старейшая Всероссийская пенкоснимательница», сказано:

«Газетный репортер есть, так сказать, первообраз истинного литературного пенкоснимателя, от которого все прочие (ученые, публицисты, беллетристы и проч.) заимствуют свои главные типические особенности. Вся разница (оговариваемся, впрочем: разница очень значительная) заключается лишь в большем или меньшем объеме произведений тех и других. Какою бы эрудицией ни изумлял, например, автор «Исследования о Чурилке», но ежели читатель возьмет на себя труд проникнуть в самые глубины собранного им драгоценного матерьяла, то на дне оных он, несомненно, увидит отметчика-пенкоснимателя. Поэтому нам кажется, что ограничить, относительно отметчиков, возможность вступать в Союз пенкоснимателей было бы несправедливо даже в том случае, если бы люди сии и не вполне безукоризненно расставляли знаки препинания. Скажем более: это значило бы

подрывать самые основы союза, лишая его содействия таких лиц, от которых он получил свои главнейшие типические особенности».

По этому же поводу в газете «Истинный российский пенкосниматель» говорится следующее:

«В литературе нашей много наделал шуму вопрос: следует ли отметчиков и газетных репортеров считать членами Вольного союза пенкоснимателей? И, по-видимому, весь сыр-бор загорелся из того, что много-де встречается таких репортеров, которые далее грамотно писать не умеют. Мы позволяем себе думать, однако ж, что даже возбуждение подобных вопросов представляет нечто в высшей степени странное. В чем заключается истинная цель пенкоснимательства? Она заключается в облегчении литератора, в освобождении его от некоторых стеснительных уз. А в чем же мы можем найти облегчение более действительное, как не в свободе от грамматики, этого старого, изжившего свой век пугала, которого в наш просвещенный век не страшатся даже вороны и воробьи?»

3. О приличнейшей для пенкоснимательства арене

Ст. 1. Рассеянные по лицу земли, лишенные

организации, не связанные ни идеалами, ни ясными взглядами на современность, да послужат российские пенкосниматели на славном поприще российской литературы, которая издревле всем без пороху палящим приют давала!

Объяснение. Об этом предмете газета «Зеркало пенкоснимателя» выразилась так:

«Где самое сподручное поприще для пенкоснимателя? Очевидно, в литературе. Всякая отрасль человеческой деятельности требует и специальной подготовки, и специальных приемов. Сапожник обязуется шить *непременно* сапоги, а не подобие сапог, и, чтобы достигнуть этого, *непременно* должен знать, как взять в руки шило и дратву. Напротив того, публицист очень свободно может написать не передовую статью, а лишь подобие оной, и нимало не потерять своей репутации. Отсюда ясно, что одна литература может считать себя свободною от обязательства изготовлять работы вполне определенные и логически последовательные. Составленная из элементов самых разнообразных и никаким правилам не подчиненных, она представляет для пенкоснимательства арену тем более приличную, что на оную, в большинстве случаев, являются люди, не искушенные в науках, но одушевляемые

единственно жаждой как можно более собрать пенок и продать их по 1 к. за строчку».

4. Об обязанностях членов Союза

Ст. 1. Обязанности сии суть:

Первое. Не пропуская ни одного современного вопроса, обо всем рассуждать с таким расчетом, чтобы никогда ничего из сего не выходило.

Объяснение. В газете «Старейшая всероссийская пенкоснимательница» читаем:

«Странный вы человек, читатель! Как хотите вы, чтобы мы высказывались ясно, когда, с одной стороны, нам угрожает за это административная кара, а с другой стороны, мы и сами вполне ясных представлений о вещах не имеем?»

Об этом же предмете в еженедельном издании «Обыватель пенкоснимающий», в статье «Отповедь «Старейшей всероссийской пенкоснимательнице» (служащей ответом на предыдущую статью), сказано:

«С одной половиной этой мысли мы имеем полную готовность согласиться весьма безусловно. Что ж делать! Старейшая наша пенкоснимательница всегда имеет такие мысли, что лишь половина оных надлежащую здравость имеет,

другая же половина или отсутствует, или идет навстречу первой, как два столкнувшихся в лоб поезда железной дороги, нечаянно встретившиеся. Итак, если мы положим руку на сердце, то оно скажет нам, что мы действительно истинно здравых понятий о вещах в своем яснопостижении обладать не можем. Это так. Но чтобы за сие нас ожидала какая-то административная кара — это никогда! Это не есть в пределах возможности!»

Второе. По наружности иметь вид откровенный и даже смелый, внутренне же трепетать.

Объяснение. В газете «Зеркало пенкоснимателя» говорится:

«Одно из величайших затруднений для успехов пенкоснимательства в будущем заключается в следующем. Читатель любит, чтобы беседующий с ним публицист имел вид открытый и даже смелый; цензура, напротив, не любит этого. Каким образом пройти между Харибдой и Сциллой? Каким образом, с одной стороны, не растерять подписчиков, а с другой — не навлечь на себя кару закона? В этом именно и заключается задача современного пенкоснимателя. До сих пор единственное практическое решение этой задачи было таково: смелый вид иметь лишь по наруж-

ности, а внутренне трепетать. Соглашаясь вполне с правильностью такого решения, мы, с своей стороны, полагали бы нелишним, для большей смелости, прибегать при этом к некоторым фразам, которые, по мнению нашему, могли бы с успехом послужить для достижения обеих высказанных выше целей. Фразы эти суть: «мы предупреждали», «мы предсказывали», «мы предвидели» и т. д. Примененные к делу пенкоснимательства, эти фразы никакой в цензурном отношении опасности не представляют, а между тем публицисту придают вид бодрый и отчасти даже проницательный».

Третье. Усиливать откровенность и смелость по мере того, как предмет, о котором заведена речь, представляет меньшую опасность для вольного обсуждения. Так, например, по вопросу о неношении некоторыми городовыми на виду блях надлежит действовать с такою настоятельностью, как бы имелось в виду получить за сие третье предостережение.

Объяснение. Газета «Истинный российский пенкосниматель» выражается по этому поводу так:

«В сих затруднительных обстоятельствах литературе ничего не остается более, как обличать

городовых. Но пусть она помнит, что и эта обязанность нелегкая, и пусть станет на высоту своей задачи. Это единственный случай, когда она не вправе идти ни на какие сделки и, напротив того, должна выказать ту твердость и непреклонность, которую ей не дано привести в действие по другим вопросам».

Четвертое. Рассуждая о современных вопросах, стараться по возможности сокращать их размеры.

Объяснение. В газете «Старейшая всероссийская пенкоснимательница» читаем:

«Наклонность расплываться и захватывать вширь исстари была самым — важным так сказать, органическим — нашим недостатком. Рассматривая, например, поступок городового (бляха № 000), мы никак не упустим, чтобы не зацепить по дороге и весь почтенный институт городовых. Понятно, какое раздражение должен породить подобный неосновательный образ действий не только в гг. городовых, но и в гг. участковых и околоточных надзирателях, их непосредственных начальниках. Поэтому, ввиду благодетельного поворота нашей литературы в смысле пенкоснимательства, мы не обинуясь

и во всеуслышание говорим: «Не раздражайте! Говорите сколько угодно о бляхе № 000, но не касайтесь института. Silenzio! Prudenzia![100] — как поют хористы в итальянской опере. Не раздражайте».

Пятое. Ежеминутно обращать внимание читателя на пройденный им славный путь. Но так как при сем легко впасть в ошибку, то есть выдать славное за неславное и наоборот, то наблюдать скромность и осмотрительность.

Объяснение. «Обыватель пенкоснимающий» выражается так:

«С тех высот, на коих мы находимся, полезно, хотя бы и с головокружением, взглядывать на путь, который уже пройден нами. Оглянемся — и что ж увидим? Увидим бездну, в которой многое и прекрасно, и своевременно, многое же только прекрасно, хотя, быть может, и не столь своевременно. Но назовем ли мы прекрасное безусловно прекрасным, а несвоевременное — безусловно несвоевременным? Нет, мы остережемся от такого опрометчивого поступка, омрачающего нашу совесть! Ибо мы не знаем, действитель-

---

[100] Сноски: 100
Молчание! Благоразумие! (*итал.*)

но ли прекрасно для читателя то, что мы считаем прекрасным для себя. Мы опасаемся, как бы не назвать прекрасным то, что для читателя совсем не есть потребно, и непотребным то, что для него всегда было прекрасно, и теперь оставалось бы таковым, если бы не внезапность обстоятельств, изменившая все к наилучшему (см. соч. Токвиля: «L'ancien regime et la Revolution»). И если бы кто-нибудь взял на себя труд заверять нас, что все сие есть бессмыслица, то мы на сие ответствовали бы: «Судите сами! Мы же, с божьею помощью, и впредь таковое намерены говорить!»

На эту заметку «Зеркало пенкоснимателя» возражало:

«Из целого леса бессмыслиц, которыми переполнена заметка почтенной газеты, выделяется только одна светлая мысль: нужно обращать внимание русского общества на пройденный им славный путь, но не следует делать никакой критической оценки этому пути. Эта мысль справедлива уже по тому одному, что не все вкусы одинаковы, а следовательно, трудно угадать, кому из подписчиков нравится арбуз, а кому — свиной хрящик».

Шестое. Обнадеживать, что в будущем ожида-

ет читателей еще того лучше.

Объяснение. В фельетоне газеты «Пенкоснимательнараспашку» сказано:

«Не знаю, как вы, читатель, но я преисполнен веры в будущее. Я совсем не разделяю взглядов тех мрачных людей, которые на все смотрят с подозрительностью. Фи, какой это скучный и необтесанный народ! Напротив того, я совершенно ясно вижу то время, когда грудь России вдоль и поперек исполосуется железными путями, когда увидят свет бесчисленные богатства, скрывающиеся в недрах земли, и бесконечными караванами потянутся во все стороны. Уже повезли в Ташкент наши плисы и ситцы — почему бы вслед за ними не проникнуть туда и изданиям общества распространения полезных книг? То-то порадуется русский мужичок, когда отдаленный Самарканд будет носить ситцевые рубахи его изделия, а кичливый сын туманного Альбиона облечется в плисовые шаровары, изготовленные в самом сердце России — в Москве. Золотые маковки… Москва… Чье сердце не трепещет при твоем имени!»

Седьмое. Проводить русскую мысль, русскую науку и высказывать надежду, что «новое слово»

когда-нибудь будет сказано.

Объяснение. Журнал «Пенкоснимательная подоплека», в статье «Корреспонденция из Вильно», выражается так:

«Обрусение — вот наша задача в этом крае, но обрусение действительное, сопровождаемое инкюлькированием настоящего русского духа. Мы не верим более Петербургу, ибо какой же там русский дух? Петербург указывает нам на Запад и предлагает нашу общественность перестроить на манер тамошней. Странное дело! Не все ли это равно, что предложить человеку надеть заношенное исподнее белье его соседа!»

На это газета «Зеркало пенкоснимателя» возражала следующее:

«Стремление создать *свою* мысль, *свою* науку весьма похвально. Мы не имеем права успокоиться до тех пор, пока у нас не будет *своей* арифметики, *своей* химии, *своей* астрономии и проч. Но сравнение западной цивилизации с чужим поношенным бельем все-таки не выдерживает критики. Оно неосновательно уже по тому одному, что недоброжелатели наши могут возразить нам, что на Западе белье никогда не доводится до степени полной заношенности и что ежели

за кем есть грешок в некоторой неопрятности, то это именно за нами. Итак, не станем напрашиваться на ненужные возражения и останемся при основной и несомненно верной мысли: да, мы призваны создать новую науку и сказать дряхлеющему миру новое, обновляющее слово! Не будем заимствоваться от соседей их заношенным исподним бельем, но не станем дорожить и собственным таковым же! «Новое слово» — вот все, что от нас требуется в настоящий момент, и чем скорее оно будет сказано, тем лучше!»

Восьмое. Всемерно опасаться, как бы все сие внезапно не уничтожилось.

Объяснение. В газете «Старейшая всероссийская пенкоснимательница» читаем:

«Мы так молоды и неопытны, что не жалеть об нас было бы совершенно бесполезною жестокостью. Скажем более: мы от души сожалеем о тех, которые не находят в себе достаточно гражданского мужества, чтоб пожалеть об нас, о нашей молодости и неопытности. Это люди злые и жалкие. Представьте себе ребенка, который едва собрался встать на ноги и которого вдруг ткнут пальцем в грудь, — естественно, что он упадет и ушибется. Не то ли же самое может

случиться и с нашим молодым обществом, если мы будем обращаться с ним без надлежащей осторожности? Мы приглашаем наших противников подумать об этом серьезно, и делаем это с тем большим основанием, что и, помимо литературы, найдется довольно охотников тыкать в бедного новорожденного, называющегося русским обществом».

Девятое. Опасаться вообще.

Объяснение. В той же газете говорится:

«Как ни величественно зрелище бури, уничтожающей все встречающееся ей на дороге, но от этой величественности нимало не выигрывает положение того, кто испытывает на себе ее действие. Вот почему благоразумные люди не вызывают бурь, а опасаются их: они знают, что стоит подуть жестокому аквилону — и их уж нет! Мы советуем нашим противникам подумать об этом, и ежели они последуют нашему совету, то, быть может, поймут, что роль пенкоснимателя (то есть человека опасающегося по преимуществу) далеко не столь смешна, как это может показаться с первого взгляда. В этой роли есть даже много трагического».

5. О правах членов Союза

Ст. 1. Права членов Вольного союза пенкоснимателей прямо вытекают из обязанностей их, посему и распространяться об них нет надобности.

Объяснение. В газете «Истинный российский пенкоснимательь» читаем:

«Нам говорят о правах, но разве может быть какое-нибудь сомнение относительно права, коль скоро обязанность несомненна? Очевидно, тут есть недоразумение, и люди, возбуждающие вопрос о правах, не понимают или не хотят понять, что, принимая на себя бремя обязанностей, мы с тем вместе принимаем и бремя истекающих из них прав. Это подразумевается само собой, и напоминать о сем — значит лишь подливать масла в огонь. Не будем же придираться к словам, но постараемся добропорядочным поведением доказать, что мы одинаково созрели и для обязанностей, и для прав».

6. Что сие означает?

Ст. 1. Вопрос этот ближе всего разрешается «Старейшею Всероссийскою пенкоснимательницею», которая, задавшись вопросом: «Во всех ли случаях необходимо приходить к каким-либо заключениям?» — отвечает так: «Нет, не во всех.

Жизнь не мертвый силлогизм, который во что бы то ни стало требует логического вывода. Заключения, даваемые жизнью, не зависят ни от посылок, ни от общих положений, но являются ex abrupto и почти всегда неожиданно. Поэтому, ежели мы нередко ведем с читателем беседу на шести столбцах и не приходим при этом ни к каким заключениям, то никто не вправе поставить нам это в укор. Укорителям нашим мы совершенно резонно ответим: «Каких вы требуете от нас заключений, коль скоро мы с тем и начали нашу речь, чтобы ни к каким заключениям не приходить?»

7. Цель учреждения союза и его организация[101]

Ст. 1. За отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени учреждается учено-литературное общество под названием «Первый Союз пенкоснимателей».

.....

[101] Сноски: 101

Этот параграф составляет дословную перепечатку первого и существует только в первом издании «Устава», где он, очевидно, напечатан по недосмотру корректора. Во втором издании он исключен, но помещаю его как потому, что у меня в руках было первое издание, так и потому, что напоминание о цели учреждения союза в конце «Устава» как нельзя более уместно. — *Примеч. авт.*

Я закончил. Не знаю, как это случилось, но едва я успел дочитать последнее слово Устава, как мной овладел глубочайший сон.

В этом сне я пробыл до тех пор, когда пробил час ехать к Прелестнову.

Что происходило потом — до следующей главы.

VI

«Так вот вы каковы: — заговорщики, почти что революционеры!» — думалось мне, покуда я шел к Прелестнову.

Вот к чему привело классическое образование, вот что значит положить в основание дальнейшей деятельности диссертацию «Гомер как человек, поэт и гражданин»! Ум, вскую шатающийся, ум, оторванный от действительности, воспитанный в преданиях Греции и Рима, может ли такой ум иметь что-нибудь другое в виду, кроме систематического, подрывающего основы общественности пенкоснимательства?

А что, ежели они… да с оружием в руках! Страшно подумать!

А мы-то сидим в провинции и думаем, что это просто невинные люди, которые увидят забор — поют: «Забор! Забор!» — увидят реку — поют: «Река! Река!» — Как бы не так — «Забор»! Нет, это люди себе на уме; это люди, которые в совершенстве усвоили суворовскую тактику. «Заманивай! заманивай!» — кричат они друг другу, и все бегут, все бегут куда глаза глядят, затылком к опас-

ности!

И как хитро все это придумано! По наружности вы видите как будто отдельные издания: тут и «Старейшая всероссийская пенкоснимательница», и «Истинный российский пенкосниматель», и «Зеркало пенкоснимателя», а на поверку выходит, что все это одна и та же сказка о белом бычке, что это лишь рубрики одного и того же ежедневно-еженедельно-ежемесячного издания «Общероссийская пенкоснимательная срамница»! Каков сюрприз!

Но этого мало. Мало того что родные братья притворяются, будто они друг другу только седьмая вода на киселе, — посмотрите, как они враждуют друг с другом! «Мы, — говорит один, — и только одни мы имеем совершенно правильные и здравые понятия насчет института городовых, а вам об этом важном предмете и заикаться не следует!» — «Нет, — огрызается другой, — истинная компетентность в этом деле не на вашей, а на нашей стороне. Мы первые подали мысль о снабжении городовых свистками, а вы, где были вы, когда мы предлагали эту спасительную меру? И после этого вы осмеливаетесь утверждать, что мы не имеем сказать ничего плодотворного по вопросу о городовых! Но мы отдаем наш

спор на суд публики и ей предоставляем решить, какого названия заслуживает взводимая на нас нахальная ложь!»

Читая эти вдохновенные речи, мы, провинциалы, задумываемся. Конечно, говорим мы себе, эти люди невинны, но вместе с тем как они непреклонны! Посмотрите, как они козыряют друг друга! Как они способны замучить друг друга по вопросу о выеденном яйце!

Обман двойной: во-первых, они не невинны; во-вторых, совсем не непреклонны, и ежели затеяли между собой полемику, то единственно, как говорится, для оживления своих столбцов и страниц.

Невинны — на чем основано это мнение? На том ли, что все они славословят и поют хвалу? На том ли, что все в одно слово прорицают: «Тише, не расплывайтесь, не заезжайте, не раздражайте»? Прекрасно. Я первый бы согласился, что нет никакой опасности, если бы они кричали «тише!» каждый сам по себе. Но ведь они кричат все вдруг, кричат единогласно — поймите это, ради Христа! Ведь это уж скоп! Ведь этак можно с часу на час ожидать, что они не задумаются кричать «тише!» — с оружием в руках! Ужели же это не анархия?

Да, это люди опасные, и нечего удивляться тому, что даже сами они убедились, что с ними нужно держать ухо востро. Но сколько должно накопиться горечи, чтобы даже на людей, кричащих: «Тише!» — взглянуть оком подозрительности? Чтобы даже в них усмотреть наклонности к каким-то темным замыслам, в них, которые до сих пор выказали одно лишь мастерство: мастерство впиваться друг в друга по поводу выеденного яйца!

Что же касается непреклонности, то мне невольно припомнилось, как в былое время мой друг, Никодим Крошечкин, тоже прибегал к полемике «в видах оживления столбцов издаваемой им газеты».

То было время господства «Британии» и эстетических споров. Никодим редижировал какую-то казенную газету, при которой, для увеселения публики, имелся и литературный отдел. На приобретение материала для этого отдела Никодиму выдавалась какая-то неизмеримо малая сумма, с помощью которой он и обязывался три дня в неделю «оживлять столбцы газеты». Приятелей у Крошечкина было множество, но, во-первых, все это были люди необыкновенно глубокие, а потому «как следует писать об этом

предмете, братец, времени нет, а коротенько писать — не стоит руки марать»; а во-вторых, все они проводили время по большей части в «Британии» и потому не всегда бывали трезвы. Таким образом, Никодим и остался один, как рак на мели. Бился он, бился — и вдруг нашелся. К величайшему удивлению, мы стали замечать, что Никодим ведет газету на славу, что «столбцы ее оживлены», что в ней появилась целая стая совершенно новых сотрудников, которые неустанно ведут между собой живую и даже ожесточенную полемику по поводу содержания московских бульваров, по поводу ненужности посыпания песком тротуаров в летнее время и т. д. Заинтригованные в высшей степени, мы всем хором приступили к Никодиму с вопросом: что сей сон значит? И что ж оказалось? Что он, Никодим, просто-напросто полемизирует сам с собою! Что он в одном своем лице соединяет и Корытникова, и Иванова, и Федула Долгомостьева, и прохожего, и проезжего и т. д. Что сначала он напишет статью о необходимости держать бульвары в чистоте и уязвит при этом Московскую городскую думу, а в следующем нумере накинется сам на себя и совершенно убедительно докажет, что все это пустяки и что бульвары прежде всего должны

служить в качестве неисчерпаемого вместилища человечьего гуано!

И вот теперь, когда я ближе ознакомился с Уставом Вольного союза пенкоснимателей и сопоставил начертанные в нем правила с современною литературною и журнальною действительностью, я не мог воздержаться, чтобы не воскликнуть: «Да это Никодим! Это он, под разными псевдонимами полемизирующий сам с собою!»

Признаюсь, мне даже сделалось как будто неловко. «Ведь это, наконец, бездельничество! — думалось мне. — И ежели в этом бездельничестве нет ни организации, ни предумышленности, тем хуже для него. Значит, оно проникло в глубину сердец, проело наших пенкоснимателей до мозга костей! Значит, они бездельничают от полноты чувств, бездельничают всласть, бездельничают потому, что действительно ничего другого перед собой не видят!»

Но как они от нечего делать едят друг друга — это даже ужасно. Загляните, например, в «Старейшую всероссийскую пенкоснимательницу», и первое, что вас поразит, — это смотр, который она периодически делает всем прочим органам пенкоснимательства. Что побуждает ее

к тому — то ли, что ее разделяет бездна от прочих пенкоснимателей? Нет, этой бездны нет, да и она сама в минуты откровенности коснеющим языком проговаривается, что, в сущности, каждый пенкоснимать равен каждому пенкоснимателю. Очевидно, стало быть, ей хочется только отличиться, отвести глаза, оживить свои столбцы, даже рискуя собственными боками. Ей хочется, чтобы публика благодаря общему затишью слышала, как она жует во сне собственные рукава.

Теперь этот наглый обман выяснился для меня с какою-то безнадежною выпуклостью… Но, признаюсь, и прежде, когда я был еще в провинции, меня уже смущали некоторые неясные сомнения на этот счет. Едва ли не десять лет кряду, каждое утро, как мне подают вновь полученные с почты органы русской мысли, я ощущаю, что мною начинает овладевать тоскливое чувство. Иногда мне кажется, что вот-вот я сейчас услышу какое-то невнятное и ненужное бормотание о том о сем, а больше ни о чем; иногда сдается, что мне подают детскую пеленку, в которой новорожденный младенец начертал свою первую передовую статью; иногда же просто-напросто я воочию вижу, что в мой кабинет вошел дурак: пришел, сел

и забормотал. И я не могу указать ему на дверь, я должен беседовать с ним, потому что это дурак привилегированный: у него за пазухой есть две-три новости, которых я еще не знаю!

И эти-то люди обозревают друг друга! Эти люди, ради оживления каких-то столбцов, язвят и чернят друг друга! Они, которым следовало бы целовать друг друга взасос! Проказники!

У каждого из этих апостолов самоедства сидит в голове маковое зернышко, которое он хочет во что бы то ни стало поместить; каждый из них имеет за душой материала настолько, чтобы изобразить: «На последнем я листочке напишу четыре строчки!» — зато уж и набрызжет же он в этих четырех строчках! И посмотрите, с какою серьезностью какой-нибудь мудрый Натан воробьиного царства произносит свои: «Позволительно думать, что возбуждение подобных вопросов едва ли своевременно», или: «По нашему мнению, это не совсем так!» Мудрейший из воробьев! Кто тебя? Не все ли равно, кто, как и с чего снимает пенки?

Какая громадная разница с Никодимом! Когда Никодим полемизировал сам с собою, уличал самого себя в неправде и доказывал свою собственную несостоятельность, он не вставал

на дыбы, не артачился и не похвалялся, что идет на рать. Он откровенно говорил: «Мне дают мелкую монету и требуют, чтобы я действовал так, как бы имел в распоряжении своем монету крупную. Понятное дело, что я не могу удовлетворить этому требованию иначе, как истязуя самого себя». Так объяснялся Никодим, и мы очень хорошо понимали его объяснения. Мы понимали, что он относится к своему занятию вполне объективно, что он резко отделяет свое внутреннее «я» от того горького дела, к которому прицепила его судьба, отделяет настолько же, насколько отделял себя в те времена каждый молодой либерал-чиновник от службы в департаментах и канцеляриях, которые он всякое утро посещал. Внутренне Никодиму было решительно все равно, стоят ли будочники при будках или же расставлены по перекресткам улиц, поэтому он мог смело и не расходуя своих убеждений доказывать (раз), что полезно, чтобы будочники находились при будках, и (два), что еще полезнее, если они расставлены по перекресткам. Следовательно, ежели современные российские пенкосниматели и заимствовали у Никодима внешние приемы «оживления столбцов», то они совершенно забыли о той объективности,

которая скрывалась за этими приемами. Подобно Никодиму они самоедствуют, но при этом горячатся, встают на дыбы и — о, верх самохвальства! — изо всех сил доказывают, что у них даже в помышлении ничего другого не имеется, кроме мысли о необходимости снабжения городовых свистками. О, заговорщики, кто же поверит вам?

«Тише! Не расплывайся! Не раздражай!» — это ли не карбонарство? Этого ли мало для возбуждения в самом кротком начальнике подозрительности?

Таковы были вопросы, которые застали меня на подъезде дома, в котором жил Прелестнов. Я обернулся: сзади меня расстилалось зеркало Невы, все облитое тихим мерцанием белой майской ночи. Воздух был недвижим; деревья в соседнем саду словно застыли; на поверхности реки — ни малейшей зыби; с другой стороны реки доносился смутный городской гомон и стук; здесь, на Выборгской, царствовала тишина и благорастворение воздухов. «А не удрать ли на тоню или на острова?» — мелькнуло у меня в голове. Но пенкоснимательная мысль: «Я должен исполнить свой долг!» — уже безвозвратно отравила мое существование. Я позвонил.

В кабинете у Менандра было довольно мно-

го народу и страшно накурено. Тут были люди всякого роста и всяких комплекций, но на всех лицах было написано присутствие головной боли. У всех цвет лица был тусклый, серый, а выражение озабоченное, как бы скорбящее о гресех; все страдали геморроем, следствием слишком усидчивого пенкоснимательства. Все великие наши пенкосниматели были тут налицо, все те, которые даже одну минуту опасаются провести праздно: так велика вереница пустяков, которые им предстоит разрешить. В тот момент, когда я вошел, Менандр рассказывал собравшейся около него кучке о своем путешествии по Италии.

— Представьте себе, — говорил он, — небо там синее, море синее, по морю корабли плывут, а над кораблями реют какие-то неизвестные птицы… но буквально неизвестные, a la lettre!

— Позвольте, не об этих ли птицах писал Страбон? — пустил кто-то догадку.

— Нет, это не те. Кювье же хотя и догадывался, что это простые вороны, однако Гумбольдт разбил его доводы в прах… Но что всего удивительнее — в Италии и вообще на юге совсем нет сумерек! Идете по улице — светло, и вдруг — темно!

— И апельсины на воздухе растут? — полюбопытствовал некто.

— Еще бы. Я сам видел дерево, буквально обремененное плодами. Ну все равно что у нас яблоки, или, вернее, даже не яблоки, а рябина.

В эту минуту хозяин заметил мое присутствие.

— А! Старый друг! Господа! бывший товарищ по университету, написал когда-то повесть, на которую обратил внимание Белинский, — рекомендовал он меня, и в свою очередь представил мне присутствующих: — Иван Николаевич Неуважай-Корыто, автор «Исследования о Чурилке»; Семен Петрович Нескладин, автор брошюры «Новые суды и легкомысленное отношение к ним публики»; Петр Сергеич Болиголова, автор диссертации «Русская песня: «Чижик-пыжик, где ты был?» перед судом критики»! Вячеслав Семеныч Размазов, автор статьи «Куда несет наш крестьянин свои сбережения?»…

Но тут со мной случилось что-то совершенно неловкое. Раскланиваясь и пожимая руки во все стороны, я до того замотался, что принял последнюю рекомендацию за вопрос, обращенный ко мне. И потому совершенно невпопад отвечал:

— Да в казначейство, я полагаю…

На этот раз, однако ж, мой легкомысленный ответ не повлек за собой никакого реприманда. Напротив того, насупленные лица пенкоснима-

телей как-то снисходительно осклабились, и все они очень радушно пожали мне руку.

Прерванный на минуту разговор возобновился, но едва успел Менандр сообщить, что ладзарони лежат целый день на солнце и питаются макаронами, как стали разносить чай, и гости разделились на группы. Я горел нетерпением улучить минуту, чтобы пристать к одной из них и предложить на обсуждение волновавшие меня сомнения. Но это положительно не удавалось мне, потому что у каждой группы был свой вопрос, поглощавший все ее внимание.

— Так вы полагаете, что Чурилка?.. — шла речь в одной группе.

Центром этой группы был Неуважай-Корыто. Это был сухой и длинный человек, с длинными руками и длинным же носом. Мне показалось, что передо мною стоит громадных размеров дятел, который долбит носом в дерево и постепенно приходит в деревянный экстаз от звуков собственного долбления. «Да, этот человек, если примется снимать пенки, он сделает это… чисто!» — думалось мне, покуда я разглядывал его.

— Не только полагаю, но совершенно определительно утверждаю, — объяснял между тем Неуважай-Корыто, — что Чуриль, а не Чурилка,

был не кто иной, как швабский дворянин седьмого столетия. Я, батюшка, пол-Европы изъездил, покуда, наконец, в королевской мюнхенской библиотеке нашел рукопись, относящуюся к седьмому столетию, под названием: «Похождения знаменитого и доблестного швабского дворянина Чуриля»… «Ба! Да это наш Чурилка!» сейчас же блеснула у меня мысль… И поверите ли, я целую ночь после этого был в бреду!

— Понятное дело. Но Добрыня… Илья Муромец… ведь они *наши*?

Собеседник, произнося: «они *наши*?» — очевидно, страдал. Он и опасался, и надеялся; ему почему-то ужасно хотелось, чтобы *они* были *нашими*, и в то же время в душу уже заползали какие-то скверные сомнения. Но Неуважай-Корыто с суровою непреклонностью положил конец колебаниям, «ни в каком случае не достойным науки».

— Напротив того, — отдолбил он совершенно ясно, — я положительно утверждаю, что и Добрыня, и Илья Муромец — все это были не более как сподвижники датчанина Канута!

— Но Владимир Красное Солнышко?

— Он-то самый Канут и есть!

В группе раздался общий вздох. Совопросник

вытаращил на минуту глаза.

— Однако ж какой свет это проливает на нашу древность! — произнес он тихим, но все еще не успокоившимся голосом.

— Я говорю вам: камня на камне не останется! Я с болью в сердце это говорю, но что же делать — это так! Мне больно, потому что все эти Чурилки, Алеши Поповичи, Ильи Муромцы — все они с детства волновали мое воображение! Я жил ими… понимаете, жил! Но против науки я бессилен. И я с болью в сердце повторяю: да! ничего этого нет!

Собеседники стояли с раскрытыми ртами, смотря на обличителя Чурилки, как будто ждали, что вот-вот придет новый Моисей и извлечет из этого кремня огонь. Но тут Неуважай-Корыто с такою силой задолбил носом, что я понял, что мне нечего соваться с моими сомнениями, и поспешил ретироваться к другой группе.

В другой группе ораторствовал Болиголова, маленький юркенький человечек, который с трудом мог устоять на месте и судорожно подергивался всем своим корпусом. Голос у него был тоненький, детский.

— Ужели же, наконец, и «Чижик-пыжик, где ты был?»? — изумлялись окружающие пенкоснимательи.

— Подлог-с!

— Позвольте-с! Но каким же образом вы объясните стих «на Фонтанке воду пил»? Фонтанка — ведь это, наконец… Наконец, я вам должен сказать, что наш почтеннейший Иван Семенович живет на Фонтанке!

— И пьет оттуда воду! — сострил кто-то.

— Подлог, подлог и подлог-с! В мавританском подлиннике именно сказано: «на Гвадалквивире воду пил». Всю Европу, батюшка, изъездил, чтобы убедиться в этом!

— Это удивительно! Но как вам пришло на мысль усомниться в подлинности «Чижика»?

— Ну, уж это, батюшка, специальность моя такова!

— Однако какой странный свет это проливает на нашу народность! Все чужое! Даже «Чижика» мы не сами сочинили, а позаимствовали!

— Говорю вам: камня на камне не останется! С болью в сердце это говорю, но против указаний науки ничего не поделаешь!

И т. д. и т. д.

В третьей группе шел разговор таинственного свойства. Сообщались по секрету сведения о каких-то кознях, предпринимаемых против каких-то учреждений; слышались соболезнования,

жалобы, вздохи.

— Я сам сейчас оттуда, — полушепотом объяснял Нескладин, автор брошюры «Новые суда и легкомысленное отношение к ним публики».

— И что ж?

— Дело очень простое. Существуют два проекта: один об уничтожении, другой об упразднении. Теперь весь вопрос в том, который из этих проектов пройдет.

Все в немом негодовании оглянулись друг на друга. И вдруг кому-то пришло на мысль:

— Но тайный советник Козьма Прутков! Ужели он допустит до этого?

— Я именно сейчас от него!

— И говорили с ним?

— Да, и он мне сказал прямо: «Любезный друг! О том, чтобы устранить *оба* проекта, не может быть и речи»; но, вероятно, с божьею помощью мне удастся провести проект об упразднении, а «уничтожение» прокатить!

— Но ведь и это уже будет значительный успех!

— Конечно. — Но он прибавил к этому еще следующее: — Во всяком случае, мой друг, я тогда только могу ручаться за успех, если пресса наша будет вести себя с *особенною* сдержанностью. —

Слово «особенною» старик даже подчеркнул.

Известие это производит в группе общее впечатление.

— И я полагаю, — продолжает все тот же Нескладин, — что нам ничего более не остается, как последовать этому благоразумному совету!

Собеседники несколько минут мнутся, и в комнате слышится какое-то неясное жужжание. Как будто влетел комар и затянул свою неистово-назойливую проповедь о том о сем, а больше ни о чем. Наконец один из собеседников, более решительный, выступает вперед и говорит:

— Я, с своей стороны, полагаю, что нам следует молчать, молчать и молчать!

— Молчать! — восклицают хором прочие.

— Не следует забывать, господа, — вставляет свое слово вдруг появившийся Менандр, — что в нас воплощается либеральное начало в России! Следовательно, нам прежде всего надо поберечь самих себя, а потом позаботиться и о том, чтоб у нашего бедного, едва встающего на ноги общества не отняли и того, что у него уже есть!

— Молчать, молчать и молчать!

— Надобно, наконец, иметь настолько гражданского мужества, чтобы взглянуть действительности прямо в глаза, — продолжает Менандр. — На-

до понять, что ежели мы будем разбрасываться, как это, к сожалению, до сих пор было, то сам тайный советник Козьма Прутков окажется вне возможности поддержать нас.

— И тогда у нас отнимут и то, что мы в настоящее время имеем.

— И будут совершенно правы, потому что люди легкомысленные, не умеющие терпеть, ничего другого и не заслуживают. А между тем это будет потеря очень большая, потому что если соединить в один фокус все то, что мы имеем, то окажется, что нам дано очень и очень многое! Вот о чем не следует забывать, господа!

— Очень и очень многое! — восклицают хором все пенкосниматели и, как бы после принятого важного решения, вдруг все рассыпаются по комнате. У всех светлые лица, все с беспечною доверчивостью глядят в глаза будущему; некоторые бьют себя по ляжкам и повторяют: «Очень и очень многое!»

Я смотрел во все глаза и, конечно, старался стать на один уровень со всеми. И, может быть, это удалось бы мне (я очень хорошо помню, что и сам раз или два уж ударил себя по ляжке с восклицанием: «Очень и очень многое!»), но меня пугал Неуважай-Корыто. Этот загадочный че-

ловек, очевидно, олицетворял собою принцип радикализма в пенкоснимательстве. Объездить Европу для того, чтобы доказать швабское происхождение Чурилки, — согласитесь, что в этом есть что-то непреклонное! И если бы вместо Чурилки этому человеку поместить в голову какую-нибудь подлинную мысль, то из него мог бы выйти своего рода… Робеспьер! Уж он не отступит, он не отстанет до тех пор, пока не высосет из Чурилки всю кровь до последней капли!

Тем не менее я сделал попытку сблизиться с этим человеком. Заметив, что Неуважай-Корыто и Болиголова отделились от публики в угол, я направил в их сторону шаги свои. Я застал их именно в ту минуту, когда они взаимно слагали друг другу славословия.

— Однако задали вы, Иван Николаич, задачу московским буквоедам! — приветствовал Болиголова.

— Да и вы, Петр Сергеич, кажется, поусердствовали! — отвечал Неуважай-Корыто.

— Я думаю, что теперь, когда Чурилке нанесен такой решительный удар, не много останется от прежних трудов по части изучения российских древностей!

— Ну-с, я вам доложу, что и «Чижик»… ведь

это своего рода coup de massue...[102] Ведь до сих пор никто и не подозревал, что Испания была покорена при звуках песни «Чижик, чижик, где ты был?»!

Я счел этот момент удобным, чтоб вступить в разговор.

— Итак, — сказал я, — и Чурилка и Чижик погребены?

Оба посмотрели на меня такими веселыми глазами, какими смотрят на ученика, совершенно неожиданно обнаружившего понятливость.

— Погребены — это так, — продолжал я, — но, признаюсь, меня смущает одно: каким же образом мы вдруг остаемся без Чурилки и без Чижика? Ведь это же, наконец, пустота, которую необходимо заместить?

Неуважай-Корыто насупил брови.

— Ну-с, на этот счет наша наука никаких утешений преподать вам не может, — сказал он сухо.

— Позвольте-с; я не смею не верить показаниям науки. Я ничего не имею сказать против швабского происхождения Чурилки, но за всем тем сердце мое совершенно явственно подсказывает мне: не может быть, чтоб у нас не было

---

[102] Сноски: 102
Ошеломляющий удар (*фр.*)

своего Чурилки!

Болиголова и Неуважай-Корыто удивленно переглянулись между собою. Моя дерзость, очевидно, начинала пугать их.

— И все-таки я не могу вас утешить, — сказал последний и, как бы желая дать мне почувствовать, что аудиенция кончилась, запел:

Парис преле-е-стный,

Судья изве-е-стный!

Но сейчас же вспомнил, что оффенбаховская музыка не к лицу такой серьезной птице, как дятел, и затянул из «Каменного гостя»:

Ведь я не го!

Сударственный преступник!

Пропев это, он обдал меня надменно-ледяным взором и отошел.

Я очутился в самом неловком положении. Я только однажды в жизни был в подобном положении, и именно когда меня представляли одному сановнику, который *мог* (буде заблагорассудил бы) подать мне руку, но которому я *ни в каком случае не имел права* протягивать свою руку. Но я не знал этого правила — и протянул. И вдруг я почувствовал, что рука моя так и оста-

ется на весу, в тщетном ожидании взаимного пожатия. Ах как мне было тогда стыдно! За кого стыдно: за себя или за сановника, — не знаю, но, во всяком случае, чувство, которое я испытывал, было самого неприятного свойства.

Точно то же ощущал я теперь. Зачем я говорил с этим гордым, непреклонным пенкоснимателем? — думалось мне. За что он меня сразил? Что обидного или неприличного нашел он в том, что я высказал сомнения моего сердца по поводу Чурилки? Неужели «наука» так неприступна в своей непогрешимости, что не может взглянуть снисходительно даже на тревоги простецов?

Увы! Покуда я рассуждал таким образом, молва, что в среду пенкоснимателей затесался свистун, который позволил себе неуважительно отнестись к «науке», уже успела облететь все сборище. Как все люди, дышащие зараженным воздухом замкнутого кружка, пенкосниматели с удивительною зоркостью угадывали человека, который почему-либо был им несочувствен. И, раз усмотревши такового, немедленно уставляли против него свои рога. Я должен был убедиться, что не только Болиголова и Неуважай-Корыто недоумевают, каким образом я очутился в их обществе, но что и прочие пенкосниматели

перешептываются между собой и покачивают головами, взглядывая на меня. Тем не менее я решился исполнить свой долг до конца, и потому, желая сделать новую попытку к общению, подошел с этою целью к Нескладину.

— Если я не ошибаюсь, — сказал я, — вы изволили давеча выразить опасение, что у нас с часу на час могут отнять даже и то, что мы имеем?

— Выразился-с. А вы изволите сомневаться в этом?

— Нет, я не сомневаюсь. О, я далеко не сомневаюсь! Я готов написать не шесть, а шестьсот шесть столбцов передовых статей, в которых надеюсь главнейшим образом развивать мысль, что все на свете сем превратно, все на свете коловратно…

— Ну-с, в чем же затруднение?

— Но я не понимаю одного: почему вы предпочитаете проект упразднения проекту уничтожения?

— Д-д-да-с! Так вот в чем дело! А почему вы, смею вас спросить, утверждаете, что дважды два — четыре, а не пять?

На одно мгновение вопрос этот изумил меня, но Нескладин глядел на меня с такою ясною самоуверенностью, что мне даже на мысль

не пришло, что эта самоуверенность есть не что иное, как продукт известного рода выработки, которая дозволяет человеку барахтаться и городить вздор даже тогда, когда он чувствует себя окончательно уличенным и припертым к стене. Выдержавшие подобного рода дрессировку люди никогда не отвечают прямо и даже не увертываются от вопросов: они просто в свою очередь ошеломляют вас вопросами, не имеющими ничего общего с делом, о котором идет речь. Признаюсь, я в эту минуту испытывал именно подобное ошеломление.

— Извините, — бормотал я, — я не знал… Действительно, дважды два — это так… Я хотел только сказать, что сердце мое как-то отказывается верить, что упразднение…

— А так как я имею дело с фактами, а не с тревогами сердца, то и не могу ничего сказать вам в утешение!

Произнося эти слова, Нескладин совершенно бесцеремонно обратился к одному из единомышленников, взял его под руку и отошел прочь.

— Стало быть, это условлено: мы будем поддерживать упразднение? — слышался мне его удаляющийся голос.

Нет сомнения, я потерпел решительное фиаско.

Я дошел до того, что не понимал, где нахожусь и с кем имею дело. Что это за люди? — спрашивал я себя: просто ли глупцы, давшие друг другу слово ни под каким видом не сознаваться в этом? Или это переодетые принцы, которым правила этикета не позволяют ни улыбаться невовремя, ни поговорить по душе с человеком, не посвященным в тайны пенкоснимательской абракадабры? Или, наконец, это банда оффенбаховских разбойников, давшая клятву накидываться и скалить зубы на всех, кто к ней не принадлежит?

Вероятно, лицо мое выражало очень большое недоумение, потому что Менандр поспешил ко мне на выручку.

— А ведь я, брат, проврался! — сказал я ему уныло.

— А я еще предупреждал тебя! — укорял он меня. — Говорил я тебе, что расплываться не следует! Да забудь же ты хоть на несколько часов о «Маланье»!

— Но мог ли я думать, что у вас на этот счет так строго!

— Еще бы! Такое серьезное дело затеяли — да чтобы без дисциплины! Мы, брат, только и дела делаем, что друг за другом присматриваем! Впрочем, это еще может уладиться. Только, ради же

бога, душа моя, не расплывайся! Признай наконец авторитет «науки»!

И Менандр от полноты души засуетился.

— Господа, — сказал он, — вот мой приятель. Он провинциал и, следовательно, как человек дикий, не знает наших обычаев. Но это не мешает ему интересоваться некоторыми вопросами, и между прочими вопросом о распределении налогов. Он владелец деревни Проплеванной — так, кажется? — и потому, как член рязанско-тамбовско-саратовского клуба… то бишь земства… естественным образом желает стать на ту точку зрения, с которой всего удобнее взглянуть на этот вопрос. Поэтому я попросил бы Ивана Петровича Нескладина прочитать статью, которую он приготовил по этому предмету для нашей газеты. Господа, прошу присесть!

Кресла шумно задвигались, и когда все более или менее удобно расселись вокруг большого круглого стола, Нескладин прочитал:

«*Санкт-Петербург. 30-го мая.*

Что налоги, равномерно распределенные, суть те, которые, по преимуществу, заслуживают наименования равномерно распределенных, — в этом, при настоящем положении экономической науки, никто не сомневается, кроме разве

каких-нибудь бесшабашных свистунов, которые даже в этой простой и для всех вразумительной истине готовы заподозрить экономическое празднословие. Но мы и не обращаемся к свистунам; мы с гомерическим хохотом встречаем нахальные выходки этих отпетых людей, а ежели не клеймим их презрением, то только потому, что слишком хорошо знаем литературные приличия. Только те могут сомневаться, что равномерность равномерна, кто в состоянии усомниться даже в том, что белое бело и черное черно. С такими людьми не стоит тратить слов. Прикрываясь и даже гордясь незнанием литературных приличий (которые в их глазах, выражаясь их же литературным слогом, не стоят выеденного яйца), они способны предать дерзкому, бессодержательному глумлению все, что представляет собой несомненную победу цивилизации над варварством…»

Чтеца прервали криками: *Превосходно! Очень хорошо! Браво!*

Нескладин продолжил:

«Итак, говорим мы, аксиома, утверждающая, что равномерность равномерна, находится вне спора, и не о ней намерены мы повести речь с почтенною газетою «Зеркало пенкоснимательного

ности», которая делает нам честь считать нас в числе ее противников почти по всем вопросам нашей общественной жизни.

Мы намерены говорить о следующем: «Зеркало пенкоснимательности» утверждает, что лучшие крайние сроки для взноса налогов суть сроки, определенные ныне действующими по сему предмету узаконениями, то есть: пятнадцатого января и пятнадцатого марта; мы же, напротив того, утверждали, что сроки эти надлежит на две недели отдалить, то есть назначить их первого февраля и первого апреля. Вот в чем спор. Конечно, «Зеркало пенкоснимательности», быть может, имеет очень полновесные причины называть себя более компетентным судьей в этом деле. Быть может, оно черпает свои сведения из таких источников, о которых мы даже понятия не имеем. Но все это тайны, углубляться в которые нам не позволяют литературные приличия…»

— Позвольте, — не вытерпел я, — но ведь вы сами черпаете сведения от тайного советника Козьмы Пруткова!

— Ах, душа моя, как ты, однако ж, горяч! Ведь это, наконец, невозможно! — укорил меня Менандр. — Тайный советник Прутков! Да знаешь ли ты, что это один из либеральнейших

людей нашего времени! Что, быть может, он сам на днях получит разом три предостережения!

Я должен был поникнуть головой; Нескладин продолжал:

— «Все это тайны, углубляться в которые нам не позволяют литературные приличия. Но мы находим в себе настолько гражданского мужества, чтобы сказать нашему противнику: «Ваше превосходительство, вы введены в заблуждение!» (*Общий смех, в котором участвую и я.*) И мы делаем это с большим удовольствием, что искренно уважаем этого бодрого и смелого противника, который даже при слове «субсидия» не смущается духом. Мы даже убеждены, что наши бесшабашные свистуны поставят нам это в укор, что они воспользуются нашею почтительностью, чтоб поднять нас на смех подобно тому, как уже и поступили они на днях с одним из наших уважаемых сотрудников, столь доблестно отличившимся в защите четырех негодяев, сознавшихся в умерщвлении одного почтенного

земледельца[103]. Но это не помешает нам следовать по избранному раз пути, не смущаясь ни наглостью смеха, ни нахальством инсинуаций…

Итак (да простят читатели некоторые повторения в нашей статье: они необходимы), «Зеркало пенкоснимательности» утверждает, что лучшие сроки для платежа налогов суть те, которые издавна установлены законом. В подкрепление этой мысли почтенная газета приводит следующее: привычку платить и сравнительное благосостояние, которое будто бы постигает плательщика именно в сроки пятнадцатого января и пятнадцатого марта. Разберем эти доводы с тем вниманием, которого они заслуживают. Но напомним при этом читателю, что нас постигло уже два предостережения, тогда как другие журналы, быть может менее благонамеренные по направлению (литературные приличия не позволяют

---

[103] Сноски: 103

В следующем затем нумере «Старейшей российской пенкоснимательницы» было напечатано: «В городе разнеслись слухи, что автор передовой статьи, появившейся вчера в нашей газете, есть г. Нескладин, то есть сам знаменитый защитник четырех знаменитых негодяев. Считаем долгом заявить здесь, что это наглая и гнусная клевета. Мы не имеем надобности отстаивать г. Нескладина против набегов наших литературных башибузуков, но говорим откровенно: мы перервем горло всякому (если позволят наши зубы), кто осмелится быть не одного с нами мнения о наших сотрудниках». — *Примеч. авт.*

нам назвать их), еще не получили ни одного. (*Браво! Браво! Ядовито и в то же время вполне согласно с литературными приличиями!*)

Итак — приступим к первому доводу.

Нам говорят: обыватели привыкли платить именно в январе и в марте, — и мы охотно соглашаемся, что в этом возражении есть известная доза справедливости. Но что же такое, однако ж, привычка? С одной стороны — это начало всепроникающее и до такой степени подчиняющее себе *всего* человека, что субъект, находящийся под игом привычки, готов не только платить налоги, но и совершать преступления. «Человек есть животное привычки», — сказал великий Бюффон, и сказал святую истину. С этой стороны, конечно, полезно и даже необходимо принимать во внимание народные обычаи и даже суеверия, и не мы будем утверждать что-нибудь противное этой святой истине. Но, с другой стороны, если взглянуть на дело пристальнее, то окажется, что привычка платить налоги, по самому свойству своему, никогда не укореняется настолько, чтобы нельзя было отстать от нее. Положим, что здесь идет речь не о том, чтобы навсегда отстать от привычки платить (только бесшабашные наши свистуны могут остановиться на подобной

дикой мысли), но и за всем тем, положа руку на сердце, мы смеем утверждать: отдалите по мере возможности сроки платежа податей — и вы увидите, как расцветут сердца земледельцев!

Но нам говорят: привычка — вторая натура. Назначьте для плательщика другие сроки, он все-таки понесет в казначейство свои сбережения в январе и в марте. На это мы можем ответить одно: тем лучше! Как не догадываются наши почтенные противники, что чем раньше несут плательщики в казначейство свои избытки, тем лучше для них и для казны. Пускай несут — милости просим! Это хорошо для плательщиков, потому что через это они избавляются от опасений военной экзекуции; это хорошо и для казны, потому что издержки экзекуции хотя и падают, главным образом, на обывателей, но косвенно задевают и государственное казначейство. Но ведь истинный государственный взгляд на вещи должен иметь в виду не только тех бодрых и смелых людей, которые привыкли серьезно смотреть на свои обязанности к государственному казначейству, но и тех, которые (не столько вследствие преступности воли, сколько под влиянием слабохарактерности) утратили этот здоровый инстинкт. И так как последние,

несмотря на принимаемые против них меры, все-таки составляют довольно значительное меньшинство, то мы не понимаем, зачем идти навстречу экзекуциям, когда еще остается неиспытанным одно совершенно безвредное и ни для кого не обидное средство, а именно отдаление на две недели последних сроков для взноса налогов? Две недели, понимаете ли, только две недели! И ни одной минуты больше! (*Совершенно справедливо! Прекрасно! Браво!*)

Приступим теперь ко второму доводу. Во-первых, нам указывают на какие-то климатические условия, но это доказательство до того уже несостоятельно, что нет даже надобности и распространяться о нем. В самом деле, что значит выражение: «платить налоги»? Для тех, до кого оно относится, это выражение означает: «перенести деньги из того помещения, в котором они дотоле находились, в другое, более для них подходящее». Спрашиваем по совести: могут ли и в какой мере действовать тут климатические условия? Во-вторых — и это возражение очень серьезное, — нам говорят, что благоденствие постигает плательщика преимущественно в январе и в марте. Но на чем основано такое внезапное заключение — поистине мы не понимаем этого.

По нашему мнению, если плательщик постигнут благоденствием в январе, то нет резона не быть ему постигнутым и в декабре, и в июле, и во все прочие месяцы. Но нам возражают: «Вы сами знаете, что в июле плательщик благоденствием не постигнут». Тогда мы спрашиваем: «Отчего? Что же это за благоденствие, которое постигает плательщика только в ту минуту, когда ему надлежит нести в казначейство деньги?»

Вот тут-то мы и настигаем вас, наши уважаемые противники. Мы недаром предлагаем вам вопрос: отчего? — потому что разрешение его лежит на вашей ответственности. Вы находитесь в слишком исключительном положении относительно известных сфер, чтобы уклониться от солидарности с ними, поэтому мы имеем полное право требовать именно от вас ответа на наш вопрос, или, лучше сказать, не ответа, а оправдания. (*Браво! Отлично!*) Мы требуем этого во имя великих пенкоснимательных начал, которых мы служим представителями, и не перестанем требовать, хотя бы нам угрожали за это бесчисленными предостережениями! Мы примем эту кару закона без ропота, но и без удовольствия, и позволим себе только спросить, почему предостережения постигают именно нас,

а не «Истинного пенкоснимателя», например. Ни для кого не тайна, что эта газета, издаваемая без цензуры, тем не менее пользуется услугами таковой; ни для кого не тайна, что она всячески избегает вопросов, волнующих весь пенкоснимательный мир; ни для кого, наконец, не тайна, что лучшие статьи по части пенкоснимательства (как, например, замечательнейшая статья «О необходимости содержания козла при конюшнях») были помещены не в ней, а у нас или в дружеских нам литературных органах! Что же за причина того предпочтения, которым пользуется эта уважаемая газета? (*Прекрасно! Отлично! Браво!*)

Но мы отвлеклись от главного предмета нашей статьи и должны сознаться, что две причины побудили нас к такому уклонению. Прежде всего — принципы справедливости. По-видимому, нам нет дела до того, кто и сколько получил предостережений, а равно и до того, кто и каким образом снимает пенки. Но это только по-видимому. Нам было бы несравненно приятнее быть самим на месте счастливцев, снимающих пенки в веселии сердца своего, нежели снимать таковые, посыпав главу пеплом, как мы это делаем. Во-вторых, к величайшему нашему удивлению,

нас упрекают в каком-то простодушии и даже утверждают, что за простодушие-то мы и подвергаемся каре закона. Но этот упрек во всех отношениях несправедлив. Мы не только не простодушны, но, напротив того, обделываем свои дела, как дай бог всякому. (*Отлично! Отлично!*) Мы и журналы издаем, и на суде защищаем, а быть может, участвуем и в акционерных компаниях. На нашей стороне все образованное русское чиновничество. И кто же знает? Быть может, недалеко то время, когда мы будем снимать пенки в размерах не только обширных, но и неожиданных… И ужели, наконец, правительство настолько непроницательно, чтобы стеснять нас в проявлении такого совершенно неопасного для него качества, как простодушие? Вот в том-то и дело, милостивые государи, что мы далеко не так просты, как это может показаться, судя по некоторым из наших передовых статей!

Но мы отвлеклись опять, и потому постараемся сдержать себя. Не станем бродить с пером в руках по газетному листу, как отравленные мухи, но выскажем кратко наши надежды и упования. По нашему мнению, от которого мы никогда ни на одну йоту не отступим, самые лучшие сроки для платежа налогов — это первое февраля

и первое апреля. Эти же сроки наиболее подходящие и для экзекуций. И мы докажем это таким множеством фактов, которые заставят замолчать наших слишком словоохотливых противников.

Факты эти мы надеемся изложить в целом ряде статей, которые и будут постепенно появляться в нашей газете».

Нескладин закончил и необыкновенно чистыми, ясными глазами посмотрел на всех. Пенкосниматели были в восторге и поздравляли счастливого передовика, предвкушая заранее тот ряд статей, который он обещал им. Но я, признаюсь, был несколько смущен. Я испытывал то самое ощущение, которое испытывает человек, задумавший высморкаться, но которому вдруг помешали выполнить это предприятие. Я, так сказать, уж распустил уши: я ожидал, что вот-вот услышу ссылки на «Статистический временник» Министерства внутренних дел, на примеры Англии, Франции, Италии, Пруссии, Соединенных Штатов; я был убежден, что будет навеки нерушимо доказано, что в апреле и феврале происходят самые выгодные для плательщиков сделки, что никогда базары не бывают так людны и что, наконец, только нахалы, не знающие литературных приличий, могут утверждать, и т. д., — и вдруг

пауза, сопровождаемая лишь угрозой целого ряда статей! Каково жить в ожидании выполнения этой угрозы!

Казалось, и Менандр отчасти разделял мое чувство. По крайней мере, физиономия его в эту минуту не выражала особенной восторженности.

— Статья превосходна, — сказал он, — но жаль, что вы прервали вашу речь на самом интересном месте!

— А я, напротив того, сделал это даже с умыслом! — отвечал Нескладин, улыбаясь язвительно.

— Именно, именно! — подхватили прочие пенкосниматели.

— Статья, которая обещает другую статью, — объяснил Нескладин, — из которой, в свою очередь, должна выйти третья статья, и так далее, — всегда производит особенное впечатление на тех, до кого она касается.

— Совершенно справедливо!

— Она держит противников в тревоге, а для публики составляет своего рода загадку. Ведь мне ничего бы не стоило разом написать столбцов десять или двенадцать, но я именно хотел сначала несколько заинтересовать публику, а потом уж

и зарядить дней на двадцать!

— Да, очень может быть, что вы и правы! — как-то уныло отозвался Менандр.

— Вторая статья у меня уж почти готова, то есть готовы рамки. «В прошедший раз мы обещали нашим читателям», «таким образом, из сравнения статистических данных оказывается», «об этом интересном предмете мы побеседуем с читателем в следующий раз» — все это уж сложилось в моей голове. Затем остается только наполнить эти рамки — и дело с концом.

После этого вечер, видимо, начинал приходить к концу, так что некоторые пенкосниматели уже дремали. Я, впрочем, понимал эту дремоту и даже сознавал, что, влачи я свое существование среди подобных статей, кто знает — быть может, и я давно бы заснул непробудным сном. Ни водки, ни закуски — ничего, все равно как в пустыне. Огорчение, которое ощутил я по этому случаю, должно быть, сильно отразилось на моем лице, потому что Менандр отвел меня в сторону и шепнул:

— Пусть уйдут! Мы с тобой выпьем и закусим.

И действительно, едва скрылся в переднюю последний гость, как Менандр повел меня в столовую, где была накрыта роскошная закуска,

украшенная несколькими бутылками вина.

— Помянем, брат, доброе старое время! — воскликнул Менандр, наливая рюмку водки. — Хорошо тогда было!

— А теперь разве…

— Да как тебе сказать! Уважаю я этих господ, очень уважаю, а коли правду сказать, прескучно с ними! Не едят, не пьют, все передовые статьи пишут!

— А мы с тобой и до сих пор помним старую пословицу: «Потехе время — делу час»!.. Так, что ли, душа моя?

— Да, голубчик, этак-то лучше. Право, иногда зло меня берет! Брошу, думаю, всех этих анафем! Хоть в лес, что ли, от них уйти!

— Ну, брат, это такие молодцы, что и в лесу сыщут!

— Отыщут, дружище! отыщут! — Менандр как-то безнадежно вздохнул. — Кстати: как тебе понравилась статья Нескладина?

— Да как бы тебе сказать? Странно как-то. В заголовке, во-первых, «Санкт-Петербург», во-вторых — «тридцатого мая», — зачем это? Ведь, коли говорить правду, статья нимало не проиграла бы, если б в заголовке поставить: «*Остров Голодай*, тридцать первого *мартобря*».

— Именно, брат, *мартобря*. Жилы они из меня этим мартобрем вытянули. Как ни возьмешь в руки газету — так от нее мартобрем и разит!

— А я ведь вчера подумал, что ты один из искреннейших пенкоснимателей! А ты, брат, как видно, того…

— Ах, жизнь они мою отравили! Самого себя я проклял с тех пор, как они меня сетями своими опутали… Ты еще не знаешь, какой ужасный человек этот Неуважай-Корыто!

Эта исповедь поразила меня, но сомневаться в искренности ее было невозможно.

Менандр действительно страдал: на глазах у него были слезы, — а когда произнес фамилию Неуважай-Корыто, то даже затрясся весь.

— Ну, скажи на милость, — продолжал Менандр с возрастающею горечью, — разве Белинский, Грановский… ну, Добролюбов, Писарев, что ли… разве писали они что-нибудь подобное той слюноточивой канители, которая в настоящее время носит название передовых статей?

— Знаешь, оно не то чтобы что… а действительно глуповато как-то!

— Глуповато! Нет, ты заметил ли, что этот Нескладин нагородил? Это, брат, уж не глуповато, а глуповатище! Выпьем, брат, вот что!

Выпили.

— Ты не знаешь, как они меня истязают! Что они меня про себя писать и печатать заставляют! Ну вот хоть бы самая статья «О необходимости содержания козла при конюшнях» — ну что в ней публицистического? А ведь я должен был объявить, что автор ее, все тот же Нескладин, один из самых замечательных публицистов нашего времени! Попался я, брат, — вот что!

Выпили вновь.

— Ты не знаешь, — продолжал Менандр, — есть у меня вещица. Я написал ее давно, когда был еще в университете. Она коротенькая. Я хотел тогда поместить ее в «Московском наблюдателе», но Белинский сказал, что это бред куриной души… Обидел он меня в ту пору… Хочешь, я прочту ее тебе?

— Сделай милость, голубчик!

Менандр вскочил и устремился в кабинет.

— Вот она, — сказал он, возвращаясь ко мне с листочком почтовой бумаги. — И называется «История маленького погибшего дитяти». Одну минуту внимания — и ты узнаешь исповедь моей души.

Вслед за тем он всхлипывающим от волнения голосом прочитал:

ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОГО ПОГИБШЕГО ДИТЯТИ

Новелла

«Жило на свете маленькое дитя. И оно задолжало. Оно любило леденцы, грецкие орехи и пастилу в палочках. И когда продавец сластей приступил к нему с требованием уплаты, дитя, опасаясь тюрьмы, обратилось к могущественным людям, указывая на свое рубище и на свои способности. И что оно без пастилы жить не может. Тогда могущественные люди сказали ему: «Хорошо! Мы поможем тебе! Но ты должно поступить в шайку пенкоснимателей и отнимать жизнь у всякого, кто явится противником пенкоснимательству!» И оно поступило в шайку пенкоснимателей и поклялось отнимать жизнь, но таковой до сих пор ни у кого отнять не могло. Такова история маленького погибшего дитяти».

Конец

— Теперь ты меня понял, надеюсь? Вот еще когда я провидел это гнусное пенкоснимательство! — воскликнул Менандр, грузно приникая головой к столу.

Я сжал его руку, и так как горе его было неподдельно, то постарался утешить его.

— Послушай, друг мой, — сказал я, — обстоятельства привели тебя в лагерь пенкоснимателей — это очень прискорбно, но делать нечего, от судьбы, видно, не уйдешь. Но зачем ты непременно хочешь быть разбойником? Снимал бы себе да снимал пенки в тиши уединения — никто бы и не подумал препятствовать тебе! Но ты хочешь во что бы то ни стало отнимать жизнь! Воля твоя, а это несправедливо.

— Кто, я-то хочу отнимать жизнь? Господи, да кабы не клятва моя! Ты не поверишь, как они меня мучают! На днях — тут у нас обозреватель один есть — принес он мне свое обозрение... Прочитал я его — ну точно в отхожем месте часа два просидел! Гроша у него за душой нет, а он так и лезет, так и скачет! «Помилуйте, — говорю, — зачем, по какому случаю?» Недели две я его уговаривал, так нет же, он все свое: «Нет, — говорит, — вы клятву дали!» Так и заставил меня напечатать!

— Странно мне во всем этом одно: если вы, как ты уверяешь, выступаете прямо с намерением отнимать жизнь у всякого, кто не занимается пенкоснимательством, то отчего же и у вас не отнимут жизни? Ведь это, кажется, очень нетрудно!

— Нет, брат, теперь это очень и очень даже трудно. Если бы прихлопнули нас в то время, когда мы только что начинали разводить нашу канитель, ну, тогда точно это было бы нетрудно. Тогда и публике оно было бы понятнее, да и у нас кое-какая совесть еще была. А теперь, когда мы и сами вошли во вкус, да и публику отуманило наше пенкоснимательство, ничего ты с нами не поделаешь! Как ты ни прижимай меня к стене — во-первых, с меня нечего взять: гол, братец, я как сокóл! а во-вторых, я все-таки до последнего издыхания буду барахтаться и высовывать тебе язык! Я, брат, отлично эту штуку понял, что, покуда я барахтаюсь, какие бы пошлости ни говорил, публика все-таки скажет: «Эге! Да этот человек барахтается — стало быть, что-нибудь да есть у него за душой!» Впрочем, что толковать об этом! Выпьем!

Менандр несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, потер себе лоб и сказал:

— Да, нет мне от них спасения! Эй! Кто тут! Отнести статью господина Нескладина в типографию! Теперь газета наша обеспечена. Он по крайней мере нумеров пятнадцать будет закатывать по семи столбцов!

Менандр посмотрел на меня и разразился хо-

хотом.

— А я еще тебя хотел завербовать в нашу газету! — воскликнул он. — Нет, уж лучше ты не ходи… не ходи ты ко мне, ради Христа! Не раздражай меня! Белинский! Грановский! Добролюбов… и вдруг Неуважай-Корыто! Черт знает что такое!

Менандр вытянул руку во всю величину и повторил:

— Неуважай-Корыто!

Я в свою очередь взглянул на него: он был пьян.

Между тем розоперстая аврора уже смотрела во все окна и напоминала о благодеяниях сна.

— Прощай, брат!.. Пожалуйста, прошу тебя, ты ко мне не приходи! Покойной тебе ночи, а я пойду екатеринославскую корреспонденцию разбирать. Там, брат, нынче сурки все поля изрыли — вон оно куда пошло!

Мы вошли в переднюю, и о ужас! — застали там самого Неуважай-Корыто, который спал на лавке или притворялся спящим.

— Он нас подслушивал! — шепнул мне Менандр.

Неуважай-Корыто между тем протирал глаза и бормотал:

— А я калоши искал, да, кажется, и заснул. Боже! Четвертый час! А мне еще нужно дописать статью «О типе древней русской солоницы»! Менандр Семеныч, а когда же вы напечатаете мою статью «К вопросу о том, макали ли русские цари в соль пальцами или доставали оную посредством ножей»?

Но Менандр смотрел на него осовелыми глазами и мычал что-то совсем несообразное…

— Закусывали? — язвительно заметил Неуважай-Корыто и стал отыскивать калоши.

В углу действительно стояли огромные зимние боты, в которые Неуважай-Корыто и обул свои ноги, к величайшему изумлению «веселого мая», заглядывавшего в окна.

Мы очутились на улице вдвоем с Неуважай-Корыто. Воздух был влажен и еще более неподвижен, нежели с вечера. Нева казалась окончательно погруженною в сон; городской шум стих, и лишь внезапный и быстро улетучивавшийся стук какого-нибудь запоздавшего экипажа напоминал, что город не совсем вымер. Солнце едва показывалось из-за домовых крыш и разрисовывало причудливыми тенями лицо Неуважай-Корыто. Верхняя половина этого лица была ярко освещена, тогда как нижняя часть

утопала в тени.

Несколько минут мы шли молча.

— Нет, вы решительно не понимаете меня! — вдруг воскликнул Неуважай-Корыто, круто останавливаясь. И, видя, что лицо мое выражает недоумение, продолжил: — Не зная пенкоснимательства, вы, конечно, не можете постичь те наслаждения, которые сопряжены с этим занятием!

— Да, я почти незнаком с этим делом…

— Вот почему оно и кажется вам легкомысленным. Вы не знаете восторгов, которые охватывают все существо человека, когда он вдруг, совершенно неожиданно для самого себя, открывает, что Чурилка совсем не Чурилка.

Он снял с себя картуз: волоса на голове у него растрепались; глаза горели диким блеском.

— Вы думаете, что тут дело идет только о Чурилке? — продолжал он. — Нет, тут захватываются авторитеты… эти презренные, ненавистные кумиры, которым мы, к стыду нашему, до сих пор еще поклоняемся. Нет, я не просто пенкоснимательство… я радикал пенкоснимательства! Погодин! Карамзин! Бодянский! Забелин! Вы все, которые с помощью Чурилок нашли себе доступ в храм истории, — я проклинаю вас! А меня даже

мальчишки на улицах дразнят, что я занимаюсь Чурилками! И никто не хочет понять, что Чурилка — только предлог, который позволяет мне удовлетворить моей страсти разрушения! Погодин! Проклинаю! Проклинаю! Проклинаю!

Последнее заклинание он выкрикнул так громко, что дремавший вблизи городовой проснулся и сделал под козырек.

— Знаете ли вы, — продолжал он, — что я боготворю Оффенбаха! Оффенбах — да ведь это само отрицание! А между тем я вынужден защищать Даргомыжского и Кюи — не горько ли это?

— Позвольте! Но ежели вы нашли в себе достаточно силы, чтобы отставить Чурилку, то почему бы вам не поступить точно таким же образом и относительно Кюи?

— Не могу, тут есть одно недоразумение!

Неуважай-Корыто повертелся несколько секунд на месте, как бы желая нечто объяснить, потом поспешно надел картуз на голову, махнул рукой и стал быстро удаляться от меня. Через минуту, однако ж, он остановился.

— Но эта минута настанет! — крикнул он мне. — Я уничтожу их! Я утоплю в ложке воды и Даргомыжского, и Цезаря Кюи! Я сниму с них маску! Сниму!

VII

Некомпетентность пенкоснимателей в вопросах жизни не подлежала сомнению. Ясно, что это люди унылые, безнадежно ограниченные и притом злые и упорные. Они способны бесконечно ходить вокруг живого дела, ни разу не взглянув ему в лицо. В литературе, сколько-нибудь одаренной жизнью и сознающей свое воспитательное значение, существование подобных деятелей было бы немыслимо; в литературе, находящейся в состоянии умертвия, они имеют возможность не только играть роль, но даже импонировать и детские пеленки, детский разрозненный лепет «ба-ля-ма-а» выдавать за ответы на запросы жизни.

Среди этой груды мертвых тел Неуважай-Корыто — единственная личность, к которой можно чувствовать симпатию. По крайней мере, это человек убежденный и чего-нибудь достигающий. Он, не переставая долбить в одну точку, рано или поздно непременно что-нибудь выдолбит. Его специальность — царство мертвых. В этом царстве, сражаясь с Чурилками и исследуя вопрос

о том, макали ли русские цари в соль пальцами, он может совершить тьму подвигов, не особенно славных и полезных, но, в применении к царству теней, весьма приличных. Но зачем понадобилось его участие в деле, имеющем претензию на жизнь? Или Менандру во что бы то ни стало необходимо было, чтоб в этом сонмище мертвых тел, притворяющихся живыми, было хоть одно подлинно мертвое тело?

Я уверен, что Неуважай-Корыто глубоко презирает и Менандра, и Нескладина, и всех остальных притворщиков. Притворство не в его характере. Зачем притворяться живыми, когда мы мертвы и когда нет положения более почтенного, чем положение мертвого человека? — так убеждает он своих сопенкоснимателей. И ежели он, за всем тем, якшается с ними, то потому только, что, как ни изловчаются они казаться живыми, все-таки не могут не быть мертвыми.

Разочаровавшись в Менандре, я решился не обращаться более к литературе. К чему? — литература умерла или убита; она отказалась от поисков в области мысли и всецело обратилась к пенкоснимательству. Пенкоснимательство не какое-нибудь частное явление; это болезнь данной минуты. Это общее понижение мысли-

тельного уровня до той неслыханной степени, которая сама себе отыскала название пенкоснимательства. Очевидно, что литературная мысль утратила ясность и сделалась неспособною не только давать практические решения по вопросам жизни, но даже определять характер и значение последних. Литература уныло бредет по заглохшей колее и бессвязно лепечет о том, что первое попадется под руку. Творчество заменено словосочинением; потребность страстной руководящей мысли заменена хладным пережевыванием азбучных истин. Каким горьким процессом дошла литература до современного несносного пенкоснимательного бормотания? Было ли тут насильство или же измельчание произошло вследствие непростительного самопроизвольного неряшества?

Что внешний гнет играл здесь немалую роль — в этом не может быть ни малейшего сомнения. Но, признаюсь, в моих глазах едва ли не важнее вопрос: сопровождалось ли это вынужденное измельчание какой-нибудь попыткой ускользнуть от него? Была ли попытка оградить литературную самостоятельность от случайностей или по малой мере обеспечить писателя на случай вынужденного бездействия? Вот на эти-то

вопросы я и не берусь отвечать. Я могу только догадываться, что ежели литература, даже по вопросам самосохранения, не способна прийти к единомыслию, а способна только предаваться взаимным заушениям по поводу выеденного яйца, то ее вынужденное измельчание равняется измельчанию самопроизвольному.

Мы со всех сторон слышим жалобы на ненадежность литературной профессии, и между тем ни один из ожиревших каплунов, занимающихся антрепренерством пенкоснимательства, пальца о палец не ударит, чтоб прийти на помощь или по малой мере возбудить вопрос об устранении этой ненадежности. Литературное дело идет заведенным издревле порядком к наибыстрейшему наполнению антрепренерских карманов, а писатель-труженик, писатель, полагающий свою жизнь в литературное дело, рискует, оставаясь при убеждении, что печать свободна, в одно прекрасное утро очутиться на мостовой…

Но как бы там ни было, а в результате оказывается какое-то безнадежное утомление. Писателю не хочется писать, читателю — противно читать. Взял бы бросил все и ушел — только куда бы ушел? Необходимость что-нибудь высказать является результатом не внутренней подстрека-

ющей потребности духа, а известным образом сложившихся внешних обстоятельств. Нужно к известному сроку дать известное количество печатного материала — в этом одном вся задача. Это бремя, не имеющее в себе ничего привлекательного, а в большинстве случаев даже небезопасное. Понятно, что выходит бессвязный детский лепет с тою разницею, что последний естествен и свободен, тогда как так называемые капитальные произведения литературы имеют характер жалкой вымученности. Понятно также, что и читатель пропускает мимо все эти так называемые капитальные произведения русской журналистики и обрушивается на мелкие известия и стенографические отчеты. Тут по крайней мере он имеет дело с фактом, не отравленным пенкоснимательными рассуждениями о том, что все на свете сем превратно, все в сем свете коловратно.

Но для пенкоснимателей это время все-таки самое льготное.

Повторяю: в литературе, сколько-нибудь одаренной жизнью, они не могли бы существовать совсем, тогда как теперь они имеют возможность дать полный ход невнятному бормотанию, которым преисполнены сердца их. Наверное, никто

их не прочитает, а следовательно, никто и не обеспокоит вопросом: что сей сон значит? Стало быть, *для них* выгода очевидная.

Прежде всего положение пенкоснимателей относительно так называемых карательных мер самое благонадежное, и ежели они за всем тем жалуются, что им дано мало свободы, то это происходит отчасти вследствие дурной привычки клянчить, а отчасти вследствие того, что они все-таки забывают, что при большей свободе *они совсем не могли бы существовать*. В самом деле, что такое «пенкосниматели»? Это недоконченный, лишенный самостоятельной жизни организм, который может водиться только в запертом наглухо и никогда не проветриваемом помещении. Откройте окна и двери, пустите струю свежего воздуха — и паразиты мгновенно исчезнут. Ужели же пенкосниматели навеки осуждены не понимать, что ежели современное их существование не вполне совершенно, то все-таки оно лучше, нежели то несуществование, на которое они были бы обречены при более благоприятных для печатного слова условиях?

Что бы ни говорили пенкосниматели, никто не поверит, чтобы относительно свободы тянуть канитель когда-нибудь и где бы то ни было

возможны были препятствия. Если же таковые, к удивлению, и встречаются, то это не больше как плод минутного недоразумения, рассеять которое не составляет никакого труда. И пенкосниматели, и их случайные каратели стоят так близко друг к другу, что серьезной вражды между ними невозможно предположить. Иногда они не понимают друг друга: это, конечно, дело возможное, но причина этого явления заключается не в чем-либо существенном, а просто в том озорстве, которому, по временам и притом всегда без надобности, предаются пенкосниматели. Им хочется казаться самостоятельными, не быв оными, и вот они начинают критиковать, придираться и дразнить. Так, например, если действительность в известных случаях гласит: за такое-то деяние — семь лет каторги, то пенкосниматель непременно сочтет за долг доказывать, что было бы и справедливее, и целесообразнее уменьшить этот срок до шести лет одиннадцати месяцев двадцати девяти дней двадцати трех часов пятидесяти пяти минут. Но мало того, что он будет утверждать это, он станет упрекать действительность в бесчеловечии, начнет дразниться своим открытием, будет без конца приставать с ним и оттачивать об него свое

гражданское мужество. И действительно в конце концов, по недоразумению, так раздразнит, что сейчас ему — в лоб камнем. Ясно, однако ж, что этот камень повредит ему лоб совсем не за сбавку пяти минут каторги, а за то: не дразнись, не проедайся, не приставай!

Следовательно, нужно только перестать дразнить — и дело будет в шляпе. Не пенкоснимательство пугает, а претит лишь случайный вкус того или другого вида его. Один вид на вкус сладковат, другой кисловат, третий горьковат, но и тот, и другой, и третий все-таки представляют собой видоизменения одного и того же пенкоснимательства — и ничего больше.

Вторая выгода, которою пользуются пенкосниматели, заключается в том, что их ни под каким видом ни уследить, ни уличить невозможно. Нет у них ничего, а потому и ухватить их не за что.

Одна из характеристических черт пенкоснимательства — это враждебное отношение к так называемым утопиям. Не то чтобы пенкосниматели прямо враждовали, а так, галдят. Всякий пенкосниматель есть человек не только ограниченный, но и совершенно лишенный воображения; человек, который самой природой осужден на хладное пережевывание перво-

начальных, так сказать, обнаженных истин. Наделите самого ограниченного человека некоторым количеством фантазии, и он непременно устроит себе уголок, в котором будет лелеять какую-нибудь заветную мечту. Мечты эти будут, конечно, не важные: он будет мечтать или о возможности выиграть двести тысяч, или о том, что хорошо было бы завоевать Византию, или о том, наконец, в Москве или в Киеве надлежит быть сердцу России. Но, во всяком случае, у него будет нечто свое, заветное, к чему можно отнестись критически, чем можно разберединть его умственные силы. Пенкосниматель не только свободен от всех мечтаний, но даже горд этой свободой. Он не понимает, что утопия точно так же служит цивилизации, как и самое конкретное научное открытие. Он уткнулся в забор и ни о чем другом, кроме забора, не хочет знать. Не хочет знать даже, существуют ли на свете иные заборы и в каком отношении находятся они к забору, им созерцаемому. И всех, кто напоминает ему об этих иных заборах, он называет утопистами, оговариваясь при этом, что только литературные приличия не дозволяют ему применить здесь название жуликов. «Ковыряй тут, а не в ином месте, ибо только тут обретешь искомый на-

воз!» — вещает он глубокомысленно и забрызжет с ног до головы всякого, кто позволит себе не последовать его вещаниям.

Таким образом, с точки зрения фантазии пенкосниматель неуязвим. Нет у него ее, а следовательно, и доказывать ему необходимость этого элемента в литературе и жизни — значит только возбуждать в нем смех, в котором простодушие до такой степени перемешано с нахальством, что трудно отличить, на которой стороне перевес.

Бог с ними, однако ж, с утопиями, если уж этому выражению суждено наводить страх на всех, кому нужны страшные слова, чтобы замаскировать ими духовную нищету. Но ведь и помимо утопий есть почва, на которой можно критически отнестись к действительности, а именно та почва, на которой стоит сама действительность. Ограничьте конкретность факта до самой последней степени, доведите ее до самой нищенской наготы, и вы все-таки не отвергнете, что даже оскопленный пенкоснимательными усилиями факт имеет и свою историю, и свою современную обстановку, и свои ближайшие последствия, не касаясь уже отдаленного будущего. Разъяснить эту обстановку факта, определить путь, которому он должен следовать, не извра-

щая своего внутреннего смысла, — все это уже совсем не утопия, а именно та самая почва факта, на которой он стоит в действительности. Но пенкосниматель, постоянно твердя о конкретности фактов, даже и здесь выказывает лишь бессилие. Твердя о конкретности, он разумеет совсем не конкретность, а разрозненность, а потому все, что имеет вид обобщения, что напоминает об отношении и связи, — все это уже не подходит под *его* понятие о конкретности и сваливается в одну кучу, которой дается название «утопия». «Наше время не время широких задач! — гласит он без всякого стыда. — Не расплывайся, не заезжай, не раздражай! Взирай прилежно на то, что у тебя лежит под носом, и далее не дерзай!»

Как ни противна эта мутная пена слов, но она представляет своего рода твердыню, за которою, с полною безопасностью, укрывается бесчисленное пенкоснимательное воинство. Благодаря этой твердыне пенкосниматель выскальзывает из рук своего исследователя, как вьюн, и уследить за случайными эволюциями его бродячей мысли все равно что уследить неуследимое. Конечно, коли хотите, и тут должна же существовать известная логическая последовательность, как была таковая и у тех харьковских юношей,

которые от хорошего житья задумали убить ямщика; но для того, чтобы открыть эту последовательность и вынести для нее оправдательный вердикт, необходимо быть или всеоправдывающим присяжным будущего, или по малой мере присяжным харьковского окружного суда.

Возьмитесь за любое литературное издание пенкоснимательного пошиба, и вы убедитесь, как трудно отнестись критически к тому, что никогда не знало никакого идеала, никогда не сознавало своих намерений. Это болото, в котором там и сям мелькают блудящие огоньки. Вот как будто брезжит нечто похожее на мысль; вот кажется, что пенкосниматель карабкается, хочет встать на какую-то точку. «А ну-ка еще, еще, милый, еще!» — восклицаете вы, мысленно натуживаясь вслед за пенкоснимателем. И вдруг, хвать-похвать, — туман, то есть бесконечное и лишенное всякого содержания бормотание! И заметьте, что пенкосниматель никогда не обескуражится своим бессилием, никогда не замолчит. Нет, он будет судить и рядить без конца; не может прямо идти — заедет в сторону; тут ползолотника скинет, там ползолотника накинет, и при этом будет взирать с такою ясностью, что вы ни на минуту не усомнитесь, что он и еще чет-

верть золотника накинуть может, если захочет. Или вдруг на кого-нибудь накинется и начнет полемизировать, полемизировать, точь-в-точь как полемизируют между собой обыватели рязанско-тамбовско-саратовского клуба.

— Почему же вы так полагаете, Сидор Кондратьевич?

— Да уж так!

— Однако, Сидор Кондратьевич, нельзя же утверждать или отрицать, приводя в доказательство «да уж так!».

— Да уж помяните вы мое слово!

И он не выйдет из своего «да уж так!» до последнего издыхания, и дотоле не сочтет себя побежденным, доколе будет сознавать себя способным разевать рот и произносить «помяните мое слово!».

Поэтому и с точки зрения конкретного факта пенкосниматель точно так же обнажен, как и на почве утопий. От утопий он отворачивается, к конкретному же факту хотя и имеет приверженность, но приверженность слепую, чуждую сознательности. В обоих случаях он неуязвим, как и любой из уличных обывателей. Факт, представленный не одиноко, а в известной обстановке, для него такая же смешная абстракция,

как Фаланстер или Икария. Требуйте от него отчета, доказывайте, прижимайте к стене — он все будет барахтаться и произносить свое «да уж так!». И над вами же в заключение вдосталь нахохочется. «Нет, — скажет, — ты меня не поймаешь! Ловок ты, а я вот тебе каждый день язык показывать буду — и хоть ты что хочешь, а ничего со мной не поделаешь!»

Но есть и еще почва, на которой пенкосниматель неуязвим, — это почва либерализма. Либерализм — это своего рода дойная корова, за которою, при некоторой сноровке и при недостатке бдительного надзора, можно жить припеваючи, как живали некогда целые поколения людей с хозяйственными наклонностями, прокармливаясь около Исаакиевского собора. Пенкосниматель выражается не особенно ясно, но всегда с таким расчетом, чтобы загадочность его была истолкована в либеральном смысле. Он умеет кстати подпустить: «мы говорим с прискорбием» или «ничто так не огорчает нас, как нападки на наши молодые, еще не окрепшие учреждения» и, разумеется, никогда не промолвится, что крепостной труд лучше труда свободного или что гласное судопроизводство хуже судопроизводства при закрытых дверях.

Нет, никогда, ибо склады либерализма известны ему в точности. Конечно, он все-таки ничего не смыслит ни в действительной свободе, ни в действительной гласности, но так как он произносит свои афоризмы совершенно так, как бы находился в здравом уме и твердой памяти, то со стороны может казаться, что он, пожалуй, что-нибудь и смыслит. И таким образом, в результате оказывается бесконечный обман, имеющий подкладкой одно самоуверенное нахальство. Вам говорят о благодеяниях свободного труда, но в то же время приурочивают его действие к такой бесконечно малой сфере, что, в сущности, выходит лишь замаскированный крепостной труд. Вам повествуют о выгодах гласного суда, а на поверку выходит, что речь сводится к рекламам в пользу такого-то адвоката или судьи. И вся эта обнаженная канитель тянется с такою солидностью, что делается жутко за человеческую мысль. Дважды два — четыре, проповедует пенкоснимательи совершенно искренно верит, что дальше этой истины ничего уж нет и что доискиваться каких-либо дальнейших комбинаций есть дело прихоти и предерзостного мальчишества.

Все эти три неуязвимости достойно прикрываются четвертою: солидностью. Способность

говорить солидно и уверенно самые неизреченные пошлости есть именно та драгоценная способность, которою в совершенстве обладает всякий пенкосниматель. Это василиск празднословия, при встрече с которым надобно выбирать одно из двух: или плюнуть и бежать от него прочь, или обречь себя на выслушивание его. Никогда ни по какому вопросу он не придет к ясному выводу, но в то же время никогда ни по какому вопросу не спасует. Он будет плавно и мерно выпускать фразу за фразой и ожиданием вывода или заведет в ловушку, или доведет до исступления. Поэтому полезнее всего избегать всяких встреч с пенкоснимателями, ибо только этим способом можно оградить себя от дьявольского наваждения. Но существуют люди слабые (увы, вселенная кишит ими), которые не могут устоять перед взорами этих василисков и потому ввергаются в бездну празднословия. Вот в этих-то слабохарактерных личностях пенкосниматели и черпают ту силу, которая так изумляет исследователей современности. И будут черпать ее до тех пор, пока литература не почувствует себя свободною от кошмара, который давит ее, или пока совсем не потонет в океане бессмысленного бормотания…

Я долго блуждал по Выборгской, заглянул в Лесной, но вспомнил, что здесь главный очаг наших революций, и отправился на Охту, где отяжелелыми от сна глазами оглядел здания пороховых заводов.

Проведенный вечер не выходил из головы моей. Впрочем, из всех индивидуумов, которые играли в нем роль, я оплакивал лишь двоих: русскую литературу и Менандра. Все прочие были так счастливы и довольны собой, казались до того на своем месте, что и жалеть об них не было ни малейшего повода. Они кружились и играли, как мошки на солнце, и, кружась и играя, конечно, довлели сами себе, как выражалась критика сороковых годов. Пенкоснимательство было их назначением, их провиденциальною ролью. Они родились именно тогда, когда началось пенкоснимательство, и умрут тогда, когда пенкоснимательство кончится. Но литература, но Менандр… воля ваша, а я и до сих пор не могу примириться с мыслью, что они самопроизвольно заразились этою язвою. Мне все кажется, что это индивидуумы подневольные, сносящие иго пенкоснимательства лишь потому, что чувствуют себя в каменном мешке.

Сравните литературу сороковых годов, не де-

лавшую шага без общих принципов, с литературой нынешнею, занимающеюся вытаскиванием бирюлек; сравните Менандра прежнего, оглашавшего стены «Британии» восторженными кликами о служении высшим интересам искусства и правды, и Менандра нынешнего, с тою же восторженностью возвещающего миру о виденном в Екатеринославле северном сиянии… Какая непроглядная пропасть лежит между этими сопоставлениями!

Я не говорю, чтоб полезно и желательно было всецело воскресить сороковые года с их исключительным служением всякого рода абстрактностям, но не те или другие абстрактности дороги мне, а темперамент и направление литературы того времени. Никто не посмел бы крикнуть тогда: «Наше время не время широких задач!» Напротив того, всякий рвался бы захватить как можно шире и глубже. Говорят, что расплывчивость сороковых годов породила множество монстров, которые и дают себя знать теперь в качестве неумолимых гонителей всякого живого развития. Я и не отрицаю, что такие монстры действительно существуют, но отрицаю, чтоб их можно было считать представителями сороковых годов. Это схоластики, увлекавшиеся буквою

и никогда не понимавшие ее смысла. Они только поддакивали, когда глубоко убежденные люди утверждали, что дело литературы заключается в разработке общих руководящих идей, а не подробностей. Но, увы, убежденные люди безвременно сошли в могилу, а схоластики остались, да еще остались старые болтуны, которые, как давно заброшенные часы, показывают все тот же час, на котором застал их конец пятидесятых годов.

Правда, что тогда же был и Булгарин, но ведь и Булгарины бывают разные. Бывают Булгарины злобствующие и инсинуирующие, но бывают и добродушные, в простоте сердца переливающие из пустого в порожнее на тему, что все на свете коловратно и что даже привоз свежих устриц к Елисееву и Смурову ничего не может изменить в этой истине. Кто же может утверждать наверное, что современная русская литература не кишит как злобствующими, так и простосердечными Булгариными?

Среди этих горьких размышлений я очутился на Невском уже тогда, когда часы на Публичной библиотеке показывали одиннадцать. К довершению всего, у Петропавловской лютеранской церкви я неожиданно наткнулся на Прокопа, о котором думал, что он уже несколько дней

назад отправился восвояси хлопотать о месте по части новых налогов.

— Ба! Какими судьбами? А я думал, что ты уж уехал домой! — воскликнули мы оба в один голос.

А между тем из церкви выезжал довольно людный печальный кортеж. Невский в этом месте был запружен войсками, которые при появлении траурных дрог выстроились и под звуки похоронного марша двинулись по направлению к Смоленскому кладбищу.

— Что же ты здесь делаешь? Ведь я думал, что ты уж давно дома и об месте хлопочешь, — обратился я к Прокопу.

— Нельзя, братец, делов много. Видишь, вот генерала хороню.

— Какого еще генерала?

— Фон Керль прозывался, из немцев. Признаться сказать, я только с неделю назад с ним в департаментской приемной познакомился, а четвертого дня, слышу, он холостым выстрелом застрелился.

— Ты врешь, душа моя!

— Истинным Богом! Пистон разорвало, а он с испугу подумал, что его убило, да и умер.

— А вот еще сомневаются в существовании

души! Ну мог ли бы случиться такой факт, если б души не было? Но что за причина, что он покусился на самоубийство?

— Да года три сряду все по кавалерии числился; ну, натурально, местов искал, докладные записки во все министерства подавал. В губернаторы уж очень хотелось попасть! Мне бы, говорит, ваше превосходительство, какую-нибудь немудрящую губернию, в Петрозаводск или в Уфу… право!

— Скажите на милость! И не дали?

— Не дали. А он между тем в ожидании все до нитки спустил. Еще накануне происшествия я водил его на свой счет в греческую кухмистерскую обедать — смотреть жалость! Обносился весь, говорит! А теперь, гляди, с какой помпой хоронят!

— В самом деле, какая несправедливость! Отчего бы не дать? Ведь нынче, говорят, от губернаторов все отошло!

— Вот и он то же говорил. Нынче, говорит, все от губернаторов отошло. Нужно только такт иметь да хорошего вице-губернатора. А на другой день, слышу, застрелился!

— И хороший, ты говоришь, генерал был?

— Одно слово, через Валдайские горы однажды перешел!

— Не через Балканские ли, душа моя?

— Верно говорю: через Валдайские. Через Балканские — это прежде бывало, а нынче и через Валдайские — спасибо скажи!

Кортеж между тем удалялся, и звуки похоронного марша уж довольно смутно доносились до нас.

— Ну, брат, я бегу! — спохватился Прокоп. — Да ты что, свободен, что ли?

— Спать хочется, а то какие же у меня дела!

— Ну его, сон! Успеем выспаться, как в деревню вернемся. Айда со мной на Смоленское! Там, брат, в кухмистерской на казенный счет поминки устроены, так кстати закусим и выпьем.

Я с минуту колебался, но времени впереди было так много, времени ничем не занятого, вполне пустопорожнего… Оказывалось решительно все равно, чем ни наполнить его: отданием ли последнего долга застрелившемуся холостым выстрелом генералу или бесцельным шаганием по петербургским тротуарам, захаживанием в кондитерские, чтением пенкоснимательных передовых статей, рассматриванием проектов об упразднении и посещением различного рода публицистических раутов. В самом деле, не рискнуть ли на Смоленское?

— Мы вот как сделаем, — продолжал между тем искушать Прокоп, — сперва генералу честь отдадим и в кухмистерской закусим, потом отправимся обедать к Дороту, а там уж и на Минералы рукой подать! Каких, брат, там штучек с последними кораблями привезли! Наперед говорю: пальчики оближешь!

Но согласие и без того уже виделось в глазах моих…

Похороны были, так сказать, выморочные. По-видимому, и сам покойный генерал был выморочный, ни в каком ведомстве не нужный генерал. Переход через Валдайские горы, в свое время составивший славу Фон Керлю, был давно забыт; только немногие из сослуживцев, да и то большею частью из состоящих по кавалерии, почтили память усопшего. Ни родственников, ни хозяев печального торжества не было; распоряжался казначей того ведомства, на счет которого хоронили Фон Керля, но и его действия заключались единственно в уплате издержек по церемонии. Впрочем, на закуске, в ближайшей к кладбищу кухмистерской, было довольно оживленно. Собрались большею частью люди ни мне, ни Прокопу не известные, но нас так усердно потчевали, как будто мы были ближай-

шие родные покойного. Прокоп по обыкновению лгал, то есть утверждал, что сам присутствовал при том, как Фон Керль застрелился, и собственными ушами слышал, как последний в предсмертной агонии сказал: «Отнесите господину министру внутренних дел последний мой вздох и доложите его превосходительству, что хотя я и не удостоился, но и умирая остаюсь при убеждении, что для Петрозаводска… лучше не надо!»

Некоторые из сослуживцев-генералов облизнулись при этом, а один из них сказал:

— Вы обязаны исполнить волю покойного! Быть может, его высокопревосходительство тронется этим и хотя в отношении к другим будет не столь взыскателен!

— Непременно-с, непременно-с! — уверял Прокоп. — Помилуйте, какого еще, к черту, губернатора надо!

По сцеплению идей, зашел разговор о губернаторстве, о том, что нынче от губернаторов все отошло и что, следовательно, им нужно только иметь такт. Прокоп стал было утверждать, что и совсем их не нужно, но потом сам убедился, что, во-первых, некому будет взыскивать недоимки, а во-вторых, что без хозяина, во всяком случае, как-то неловко. От губернаторства разговор

опять возвратился к покойному и к славнейшему подвигу его жизни: к переходу через Валдайские горы.

— Скажите, пожалуйста, вы были свидетелем этого перехода? — обратился к Прокопу один из генералов.

— Еще бы! Я тогда юнкером в Белобородовском полку состоял, но так как покойный всегда особенно меня жаловал, то я у него почти за адъютанта служил. Только вот стоим мы, как сейчас помню, в Яжелбицах…

— Так-так! Это было при Яжелбицах! — воскликнули в один голос все генералы, словно чем-то обрадованные.

— Ну-с, стоим мы этак в Яжелбицах, а в это время, надо вам сказать, рахинские крестьяне подняли бунт за то, что инженеры на их село шоссе хотели вести[104]. Ну-с, хорошо. Только смотритель Яжелбицкой станции и говорит покойному: не угодно ли, говорит, вашему высокоблагородию — он тогда еще полковником был — ухи из форелей откушать? У нас, говорит, преотменные в озере ловятся! Разумеется, сейчас за мной: так и так, как ты думаешь, успеем ли мы

---

[104] Сноски: 104

Яжелбицы и Рахино — станции на Петербургско-Московском шоссе. — *Примеч. авт.*

уху съесть? И думать, говорю, об ухе нечего! Ну, поморщился мой полковник — сами вы знаете, господа, какой он охотник покушать был, — однако видит, что моя правда, воздержался! Было это дело у нас, доложу вам, пятого июля, немного спустя после полден…

— Так-так! Пятого июля! Так и в истории этого похода сказано!

— Ну вот видите! Не лгу же я! Да и зачем лгать, коли сам собственными глазами все видел! Только вот, смотрю я, солнышко-то уж книзу идет, а нам в тот же день надо было покончить с Рахиным, чтобы разом, знаете, раздавить гидру — да и шабаш!

— Совершенно справедливо! Бунты — тут первое дело натиск и быстрота! А потом — вольным шагом, и по домам! — воскликнули генералы.

— Ну-с, только вот и говорит мой полковник смотрителю: нет, говорит, старик! Мне, говорит, надо к двум часам вот эту гору взять, а к пяти часам чтобы в Рахино! Когда там покончим, тогда и уху к вам есть прибудем. А вы, господа, изволите ли знать Яжелбицкую-то гору?

— Как же, как же, ужаснейшая гора! — воскликнули генералы, из которых некоторые даже отмеривали руками.

— Ответивши таким манером смотрителю, покойный улыбнулся этак и говорит солдатикам: «А что, ребята, к пяти часам будем в Рахине?» Ну разумеется: рады стараться! Сейчас — барабаны! Песенники вперед, на приступ, гора к черту, — и к пяти часам у нас уж кипел горячий бой под Рахиным! К шести часам гидра была при последнем издыхании, а в девять полковник уж был в Яжелбицах и говорил мне: «Ну, теперь я надеюсь, что и ты не скажешь, что я ухи не заслужил?» И скушал разом целых три тарелки!

— Браво, браво! Ну и нам теперь самое время выпить за покойного!

Быть может, время так и прошло бы в мирном веселии, если б Прокоп не выпил несколько лишних рюмок хересу и под их наитием не вздумал вступить в религиозный спор.

— Одно жаль, — сказал он, — не в нашей русской вере помер! Говорил я ему еще накануне смерти: окрестись, говорю, Карл Иваныч! Вспомни, куда ты идешь! По крайности, в Царство Небесное попадешь! С людьми будешь!

Генералы, из которых большинство были немцы, обиженно переглянулись между собой.

— Но позвольте узнать, — спросил один из них, — какие основания вы имеете, чтобы

так низко ставить нашу святую евангелическую религию?

— Да такие основания, что она и не религия совсем!

— Однако имеете ли вы доказательства в пользу вашего мнения?

— Каких там еще доказательств! Не религия — и все тут!

Ну, первое доказательство: ваша вера таинства погребения не признает — на что похоже!

— Но позвольте вам доложить, что такого таинства и в вашей русской религии не находится!

— Ну уж это дудки!

— Однако ж это ужасно! — воскликнули хором генералы.

— У нас над покойником-то поют, — упорствовал Прокоп, — и дьякон и поп — честь честью в могилу кладут! А у вас что! Пришел ваш пастор, полопотал что-то, даже закусить с нами не захотел! На что похоже!

— Позволь, душа моя, — вступился я, — ведь действительно и у нас таинства погребения нет!

— Ну, нет так нет — не в том штука! А вот мы в Святого Духа верим, а вы, немцы, не верите!

— Позвольте же вам доложить…

— Нечего тут докладывать! Этак вы скажете,

что и чухна белоглазая — и та в Бога верит!

— Но это ужасно!

— Ужасно-то оно ужасно, только не нам! Вам будет ужасно — это так!

— Но позвольте вам сказать, милостивый государь, что мы так точно верим в Святого Духа, как бы он сейчас между нами был!

— Ну, между нами-то, пожалуй, сейчас его и нет! Это, брат, враки! А вот что вы в Николая Чудотворца не верите — это верно!

— Но Николай — это совсем другое дело! Николай — это был очень великий человек!

— Боговдухновенный, сударь! Не «великий человек», а боговдухновенный муж! «Правило веры, образ кротости, воздержания учителю!» — вот что-с! — произнес Прокоп строго. — А по-вашему, по-немецки, все одно: Бисмарк великий человек, и Николай Чудотворец великий человек! На-тко выкуси!

Глаза у генералов постепенно расширялись; чиновники похоронного ведомства потихоньку посмеивались, а Прокоп разгорячался все больше и больше.

— Скажи это я, русский, — ораторствовал он, — давно бы у меня язык отнялся! А с вас, с немцев, все как с гуся вода!

Слово за слово, генералы так обиделись, что прицепили палаши, взяли каски и ушли. Прокоп остался победителем, но поминовенная закуска расстроилась. Как ни упрашивал казначей-распорядитель еще и еще раз помянуть покойного, строптивость Прокопа произвела свое действие. Чиновники боялись, что он начнет придираться и, пожалуй, даже не отступит перед словом «прохвосты». Мало-помалу зала пустела, и не более как через полчаса мы остались с Прокопом вдвоем.

— Ну, скажи, пожалуйста, какая тебе была охота поднимать всю эту историю? — укорял я Прокопа.

— А по-твоему, в рот им смотреть?

— Как ты странно, душа моя, рассуждаешь! Совсем с тобой правильного разговора вести нельзя!

— Нет, ты мне ответь: в рот, что ли, им смотреть! А я тебе вот что говорю: надоела мне эта немчура белоглазая! Я, брат, патриот — вот что!

— Но ведь здесь…

— И здесь, и там, и везде… везде я им нос утру! Поди-тка что выдумали: двести лет сряду в плену у себя нас держат!

Спорить было бесполезно, ибо в Прокопе все

чувства и мысли прорывались как-то случайно. Сегодня он негодует на немцев и пропагандирует мысль о необходимости свергнуть немецкое иго; завтра он же будет говорить: «Чудесный генерал! Одно слово, немец!» — и даже станет советовать: «Хоть бы у немцев министра финансов на подержание взяли — по крайности, тот аккуратно бы нас обремизил!»

Когда мы вышли, солнце еще не думало склоняться к западу. Я взглянул на часы — нет двух. Вдали шагали провиантские и другие чиновники из присутствовавших на обеде и, очевидно, еще имели надежду до пяти часов сослужить службу отечеству. Но куда деваться мне и Прокопу? Где приютиться в такой час, когда одна еда отбыта, а для другой еды еще не наступил момент?

— К Дороту, что ли? — раздумывал Прокоп. — Да там, поди, и татары еще дрыхнут! А надо где-нибудь до пяти часов провести время! Ишь чиновники-то — ишь, ишь, ишь как улепетывают! Счастливый народ!

Делать нечего, я должен был пригласить его ко мне.

— Ну вот и спасибо! Вздремнем часок-другой, а там и опять марш!

Но надежде на восстановляющий сон не сужде-

но было осуществиться с желаемою скоростью. Прокоп имеет глупую привычку слоняться по комнате, садиться на кровать к своему товарищу, разговаривать и вообще ахать и охать, прежде нежели заснет. Так было и теперь. Похороны генерала, очевидно, настроили Прокопа на минорный тон, и он начал мне сообщать новость за новостью, одна печальнее другой.

— Да ты знаешь ли, — сказал он, — что на этих днях в Калуге семнадцать гимназистов повесились?

— Что ты! Христос с тобой!

— Верно говорю, что повесились. Не хотят полатыни учиться — и баста!

— Да врешь ты! Если б что-нибудь подобное случилось, неужто в газетах не напечатали бы!

— Так тебе и позволили печатать — держи карман! А что повесились — это так. Вчера знакомый из Калуги на Невском встретился: все экзамены, говорит, выдержали, а как дошло до латыни — и на экзамен не пошли: прямо взяли и повесились!

— Однако, брат, это черт знает что!

— И я то же говорю. Такое, брат, это дело, такое дело, что я вот и не дурак, а ума не приложу.

Прокоп потупился, и некоторое время, сложив

в раздумье руки, обводил одним указательным пальцем около другого.

— Нынче и дети-то словно не на радость, — продолжал он, — сперва латынь, потом солдатчина. Не там, так тут, а уж ремиза не миновать. А у меня Петька смерть как этой латыни боится.

— Ну принудил бы себя, что за важность!

— И я ему то же говорил, да ничего не поделаешь. «Помилуйте, — говорит, — папенька, это такой проклятый язык, что там что ни слово, то исключение. Совсем, — говорит, — правил никаких нет!»

— Да нельзя ли попросить, чтоб простили его?

— Просил, братец: ничем не проймешь! Одно ладят: нынче, говорят, и свиней пасти, так и то Корнелия Непота читать надо. Ну как мне после этого немцев-канальев не ругать!

Прокоп опять задумался, и некоторое время в комнате царствовало глубокое молчание, прерываемое лишь вздохами моего друга.

— А то слышал еще, Дракин Петр Иванович помешался? — вновь начал Прокоп.

— Господи! Да откуда у тебя все такие новости?

— Вчера из губернии письмо получил. Читал, вишь, постоянно «Московские ведомости», а там все опасности какие-то предрекают: то нигилизм,

то сепаратизм… Ну, он и порешил. Не стоит, говорит, после этого на свете жить!

— Скажите на милость! А какой здоровый был!

— Умница-то какая — вот ты что скажи! С губернатором ли сцепиться, на земском ли собрании кулеврину подвести — на все первый человек! Да что Петр Иванович: этому по крайней мере было с чего сходить, а вот ты что скажи: с чего Хлобыстовский, Петр Лаврентьевич, задумываться стал?

— Неужто и он?

— Да, и от чего стал задумываться… от «Петербургских ведомостей»! С реформами там нынче все поздравляют, ну вот он читал-читал, да и вообразил себе, что идет он по длинному-длинному коридору, а там, по обеим сторонам, все пеленки… то бишь все реформы развешаны! Эхма! Чья-то теперь очередь с ума сходить!

Новое молчание, новые вздохи.

— И что, братец, нынче за время такое! Где ни послышишь — везде либо запил, либо с ума сошел, либо повесился, либо застрелился. И ведь никогда мы этой водки проклятой столько не жрали, как теперь!

— От скуки, любезный друг!

— Именно, брат, от скуки. Скажу теперича хоть про себя. Ну, встанешь это утром, начнешь ду-

мать, как нынче день провести. Ну, хоть ты меня зарежь, нет у меня делов, да и баста!

— Да и у меня, душа моя, их не много.

— Вот, говорят, от губернаторов все отошло: посмотрели бы на нас — у нас-то что осталось! Право, позавидуешь иногда чиновникам. Был я намеднись в департаменте — грешный человек, все еще поглядываю, не сорвется ли где-нибудь дорожка, — только сидит их там, как мух в стакане. Вот сидит он за столом, папироску покурит, ногами поболтает, потом возьмет перо, обмакнет и чего-то поваракает; потом опять за папироску возьмется и опять поваракает — ан времени-то, гляди, сколько ушло!

— А нам с тобой деваться некуда!

— Пристанищев у нас нет никаких — оттого и времени праздного много. А и дело навернется — тоска на него глядеть! Отвыкли. Все тоска, все тоска, а от тоски, известно, одно лекарство: водка. Вот мы и жрем ее, чтобы, значит, время у нас свободнее летело.

— Да, душа моя, видно, остались мы с тобой за штатом!

— Не за штатом, а просто ни при чем. Ну скажи на милость: кабы у тебя *свое* дело было, пошел ли бы ты генерала хоронить? Или опять эти

Минералы — ну поехал ли бы ты за семь верст киселя есть, кабы у тебя *свой* интерес под руками был?

— Так за чем же дело стало? Возьмем да и не поедем сегодня на Минералы!

— Ну, стало быть, в Шато-де-Флер поедем, а уж туда либо сюда — не минешь ехать.

— Да отчего же! Посидим дома, пошлем за обедом в кухмистерскую, напьемся чаю, потолкуем… Может быть, что-нибудь да и найдется!

— Ничего не найдется. О том, что ли, толковать, что все мы под Богом ходим, так оно уж и надоело маленько. А об другом — не об чем. Кончится тем, что посидим часок да и уйдем к Палкину либо в Малоярославский трактир. Нет уж, брат, от судьбы не уйдешь! Выспимся, да и на острова!

Увы! Я должен был согласиться, что план Прокопа все-таки был самый подходящий. О чем толковать, когда никаких своих дел нет? А если не о чем толковать, то, значит, и дома сидеть незачем. Надо бежать к Палкину, или на Минерашки, или в Шато-де-Флер — одним словом, куда глаза глядят и где есть возможность забыть, что есть где-то какие-то дела, которых у меня нет. Прибежишь — никак не можешь разделаться с вопросом: зачем прибежал? Убежишь — опять-

таки не разделаешься с вопросом: зачем убежал? И все-то так.

Наконец я заснул.

Чертог сиял…

В саду, однако ж, было почти темно. Отблеск огней, которыми горело здание минеральных вод, превращал полумрак майской ночи в настоящую мглу. Публика с какою-то безнадежною апатией колотилась взад и вперед, не рискуя пускаться в аллеи более отдаленные и кружась в районе света, выходящего из окон здания. Тут же, на площадке, волочили свои шлейфы современные Клеопатры из Гамбурга. По бокам площадки, около столиков, ютились обоего пола посетители и истребляли всякого рода влагу. В разных местах, на покрытых эстрадах, мерцали огни и раздавались звуки музыки, которые благодаря влажности воздуха, даже в небольшом расстоянии доходили до слуха в виде треска. Несмотря на то что толпа была довольно компактная, говор стоял до такой степени умеренный, что мы, войдя в сад, после шума и стука съезда были как бы охвачены молчанием. По временам слышалось бряцание палаша и раздавался крик: «Человек!» — похожий на крик иволги в глухом лесу. Сырость была несносная, пронизывающая.

Странное дело! и прежде нередко посещал это заведение, и довольно коротко знаю его публику, но и до сих пор, входя в сад, не могу избавиться от чувства некоторой неловкости. Посмотришь кругом — публика ведет себя не только благонравно, но даже тоскливо, а между тем так и кажется, что вот-вот кто-нибудь закричит «караул!», или пролетит мимо развязный кавалер и выдернет из-под тебя стул, или, наконец, просто налетит бряцающий ташкентец и предложит вопрос: «А позвольте, милостивый государь, узнать, на каком основании вы осмеливаетесь обладать столь наводящей уныние физиономией?» А там сейчас протокол, а назавтра заседание у мирового судьи, а там апелляция в съезд мировых судей, жалоба в кассационный департамент, опять суд, опять жалоба — и пошла писать. Положим, что подобные происшествия случаются редко, тем не менее тревожное чувство, подсказывающее возможность чего-нибудь в этом роде, несомненно, существует, и, я уверен, существует не у меня одного.

В этот вечер тревожное чувство давало себя знать как-то сильнее обыкновенного. Очевидно, я одичал, одичал в Петербурге, в самом разгаре всякого рода утех. В течение полугода я испы-

тал все разнообразие петербургской жизни: был в воронинских банях, слушал Шнейдершу, Патти, Бланш Вилен, ходил в заседания суда, посетил всевозможные трактиры, бывал на публицистических и других раутах, присутствовал при защите педагогических рефератов, видел в «Птичках певчих» Монахова и в «Fanny Lear» Паску, заседал в Публичной библиотеке и осмотрел монументы столицы, побывал во всех клубах, а в Артистическом был даже свидетелем скандала; словом сказать, только в парламенте не был, но и то не потому, чтобы не желал там быть, а потому, что его нет. И несмотря на все это, я одичал. Может быть, это от вина, а может быть, и от того, что разговоры постоянно слышу какие-то пенкоснимательно-несообразные, — как бы то ни было, но куда бы я ни пришел, везде мне кажется, что все глаза устремлены на меня, и во всех глазах я читаю: «А ты зачем сюда пожаловал?» И вот, как только мелькнет этот вопрос в моей голове, мне делается совестно. И я начинаю робеть, и смущаться, и воображать, что вот этот, например, усатый господин, который, гремя палашом, мчится в мою сторону, мчится не иначе как с злостным намерением выдернуть из-под меня стул.

Напрасно напрягал я взоры в темноту — никого не мог различить. Даже кокотки были как будто все на одно лицо — и только по большей или меньшей смелости жаргона можно было различить большую или меньшую знаменитость. Были такие, около которых раздавалось непрерывное бряцание: это, конечно, самые счастливые, имевшие в перспективе ужин у Бореля и радужную бумажку; но были и такие, которые кружились совсем-совсем одни и, быть может, осуждены были на последние два двугривенных нанять ваньку, чтоб вернуться на Вознесенский проспект или в Подьяческую. Прокоп был счастливее меня; он как-то и в тьму ухитрялся проникнуть, и беспрестанно толкал меня в бок, спрашивая: «Это кто?.. Вон, высокий в плаще?» или: «А этот вон, в белом жилете, с закрученными усиками… это директор департамента, кажется? Ну да, он! Он и есть!»

Мы с полчаса самым отчаянным образом бременили землю, и в течение всего этого времени я не имел никакой иной мысли, кроме: «А что бы такое съесть или выпить?» Не то чтобы я был голоден: нет, желудок мой был даже переполнен, а просто не идет в голову ничего, кроме глупой мысли о еде. Вот долетел до ушей треск контра-

баса, и вдруг опять все стихло, хотя и видно, что на эстраде какой-то мужчина не переставая махает палочкой, а другие мужчины то поднимают, то опускают смычки. А мы все ходим и ходим, как будто чего-то ждем. Наконец, несмотря на то что прошло с приезда не более двадцати минут, начинаем ощущать адскую усталость. И вот в ту самую минуту, когда я уже порешил, что самое подходящее в настоящем случае — выпить коньяку, раздался звонок, призывающий в залу представлений. Господи, как же обрадовались мы этому звонку! С каким импетом рванулись в залу театра и как рванулись вместе с нами все эти бесприютные, чающие движения воды, которые ни к чему в жизни не могли приладиться, кроме бряцания, кокоток и шампанского!

Вдруг, при входе в залу, среди толпы, я встречаю того самого товарища, который, если читатель помнит, водил меня смотреть Шнейдершу. Он был окружен еще двумя-тремя старыми товарищами, которые по обыкновению юлили около него.

— А, провинциал! А я ведь думал, что ты давно в своей классической Проплеванной! Пришел

смотреть Claudia? Quelle verve! Sapristi![105]

Затем Нагибин (фамилия моего товарища) нагнулся к моему уху и таинственно шепнул:

— А ведь я к вам, в губернию… mais chut![106]

— Как, уже помпадуром? Поздравляю!

— Да, душа моя. Я решился принять. Ce n'est pas le bout du monde, j'en conviens, mais en attendant, c'est assez joli…[107] Я на тебя надеюсь! Ты будешь содействовать мне! C'est convenu![108] Впрочем, отсюда мы отправляемся ужинать к Донону, и, разумеется, ты с нами!

Сказав это, Нагибин пожал мне руку и проследовал с своими спутниками в первые ряды.

Признаюсь, это известие взволновало меня. Откровенно говоря, первое чувство, заговорившее во мне, было дрянное чувство зависти. Ну за что? — думалось мне, за что? Вот он теперь

---

[105] Сноски: 105
Какое вдохновение! Черт побери! (*фр.*)

[106] Сноски: 106
Но тсс! (*фр.*)

[107] Сноски: 107
Это не бог весть что, согласен, но в ожидании лучшего это недурно… (*фр.*)

[108] Сноски: 108
По рукам! (*фр.*)

«Le sire de Porc-Epic»[109] будет слушать, с кокотками переглядываться — ну, и сидел бы тут, и переглядывался бы! И самое место тебе, молокососу (я даже забыл, что, называя Нагибина молокососом, как сверстник его, и себя причисляю к сонму таковых), здесь сидеть! А ты вместо того помпадурш будешь разводить, будешь содрогаться при виде царствующего в Тетюшах и Наровчате вольномыслия и повсюду станешь внедрять руководящие догматы Porc-Epic'a. Но через короткое время зависть улеглась, и взволнованное чувство обратилось исключительно к моей собственной личности. А что, думалось мне, ведь ежели бы я не закоснел в чине титулярного советника, ведь и я бы… Конечно, живя в провинции, я и пообносился, и одичал, и во французском диалекте не без изъянцев, но ежели бы меня приодеть, пообчистить, я бы и теперь… О, черт побери, именно я мог бы, даже очень мог бы и помпадурш разводить, и содрогаться от вольномыслия Чебоксар, и кричать «фюить!». Затем, переходя от смягчения к смягчению, я дошел наконец до того, что даже ощутил радость по случаю назначения Нагибина. По крайней мере, говорил

---

[109] Сноски: 109
«Повелитель Дикобраза» (*фр.*).

я себе, у меня друг будет! Он будет поверять мне свои тайны: по утрам мы будем вместе содрогаться и изыскивать меры, а вечером к помпадуршам станем ездить!

А между тем Прокоп все время ел меня глазами. По странной игре природы, любопытство выражалось в его лице в виде испуга, и выражение это сохранялось до тех пор, пока не полагался конец мучившей его неизвестности.

— Кто это? — спросил он меня, блуждая глазами.

— Мой друг Нагибин. Он, брат, к нам в помпадуры…

Лицо Прокопа совсем перекосило от испуга.

— Чудак! Что же ты меня не представил? — упрекнул он меня.

Мы уселись где-то в шестом или седьмом ряду, и Прокоп никогда не роптал на себя так, как теперь, за то, что пожалел полтора рубля и не взял места во втором ряду, где сидели мои друзья.

— Ну что мы здесь увидим! — бормотал он. — Эти вещи надо непременно из первых рядов смотреть!

Зала была почти полна, но Прокоп как-то ухитрился сквозь массу голов устроить себе coup

d'oeil[110] в сторону Нагибина.

Он приподнимался всем корпусом, чтоб досыта наглядеться хоть на затылок будущего обладателя сердец рязанско-тамбовско-саратовского клуба.

— Да, этот подтянет! — говорил он.

Да, душа моя, Нагибин шутить не любит!

— Этот маху не даст! Ну а эти… которые с ним… кто такие?

— Это тоже старые товарищи, и, вероятно, все по очереди у нас перебывают.

— Перебывают — это верно. Однако завтра, чуть свет, напялю мундир и явлюсь. Нельзя.

Шел общий, густой говор; передвигали стулья; слышалось бряцание палашей и картавый французский говор; румяные молодые люди, облокотясь на борты лож, громко хохотали и перебрасывались фразами с партером; кокотки представляли собой целую выставку, но поражали не столько изяществом, сколько изобилием форм и какою-то тупою сытостью; некоторые из них ощипывали букеты и довольно метко бросали цветами в знакомых кавалеров.

Но вот занавес поднялся. Относительно нелепо-

---

[110] Сноски: 110
Подсматривание (*фр.*).

сти содержания «Le sire de Porc-Epic» может быть сравнен разве с «Fanny Lear», с тою лишь разницею, что последняя имеет претензию на серьезность, а «Porc-Epic» с тем и писан, чтоб украсить сцену колоссальною глупостью. Разобрать что-нибудь в этом сумбуре нет возможности, кроме того, что г. Теофиль дает г. Ру пощечину ягодицами, что совсем даже неправдоподобно. Claudia звенела, сыпала пощечинами, и с какою-то исступленною восторженностью поднимала ноги. Но вот «Porc-Epic» посрамлен; гремят трещотки, бубны, тазы, барабаны, занавес опускается.

Зачем я приехал?

Но несмотря на то что этот вопрос представлялся мне чуть не в сотый раз, я все-таки и к Донону поехал, и с кокотками ужинал, и даже увлек за собой Прокопа, предварительно представив его Нагибину как одного из представителей нашего образованного сословия.

Нагибин принял Прокопа с тою дружескою любезностью, которою отличаются вообще помпадуры новейшего закала, а во время нашего переезда к Донону (мы ехали в четвероместной коляске) был даже очарователен. Он не переставал делать Прокопу вопросы, явно свидетельствовавшие, что он очень серьезно смотрит на предстоящую

ему задачу.

— Ваша губерния плодородная? — любопытствовал он.

— Была, вашество, прежде, а теперь… Нынче, вашество, не плодородие, а вольные мысли в ходу-с. Вот ежели вы изволите нас подтянуть, так оно, может быть, и воротится, плодородие-то…

— Постараюсь-с. Но не скрываю от себя, что задача будет трудная, потому что зло слишком глубоко пустило корни… Ну-с, а скажите, и лес в вашей губернии растет?

— Рос, вашество, прежде… богатые леса были! А теперь и лесок как-то тугонько идет. У меня, однако ж, в парке еще не все липки мужики вырубили.

— Гм… однако и липа растет?

Потом пошли расспросы: можно ли иметь на месте порядочную говядину (un roastbeef, par exemple!)[111], как следует поступить относительно вина, а также представляется ли возможность приобрести такого повара, который мог бы удовлетворить требованиям вкуса более или менее изысканного.

— Не скрою от вас, — говорил Нагибин, — я

---

[111] Сноски: 111
Ростбиф, например! (*фр.*)

смотрю на свою роль несколько иначе, нежели рутинеры прежнего времени. Я миротворец, медиатор, благосклонный посредник — и больше ничего. Смягчать раздраженные страсти, примирять враждующие стороны, наконец, показывать блестящие перспективы — вот как я понимаю мое назначение! Or, je vous demande un peu, s'il y a quelque chose comme un bon diner pour apaiser les passions![112]

С своей стороны, Прокоп рисовал картины самого мрачного свойства.

— Все прежде бывало, вашество! — ораторствовал он. — И говядина была, и повара были, и погреба с винами у каждого были, кто мало-мальски не свиньей жил! Прежде, бывало, ростбиф-то вот какой подадут (Прокоп расставил руки во всю ширину), а нынче, ежели повар тебе беф-брезе изготовит — и то спасибо скажи! Батюшка-покойник без стерляжьей-то ухи за стол не саживался, а мне и с окуньком подадут — нахвалиться не могу!

— Скажите пожалуйста! Стало быть, задача моя труднее, нежели я предполагал?

— Чего же, вашество, хуже! У меня до эман-

[112] Сноски: 112

А скажите, есть ли что-либо лучше, чем добрый обед, чтобы утишить страсти! (*фр.*)

сипации-то пять поваров на кухне готовило, да народ-то все какой! Две тысячи целковых за одного Кузьму губернатор Толстолобов давал — не продал! Да и губернатор-то какой был: один целый свиной окорок съедал! И куда они все подевались!

— Однако ведь вы кушаете же? — с некоторым беспокойством спросил Нагибин.

— Кушаем-то кушаем. У меня и нынче повар — что ж, ничего повар. Да страху-то у него, вашество, нет!

Как только Прокоп произнес слово «страх», разговор оживился еще более и сделался общим. Все почувствовали себя в своей тарелке. Начались рассуждения о том, какую роль играет страх в общей экономии народной жизни, может ли страх, однажды исчезнув, возродиться вновь, и, наконец, что было бы, если бы реформы развивались своим чередом, а страх — своим, взаимно, так сказать, оплодотворяя друг друга.

— Реформы, вашество, ничего! — либеральничал Прокоп. — И не такие бы реформы можно вытерпеть, кабы страх был!

На эту речь Нагибин ответил крепким пожатием руки.

— Я с вами согласен, — сказал он, — без страха

нельзя. Но я постараюсь!

— Трудненько будет, вашество!

— Трудно — я это знаю. Но я привык. Я привык к борьбе, и даже жажду борьбы! Но скажу прямо: не хотел бы я быть на месте того, кто меня вызовет на борьбу! Sapristi, messieurs! Nous verrons! nous verrons qui de vous ou de moi aura le panache![113]

И Нагибин так свирепо погрозил кому-то в воздухе, что в воображении моем вдруг совершенно отчетливо нарисовалась целая картина: почтовая дорога с березовой аллеей, бегущей по сторонам, тройка, увлекающая двоих пассажиров (одного — везущего, другого — везомого) в безвестную даль, и, наконец, тихое пристанище в виде уединенного городка, в котором нет ни настоящего приюта, ни настоящей еды, а есть сырость, угар, слякоть и вонь…

— Фью!

На Конюшенном мосту мои мечты были снова прерваны жалобами, которые изливал Прокоп.

— Даже климат, — говорил он, — и тот против прежнего хуже стал! Помещиков обидели —

---

[113] Сноски: 113

Черт побери, господа! Еще посмотрим, посмотрим, на чьей стороне будет победа! (*фр.*)

ну, они, натурально, все леса и повырубили! Дождей-то и нет. Месяц нет дождя, другой нет дождя — хоть ты тресни! А не то такой вдруг зарядит, что два месяца зги не видать! Вот тебе и эмансипация!

Нагибин слушал эти ламентации и улыбался. Ему приятно было думать, что устранение всех этих бедствий: и недостатка поваров, и бездождия, и излишества дождя — лежало на нем одном.

— Да-с, тяжело ваше положение, messieurs, — произнес он задумчиво, — но я надеюсь, что с божьей помощью и сильный общим доверием…

Конца фразы я не расслышал, потому что в эту самую минуту мы въехали в ворота ресторана.

Было около часу ночи, и дононовский сад был погружен в тьму. Но киоски ярко светились, и в них громко картавили молодые служители Марса и звенели женские голоса. Лакеи-татары, как тени, бесшумно сновали взад и вперед по дорожкам. Нагибин остановился на минуту на балконе ресторана и, взглянув вперед, сказал:

— Совершенно как в «Тысяче и одной ночи», не правда ли?

А Прокоп тем временем шептал мне на ухо:

— У тебя деньги есть?

— Есть, а что?

— Чудак! Надо же честь сказать!

Я пошел побродить по дорожкам и потому не присутствовал при процессе заказывания ужина. До слуха моего долетало: «écrevisses à la bordelaise»[114], «да перчику, перчику чтобы в меру», «дупеля есть?», «земляники, братец, оглох, что ли, «на первый раз три крюшона»… Но на меня нашел какой-то необыкновенный стих: я вдруг вздумал рассчитывать. Припомнил, сколько я в таком-то случае денег даром бросил, сколько в таком-то месте посеял, сколько у меня еще остается, и, наконец, достанет ли… При этом вопросе я почувствовал легкий озноб… Достанет ли? В каком смысле «достанет ли? Ежели в обширном… о, черт побери, и зачем это я начал рассчитывать! Но, раз начавшись, работа мысли уже не могла скоро прерваться. Не сладив с расчетами, я обратился к будущему и должен был сознаться, что отныне нигде: ни в рязанско-тамбовско-саратовском клубе, ни даже в Проплеванной — не избежать мне ни Минерашек, ни Донона, ни Шато-де-Флера. Нагибин

---

[114] Сноски: 114
Раки по-бордоски (*фр.*).

непреклонен, он не положит оружия, доколе останется хотя один медвежий угол, в котором не восторжествовали бы «les grands principes du Porc-Epic»[115]. А так как я его друг, то, очевидно, было бы даже «подло», если бы я не содействовал этому торжеству. Вопрос, значит, не в том, чтобы избежать торжеств, а в том, во что они обойдутся мне в остальное время живота моего. Опять расчеты, и опять озноб… И в заключение — вопрос: да сколько же мне жить остается? А ну как я Мафусаилов век проживу?

Озноб, озноб и озноб…

Я в самом грустном расположении духа вернулся к моим товарищам и нашел компанию в значительно увеличенном составе. Новыми лицами оказались: адвокат Ненаедов, устьсысольский купеческий сын Беспорточный и знаменитая девица Сюзетта. Сюзетта председательствовала на банкете и была пьяна. Купеческий сын, в качестве временного нанимателя, сидел возле нее и говорил:

— Мамзель Сузетта, покажите господам ручку! Какова ручка-то, господа! Почтенный! Крушончик еще! Да земляницы-то не жалейте!

---

[115] Сноски: 115
Великие принципы Дикобраза (*фр.*).

В эту самую минуту я вошел.

— Где ты пропадал? — набросился на меня Прокоп.

— Monsieur a eu mal au ventre![116] — решила Сюзетта для первого знакомства.

— Bravo, Suzette! — воскликнули собеседники.

— Госпожа Сузетта! Сделайте ваше одолжение — скажите самые эти слова по-русски-с! — убеждал купеческий сын.

— У гаспадин живот болел!

— И превосходно-с. Значит, первое дело — померанцевки. Пожалуйте! А как мы уж по крушончику на брата сокрушили, так и вы, господин, нас догнать должны. Почтенный! Крушончик для господина… Да земляницы-то не жалейте!

Начался обычный кутеж наших дней, кутеж без веселости и без увлечения, кутеж, сопровождающийся лишь непрерывным наполнением желудков, и без того уже переполненных. Сюзетта окончательно опьянела. Сначала она пропела «L'amour — ce n'est que cela»[117], потом, постепенно возвышая температуру репертуара, достигла до «F……nous». Наконец, по просьбе Беспорточно-

---

[116] Сноски: 116
У господина заболел живот! (*фр.*)

[117] Сноски: 117
«Любовь — это вот что» (*фр.*).

го, разом выплюнула весь лексикон ругательных русских слов. Купеческий сын таращил на нее глаза и говорил:

— Ишь, шельма, как чисто по-русски выговаривает!

В таких занятиях прошло добрых три часа. Наконец купеческий сын стал придираться и окончательно набросился на Ненаедова.

— Для чего я тебя нанял? — приставал он. — Нет, ты ответь, для чего я тебя нанял? А хочешь, я сейчас скажу, какие такие договоры промеж нас были, когда я тебя в услужение брал?

Ненаедов краснел и бледнел. Одну минуту я даже думал, что он обидится.

Когда мы разъезжались, по улицам уже шло то смутное движение, которое предшествует пробуждению большого города.

— А, какова Сюзетта! Как, шельма, ругается! — воскликнул Прокоп, садясь со мной на извозчика.

Но на этот раз я не выдержал.

— Послушай, душа моя, — сказал я, — завтра я позову вот этого самого извозчика и велю ему все ругательства, которые мы слышали, при тебе повторить. А ты отдай ему те сто рублей, которые ты взял у меня, чтоб заплатить за ужин.

VIII

Я целый месяц не вел дневника своим похождениям, и, признаюсь, даже теперь не могу с ясностью выразуметь, что происходило со мной за это время.

Я был жертвой двух мистификаций сряду. Целый месяц я волновался, хлопотал и думал, что живу в самом реальном значении этого слова. Сначала я был членом VIII Международного статистического конгресса (в качестве делегата от рязанско-тамбовско-саратовского клуба), участвовал во всех его трудах, доказывал негодность употребляемых ныне приемов для исследования трактирной промышленности, беседовал с Левассером, Кеттле, Фарром и проч. Потом вдруг, каким-то чудом, декорации переменились. Оказалось, что вместо статистического конгресса я чуть было не сделался членом опаснейшего тайного общества, имевшего целью ниспровержение общественного порядка, и что только по особенной божьей милости я явился пред лицом суда не в качестве главного обвиняемого, а лишь в качестве пособника и попустителя. Что

Кеттле совсем не Кеттле, а пензенский помещик Капканчиков, что Левассер — отставной корнет Шалопутов, Корренти — шарманщик Корподибакко и т. д. И что все эти господа — эмиссары от интернационалки… Но этого мало: в самый разгар процесса, в ту минуту, когда я уже начинал питать уверенность, что невинность моя доказана, декорации опять внезапно переменяются и являются новые, среди которых я вижу себя… дураком! Ни конгресса, ни процесса — ничего этого не было. Был неслыханнейший, возмутительнейший фарс, самым грубым образом разыгранный шайкою досужих русских людей над ватагой простодушных провинциальных кадыков, в числе которых, к величайшей обиде, оказался и я…

Только в обществе, где положительно никто не знает, куда деваться от праздности, может существовать подобное времяпрепровождение! Только там, где нет другого дела, кроме изнурительного пенкоснимательства, где нет другого общественного мнения, кроме беспорядочного уличного говора, можно находить удовольствие в том, чтобы держать людей на протяжении целого месяца в смущении и тревоге! И в какой тревоге! В самой дурацкой из всех! В такой,

при одном воспоминании о которой бросается в голову кровь!

Представьте себе такое положение: вы приходите по делу к одному из досужих русских людей, вам предлагают стул, и в то время как вы садитесь — трах! — задние ножки у стула подгибаются! Вы падаете с размаху на пол, расшибаете затылок, а хозяин с любезнейшею улыбкой говорит:

— Скажите, какой случай! Человек! Скотина! Сколько раз было говорено, чтоб этот стул убрать! Извините, пожалуйста!

Вы усаживаетесь на другой стул, и любезный хозяин предлагает вам чаю. Не подозревая коварства, вы глотаете из стоящего пред вами стакана — и о ужас: это не чай, а помои! А хозяин с тою же любезностью утешает вас:

— Ах, извините, пожалуйста! Это стакан с водой, в который я обыкновенно сбрасываю пепел от папирос! Человек! Скотина! Сколько раз было говорено, чтоб стакан этот убирать!

И так далее и так далее.

Ежели мистификаторы упорны и пользуются здоровьем, они могут свести человека с ума. По крайней мере, я испытал это отчасти на себе. Теперь, после двух сыгранных со мной фарсов, я

не могу сесть, чтоб не подумать: а ну как этот стул вдруг подломится подо мной! Я не могу ступить по половице, чтоб меня не смущала мысль: а что, если эта половица совсем не половица, а только подобие ее, устроенное с исключительной целью, чтоб я провалился и расквасил себе нос!

Есмь я или не есмь? В нумерах я живу или не в нумерах? Стены окружают меня или какое-нибудь обманчивое подобие стен? Как ни просты эти вопросы, но ни на один из них я положительного ответа дать не берусь. Я знаю только одно: что передо мною бездна, называемая русским досужеством, бездна, которая всегда готова меня поглотить, потому что я сам, наравне с другими, участвовал в ее устройстве.

Куда деваться от шалунов? Как оградить себя от них? Жаловаться? Но представьте же себе процесс, в котором десяток молодых шалопаев, при открытых дверях, будут, в самых художественных образах, изъяснять, каким вы оказали себя дураком! И представьте себе, кроме того, что вы даже ничего не имеете сказать против этого! Потому что вы действительно вели себя как дурак, и нет в деле ни одного обстоятельства, которое бы не уличало вас в этом! Это сознает и председатель суда, и прокурор, и даже соб-

ственный ваш защитник, выступающий в роли частного обвинителя. На всех лицах только одно слово и написано: «дурак»! Нет нужды, что вы были жертвой дураков еще более бесспорных — это обстоятельство еще более отягчает вашу вину. Зачем связывался с дураками — дурак! Как не рассмотрел, что тебя окружают дураки, — дурак! Как не понял, когда даже шухардинские половые и те догадались, что русские досужие люди над тобой шутки шутят, — дурак! Дурак — и больше ничего.

Словом сказать, вы выигрываете процесс, вы сознаете себя вполне удовлетворенным перед лицом юстиции и в то же время, выходя из залы заседания, несомненно, чувствуете себя… дураком! И даже не простым дураком, а, так сказать, штемпелеванным. Потому что вы утверждены в этом звании приговором суда. Потому что не было ни обвиненного, ни свидетеля, ни даже жалобщика, которого показание не резюмировалось бы в одном слове: «дурак»! Потому что вся аудитория хохотом выхохатывала это слово, и ввиду святости места вам даже нельзя было сказать этой хохочущей братии: «Чему хохочете! Над собой хохочете!»

Но буду рассказывать по порядку.

Когда разнесся слух, что в Петербурге имеет быть VIII Международный статистический конгресс, мной прежде всего овладело естественное чувство гордости. Стало быть, и мы не лыком шиты, коль скоро к нам то и дело наезжают то «братья», то «друзья», то «гости». Положим, что для братьев-славян и для заатлантических друзей мы могли служить орудием демонстрации, но жрецы статистики — какую демонстрацию могли они иметь в виду, выбирая себе местопребыванием Петербург? Очевидно, они ни о чем другом не думали, кроме роскошного пира науки, который нигде не мог быть устроен с таким удобством, как в Петербурге. Стало быть, если отныне кто-нибудь назовет нас кадетами цивилизации, то мы можем смело сказать тому в глаза: «Нет, мы не кадеты! К нам обращали взоры братья-славяне! С нами братались заатлантические друзья! У нас, наконец, без всякой задней мысли отдыхали современные гиганты статистики!»

Конечно, было тут и не без опасений — как бы не осрамиться перед иностранными гостями, — но когда мы стали с Прокопом считать по пальцам, сколько у нас статистиков, то просто даже остолбенели от удивления. Сколько рассеяно статистиков по министерствам и губер-

ниям, статистиков, получающих определенное содержание, и следовательно, вполне достоверных! Сколько сверх того статистиков не вполне достоверных, а вольнопрактикующих, которые по собственной охоте ведут счет питейным заведениям и потом печатают в газетах свои труды в форме корреспонденции из Острогожска, Калязина, Ветлуги и проч.? Наконец, сколько «прохожих», «проезжих», «иксов», «зетов» и других трудолюбцев, при трепетном свете лампады разработывающих достопримечательности Лаишева, Кадникова, Обояни и иных?

— Если всех-то счесть, так, пожалуй, и пальцев на руках не хватит! — воскликнул Прокоп, когда мы кончили обозрение наших статистических сил. — Да и народ-то, брат, все какой — уж эти не выдадут!

Таким образом, оставалось только гордиться и торжествовать. Но, увы, опасения — такая вещь, которая, однажды закравшись в душу, уже нелегко покидает ее. Опровергнутые в одной форме, они отыщут себе другую, третью и т. д. и будут смущать человека до тех пор, пока действительно не доведут его до сознания эфемерности его торжества. Нечто подобное случилось и со мной.

Не знаю почему, но мне вдруг показалось,

что ежели конгресс соберется в Петербурге, то предметом его может быть только *коротенькая* статистика, то есть такая, в которой несколько глав окажутся оторванными. Ведь статистика, думалось мне, наука почти всеобъемлющая; следовательно, предметом ее может быть не одно движение народонаселения, не одно сухое перечисление фабрик и заводов, но и другие, более деликатного свойства общественные явления. Положим, что и явление самое деликатное можно обесцветить, запрятав его в графу и выразив в виде голой цифры, но ведь и цифры порою бывают так красноречивы, что прямо ведут к аттестациям вроде «хорошо», «дурно», «благоприятно», «неблагоприятно» и т. д. Ловко ли будет нам признать нормальность и полезность подобных аттестаций? И, раз признавши их нормальность, можно ли будет впоследствии (когда он надоест) счесть для себя необязательным этот контроль, идущий бог весть откуда и руководящийся бог весть какими предписаниями?

Возьмем для примера хоть научно-литературное развитие страны. Как ни трудно подчиняется этот предмет цифирным определениям, но несомненно, что такие определения существуют, а следовательно, статистика, даже самая

скромная, не имеет ни малейшего права игнорировать их. С одной стороны, во всякой стране издается известное число газет и журналов, печатается известное число книг. С другой стороны, во всякой же стране за немногими исключениями существуют учреждения, обязанность которых главнейшим образом заключается в наблюдении, чтобы в литературе не было допускаемо случаев так называемого превышения власти. Статистика не может пройти молчанием эти явления: они слишком крупны и ярки, чтоб их игнорировать. Но как же поступит она по их поводу? Конечно, она прежде всего констатирует число наблюдающих за литературой чиновников, сумму получаемого ими содержания, классы занимаемых ими должностей и мундиры, тем должностям присвоенные. Разумеется, я ничего не сказал бы против статистики, если б она ограничилась исключительно одними этими фактами, но в том-то и дело, что статистика, да вдобавок международная, всегда идет далее тех границ, которые предписываются благоразумием. Описавши мундиры чиновников, она перейдет к их деятельности, а вступивши на эту почву, найдет, что деятельность эта выразилась в стольких-то предостережениях, стольких-то

закрытиях, и т. д. Вот тогда-то, собственно, и начнется так называемое красноречие цифр. Хорошо, если цифры останутся только цифрами, то есть будут себе сидеть в подлежащих графах да поджидать очереди, когда их, наравне с прочими, включат в учебники, но ловко ли будет, если какой-нибудь «иностранный гость», отведавши нашего хлеба-соли, вдруг вздумает из цифр вывести и для нас какую-то аттестацию? Я уступаю заранее, что аттестация эта будет формулирована словами «похвально» и «благоприятно», но приятен ли будет самый факт *возможности аттестации*? — вот в чем вопрос, и вопрос настолько важный, что над ним стоит очень и очень крепко призадуматься. Я, по крайней мере, думаю, что эта возможность обоюдоострая и что мы в равной мере рискуем получить и благоприятные и неблагоприятные отметки. Тут все зависит от того, сохранил ли иностранный гость благодарное воспоминание о нашем гостеприимстве или не сохранил. Нет, лучше уж совсем изъять главу о духовном развитии из программы занятий международного конгресса, нежели подвергаться риску выслушивания каких-то аттестаций от людей, которые, быть может, и мундира-то порядком носить не умеют!

Другой пример подобной же скабрезности представляет вопрос о неприкосновенности или общедоступности домашнего очага. В некоторых странах вопрос этот разрешается в пользу неприкосновенности, в других — в пользу общедоступности, но, во всяком случае, то или другое решение имеет известные практические последствия, которые отражаются на народной жизни и выражаются в форме фактов и цифр. Статистика была бы недостойна имени науки, если б она не занялась этими цифрами и фактами и не занесла их в графы свои. И вот опять выступает на сцену красноречие цифр, опять является возможность аттестации и соединенных с нею опасений, сохранил ли иностранный гость благодарное воспоминание о нашем гостеприимстве или не сохранил? Ужели же из-за какой-нибудь статистики, единственно ради ее полноты, мы станем мучиться сомнениями? Risum teneatis, amici?[118] Гораздо проще и эту главу изъять из программы занятий конгресса — и дело с концом.

Третий, еще более скабрезный вопрос представляют публичные сборища, митинги и т. д.,

---

[118] Сноски: 118
Не смешно ли? (*фр.*)

которые также известным образом отражаются на народной жизни и, конечно, не меньше питейных домов имеют право на внимание статистики. Не изъять ли, однако ж, и его? Потому что ведь эти статистики — бог их знает! — пожалуй, таких сравнительных таблиц наиздают, что и жить совсем будет нельзя!

Словом сказать, вопрос за вопросом, их набралось такое множество, что когда поступил на очередь вопрос о том, насколько счастлив или несчастлив человек, который, не показывая кукиша в кармане, может свободно излагать мнения о мероприятиях становых приставов (по моему мнению, и это явление имеет право на внимание статистики), то Прокоп всплеснул руками и так испугался, что даже заговорил по-французски.

— Финисé! — усовещевал он меня. — Пожалуйста финисé! Ну что там! Чего там? Еще услышат — что хорошего!

И вдруг я получаю через Прокопа печатное приглашение лично участвовать в VIII Международном статистическом конгрессе в качестве делегата от рязанско-тамбовско-саратовского клуба! Разумеется, что при одном виде этого приглашения у меня «в зобу дыханье сперло»;

сомнения исчезли, и осталось лишь сладкое сознание, что, стало быть, и я не лыком шит, коль скоро иностранные гости вспомнили обо мне!

Ослепление мое было так велико, что я не обратил внимания ни на странность помещения конгресса, ни на несообразность его состава, ни на загадочные поступки некоторых конгрессистов, напоминавшие скорее ярмарочных героев, нежели жрецов науки. Я ничего не видел, ничего не помнил. Я помнил только одно: что я не лыком шит и, следовательно, не плоше всякого другого вольнопрактикующего статистика могу иметь суждение о вреде, производимом вольною продажей вина и проистекающем отсюда накоплении недоимок.

Конгресс помещался в саду гостиницы Шухардина — это была первая странность. В самом деле, мы, которые так славимся гостеприимством, ужели мы не могли найти более приличного помещения — хотя бы, например, в залах у Марцинкевича, которые, кстати, летом совершенно пусты?

Вторая странность заключалась в том, что, кроме Кеттле, Левассера, Фарра, Энгеля и Корренти, которым меня тотчас же представил Прокоп, все остальные члены конгресса были в фураж-

ках с красными околышами. То были делегаты от Лаишева, Чухломы, Кадникова и проч. Судите, какой же мог быть международный конгресс, в котором главная масса деятелей явно тяготела к Ливнам, Карачеву, Обояни и т. д.?

Третья странность: Кеттле кстати и некстати восклицал: «Fichtre sapristi! entre de biche!»[119] Фарр выказывал явную наклонность к очищенной; Энгель не переставал тянуть пиво, а Левассер, едва явился на конгресс, как тотчас же взял в руки кий и сделал клапштосом желтого в среднюю лузу!..

Четвертая странность: шухардинские половые не только не обнаруживали никакого благоговения, но даже шепнули мне на ухо, не пожелают ли иностранные гости послушать арфисток…

Но, повторяю, ничто в то время не поразило меня: до такой степени я был весь проникнут мыслью, что я не лыком шит.

Я пришел на конгресс первый, но едва успел углубиться в чтение «Полицейских ведомостей», как услышал прямо у своего уха жужжание мухи. Отмахнулся рукой один раз, отмахнулся в другой, наконец, поднял голову… О, чудо! Передо мной

---

[119] Сноски: 119
Черт возьми! Ко всем чертям! (*фр.*)

стоял Веретьев! Веретьев, с которым я провел столько приятных минут в «Затишье»!

— Веретьев! Боже! Какими судьбами! — воскликнул я, простирая руки.

— Делегат от Амченского уезда, рекомендуюсь! — отвечал он, бросая искоса взгляд на накрытый в стороне стол, обремененный всевозможными сортами закусок и водок.

— Как? Статистик? Браво!

Вместо ответа Веретьев зажужжал по-комариному, но так живо, так натурально, что передо мной разом воскресло все наше прошлое.

— А Маша?.. Помнишь? — спросил я в неописанном волнении.

— Теперь, брат, она уж не Маша, а целая Марьища…

— Позволь, но ведь Маша утопилась!

— Это все Тургенев выдумал. Топилась, да вытащили. После вышла замуж за Чертопханова, вывела восемь человек детей, овдовела, и теперь так сильно штрафует крестьян за потраву, что даже Фет и тот от нее бегать стал![120]

— Скажите пожалуйста! Но что же мы стоим!

---

[120] Сноски: 120

По последним известиям, факт этот оказался неверным: по крайней мере, И. С. Тургенев совершенно иначе рассказал конец Чертопханова в «Вестнике Европы» за ноябрь 1872 г. — *Примеч. авт.*

Человек! Рюмку водки! Большую!

Веретьев потупился.

— Не надо! — произнес он угрюмо. — Зарок дал!

— Как, ты? Не может быть!

Не успел я докончить свое восклицание, как в сад вошли… молодой Кирсанов и Берсенев! Кирсанов был одет в чистенький вицмундир; из-под жилета виднелась ослепительной белизны рубашка; галстух на шее был аккуратно повязан; под мышкой он крепко стискивал щегольской портфель. За ним своей мечтательной милой походкой с перевальцем плелся Берсенев, и тоже держал под мышкой довольно поношенный портфель, который вдобавок постоянно у него выползал. Как ни неожиданна была для меня эта встреча, но, взглянувши на Кирсанова поближе, я без труда понял, что, при скромности и аккуратности этого молодого человека, ему самое место в статистике. Несколько более смутило меня появление Берсенева. Это человек мечтательный и рыхлый, думалось мне, у которого только одно в мысли: идти по стопам Грановского. Но идти не самому, а чтоб извозчик вез. Вот и теперь на нем и рубашка криво сидит, и портфель из-под мышки ползет… ну где ему усидеть в статистике!

— Делегат от Ефремовского уезда, — рекомендовался между тем Кирсанов, подавая мне руку как старому знакомому.

— Очень рад! Очень рад! Уже статистик! Давно ли?

— Месяца два назад. Я должен, впрочем, сознаться, что в нашем уезде статистика еще не совсем в порядке, но надеюсь, что при содействии начальника губернии, успею, в непродолжительном времени, двинуть это дело значительно вперед.

— Ваш батюшка? Дяденька?

— Благодарю вас. Батюшка, слава богу, здоров и по-прежнему играет на виолончели свои любимые романсы. Дядя скончался, и мы с папашей ходим в хорошую погоду на его могилу. Феничку мы пристроили: она теперь замужем за одним чиновником в Ефремове, имеет свой дом, хозяйство и, по-видимому, очень счастлива.

— Да… но скажите же что-нибудь о себе!

— Благодарю вас, я совершенно счастлив. Полтора года назад женился на Кате Одинцовой и уже имею сына. Поэтому получение места было для меня как нельзя более кстати. Знаете, хотя у нас и довольно обеспеченное состояние, но когда имеешь сына, то лишняя тысяча рублей

весьма не вредит.

— Базаров… помните?

Кирсанова передернуло при этом вопросе, и он довольно сухо ответил мне:

— Мы с папашей и Катей каждый день молимся, чтобы Бог простил его заблуждения!

— Ну… а вы? — обратился я к Берсеневу, заметив, что оборот, который принял наш разговор, не нравится Кирсанову.

— Я… вот с ним… — лениво пробормотал он, как бы не отдавая даже себе отчета, от кого или от чего он является делегатом.

«Ну, брат, не усидеть тебе в статистике!» — мысленно повторил я и вскинул глазами вперед. О, ужас! Передо мной стоял Рудин, а за ним, в некотором отдалении, улыбался своею мягкою, несколько грустной улыбкою Лаврецкий.

— Рудин! Да вы с ума сошли! Ведь вы в Дрездене на баррикадах убиты! — воскликнул я вне себя.

— Толкуйте! Это все Тургенев сказки рассказывает! Он, батюшка, четыре эпизода обо мне написал, а эпизод у меня самый простой: имею честь рекомендоваться — путивльский делегат. Да-с, батюшка, орудуем! Возбуждаем народ-с! Пропагандируем права человека-с! Воюем с губернатором-с!

— И очень дурно делаете-с, — заметил наставительно Кирсанов, — потому что, строго говоря, и ваши цели, и цели губернатора — одни и те же.

— Толкуй по праздникам! Ведь ты, брат, либерал! Я знаю, ты над передовыми статьями «Санкт-Петербургских ведомостей» слезы проливаешь! А по-моему, такими либералами только заборы подпирать можно!

— Лаврецкого… не забыли? — прозвучал около меня задумчивый, как бы вуалированный голос.

Но, не знаю почему, от Лаврецкого, этого истого представителя «Дворянского гнезда», у меня осталось только одно воспоминание: что он женат.

— Лаврецкий! Вы?! как здоровье супруги вашей?

— Благодарю вас. Она здорова и здесь со мною, в Петербурге. Знаете, здесь и Изомбар и Андрие… ну а в нашем Малоархангельске… Милости просим к нам; мы в «Hôtel d'Angleterre»; жена будет очень рада вас видеть.

— Ах, боже мой! Лаврецкий… вы! Лиза… помните?

— Лизавета Михайловна скончалась. Признаюсь вам, это была большая ошибка с моей стороны. Увлечь молодую девицу, не будучи вполне

уверенным в своей свободе, — как хотите, а это нехорошо! Теперь, однако ж, эти увлечения прошли, и в занятиях статистикой…

Но этому дню суждено было сделаться для меня днем сюрпризов. Не успел я выслушать исповедь Лаврецкого, как завидел входящего Марка Волохова. Он был непричесан, и ногти его были нечищены.

— Волохов! И вы здесь!

— А вы как об нас полагали?

— Да… но вы… делегат!..

— Ну да, делегат от Балашовского уезда… что ж дальше! А вы, небось, думали, что я испугаюсь! Я, батюшка, ничего не испугаюсь! Мне, батюшка, черт с ними — вот что!

Сказав это, он отвернулся от меня и, заметив Рудина, процедил сквозь зубы:

— Балалайка бесструнная!

В сад хлынула вдруг целая толпа кадыков в фуражках с красными околышами и заслонила собой моих знакомцев. Мне показалось, что в этой толпе мелькнула даже фигура Собакевича. Через полчаса явился Прокоп в сопровождении иностранных гостей, и заседание началось.

Первое заседание прошло шумно и весело. Члены живо разобрали между собой подлежащие

разработке предметы и организовались в отделения; затем определен был порядок заседаний (число последних ограничено семью). В заключение Энгель очень приятно изумил, выпив бутылку пива и сказав по-русски:

— Ишо одна бутилк!

На что Фарр очень метко и любезно рипостировал:

— И мене ишо один румк!

Организовавшись как следует, мы заключили наш avant-congrès[121], съевши по порции ботвиньи и по порции поросенка. При этом Прокоп очень любезно извинился, что на сей раз, по множеству других организаторских занятий, еда ограничивается только двумя блюдами, а Левассер чрезвычайно польстил нашему национальному самолюбию, сказав:

— Mais non! mais pas du tout! Mais donnez-moi tous les jours du parasseune — et vous ne m'entendrez jamais dire: assez![122]

Мы встали из-за стола сытые и довольно пьяные, постановив на прощание:

---

[121] Сноски: 121

Предсъездовское собрание (*фр.*).

[122] Сноски: 122

Что вы, что вы! Давайте мне каждый день поросенка — и вы никогда не услышите от меня: «Довольно!» (*фр.*)

1. Ни к каким издержкам по устройству закусок и обедов иностранных гостей не привлекать;

2. Интернировать иностранных гостей в chambres garnies на Мещанской с предоставлением им ежедневно по полпорций чаю или кофею утром и по стольку же вечером, а издержки на этот предмет отнести на счет делегатов от градов, весей и клубов;

3. Завтрашний день начать осмотром Казанского собора, затем вновь собраться к Шухардину, где, после заседаний, имеет быть обеденный стол (menu: селянка московская, подовые пироги, осетрина по-русски, грибы в сметане, жареный поросенок с кашей и малина со сливками). После обеда — катанье на извозчиках.

Дорогой, пока мы шли с Прокопом домой, он был в таком энтузиазме, что мне большого труда стоило усовестить его.

— Да, брат, эти будут почище братьев-славян! — говорил он. — Заметил ли ты, как этот бестия Левассер: la république, говорит, il n'y a que ça![123] Я так и остолбенел!

— А знаешь ли, какая мне мысль пришла в голову: как только все дела здесь прикончим,

---

[123] Сноски: 123
Республика — и только! (*фр.*)

покажем-ка мы иностранным гостям Москву!

— А что ты думаешь! Ведь следует!

— Еще бы! Ну, разумеется, экстренный train[124] на наш счет; в Москве каждому гостю нумер в гостинице и извозчик; первый день — к Иверской, оттуда на политехническую выставку, а обедать к Турину; второй день — обедня у Василия Блаженного и обед у Тестова; третий день — осмотр Грановитой палаты и обед в Новотроицком. А потом экстренный train к Троице, в Хотьков… Пение-то какое, мой друг! Покойница тетенька недаром говаривала: «Уж и не знаю: на земле ли я или небесах!» Надо им все это показать!

— Бесподобно! То-то я давеча сижу и думаю, что чего-то недостает! Ан вон оно что: в Москву!

— Ты одно-то подумай: здешние ли поросята или московские!

— Где уж здешним!

— Или опять осетрина! Ну где ж ты здесь такой осетрины достанешь, чтобы целое звено — сплошь все жир!

— Сказано: в Москву — и дело с концом!

На другой день мы все, кроме Марка Волохова, собрались в Казанский собор. Причем я не без

---

[124] Сноски: 124
Поезд (*фр.*).

удивления заметил, что Левассер очень отчетливо положил три земных поклона и приложился к иконе.

— Смотри-ка! Левассер-то по-нашему молится! — толкнул меня в бок Прокоп, — Et vous… comme nous?[125] — прибавил он, обращаясь к гостю.

Но удивлению нашему уже совсем не стало пределов, когда Левассер (вероятно, застигнутый врасплох) совершенно чисто по-русски ответил:

— Да-с, моя маменька от этой иконы в молодости исцеление получила…

Но вслед за тем он вдруг спохватился, хлопнул себя по ляжке и залопотал:

— Ah, sapristi! Je crois qu'à force d'entendre parler russe, je commence moi-même à parler cette langue comme ma langue maternelle! Mais oui, messieurs! Mais comment donc! Ah? fichtre, prosternons-nous! Adorons, ventre de biche! La tolérance en matiér. De religion… tolerantia et prudentia… Je ne vous dis

---

[125] Сноски: 125
И вы… как мы? (*фр.*)

que ça[126].

И представьте себе: как ни груб был этот факт самоуличения, но даже он не открыл наших глаз — до такой степени мы были полны сознанием, что и мы не лыком шиты!

Второе заседание началось с объявления Кеттле, что он пятьдесят лет занимается статистикой и нигде не встречал такого горячего сочувствия к этой науке, как в России. «Поэтому, — присовокупил он любезно, — я просто прихожу к заключению, что Россия есть настоящее месторождение статистики...»

— Messieurs, un verre de Champagne![127] Милости просим! Человек! Шампанского! Господин Кеттле, ваше здоровье! Votre santé! Vous acceptez, n'est-ce-pas? Du Champagne![128]

---

[126] Сноски: 126

Ах, черт побери! Я так много слышу русской речи, что, кажется, я сам начинаю говорить на этом языке, как на своем родном. Клянусь, господа! Уверяю вас! Ах, черт возьми... преклонимся! Воздадим поклонение, черт побери! Терпимость в деле религии... терпимость и благоразумие... Вот что я вам скажу (*фр.*).

[127] Сноски: 127

Господа! Бокал шампанского! (*фр.*)

[128] Сноски: 128

Ваше здоровье! Вы выпьете, не правда ли? Шампанского! (*фр.*)

— Mais… j'en prendrai avec plaisir[129], скромно отвечал маститый старец, но скромность эта была так полна чувства собственного достоинства, что мы сразу поняли, что не мы почтили старца, но старец почтил нас.

Когда бокалы были осушены, встал Фарр и вынул из бокового кармана лист разграфленной бумаги. Этот лист он показал всем делегатам и объяснил, что такова форма для производства народной переписи, доставшаяся VIII Международному конгрессу в наследие от такового ж, имевшего свое местопребывание в Гааге. Но в форме этой он, Фарр, замечает, однако ж, один очень важный недостаток, заключающийся в том, что при исчислении народонаселения по занятиям и ремеслам в ней опущен довольно многочисленный класс людей, известный под именем шпионов.

Я взглянул на Прокопа: он совершенно посоловел и дико озирался. К счастью, половые куда-то разошлись, так что он скоро оправился и довольно спокойно произнес:

— С своей стороны, я полагал бы этот неприятный разговор оставить. Неужто, господа, у вас

---

[129] Сноски: 129
С удовольствием (*фр.*).

за границей и разговоров других нет!

И он уже предложил приступить к следующему, по порядку, предмету суждений, как встал Левассер и, по существу, решил дело в пользу Прокопа.

— Messieurs, — сказал он, — l'espionnage a été reconnu de tous temps comme l'un des plus vifs stimulants de la vie politique. Déjà l'antique Jéroboam promettait des scorpions à ses peuples, ce qui, traduit en langue vulgaire, ne saurait signifier autre chose qu'espions. Ensuite, nous trouvons dans Aristophane des preuves irrecusables que les Grecs ne connaissaient que trop ce moyen gouvernemental et qu'ils donnérent aux espions le surnom sonore des sycophantes. Mais c'est aux césars de l'antique Rome que la science de l'espionnage est redevable de son plus grand developpement. Au dire de Tacite, du temps de Néron, de Caligula et autres il n'y avait presque pas un seul homme dans tout l'Empire qui ne fut espion ou ne desirat de l'etre. Ces majestueux romains, qui ne commencaient pas autrement leurs blagues qu'en disant: «civis Romanus sum», se sont fait au métier de l'espionnage comme s'ils etaient les plus majestueux des chenapans. Enfin, notre belle France est la pour attester que l'espionnage n'est jamais de trop dans un pays dont la vie politique est a son

apogee. Chez nous, messieurs, presque tout le monde s'entreespionne, ce qui n'empeche pas la vie sociale d'aller son train. La solidarité de l'espionnage fait qu'on n'en ressent presque pas l'inconvenient. Voici l'historique de ce phénoméne social qui porte le nom malsonnant de l'espionnage. Mais si nous constatons ici les résultats pratiques du métier, nous devons en même temps constater que jamais ces résultats ne pourraient être ni si grands, ni si accomplis, si les espions s'avisaient d'agir ouvertement... la, le coeur sur la main! Oui, messieurs, c'est une occupation qui ne saurait être pratiquée que sous le voile du plus grand mystére! Otez le mystére — et adieu l'espionnage. Il n'est plus — et avec lui tombe tout le prestige de la vie politique. Point d'espionnage — point d'accusations, point de procés, point de proscriptions! La vie politique reste, pour ainsi dire, en suspens. Tout passe, tout tombe, tout s'évanouit. Voilà pourquoi je ne partage pas l'opinion, exprimée par mon honorable collégue, M-r Farr. Je comprends trés bien sa pensée: il est par trop champion de la statistique pour ne pas gémir en voyant que dette science conserve encore des points inexpliqués et obscurs. Mais Dieu, dans sa divine sagesse, en a jugé autrement. Il a voulu que la statistique conserve à jamais quelques points inachevés pour que nous

autres, humbles travailleurs de la science, ayons toujours quelque chose à eclaircir ou à achever. Aussi je conclus, en disant: messieurs! nous avons toute une rubrique, où se classent les chenapans et autres gens sans foi ni loi! Cette rubrique n'est-elle pas assez large pour que les espions y trouvent leur place naturelle? Oh, messieurs, classons les y hardiment, et puis disons leurs: allez, gens sans aveu et faites votre vil métier! la statistique ne veut pas vous connaitre![130]

Речь эта произвела эффект необычайный. Крики: «Bravo! Vive la France!»[131] (Прокоп, по обыкновению, ошибся и крикнул: Vive Henri IV![132])» — неслись со всех сторон. Сейчас же все побежали к закусочному столу и буквально осадили его.

— Je crois que ça s'appelle lassassine? Lassassine

---

[130] Сноски: 130

Шпионаж был признан во все времена одним из самых живых стимулов политической жизни. Уже древний Иеробоам обещал скорпионы своим народам, что в переводе на обыкновенный язык не могло значить ничего другого, как шпионов. Далее мы находим у Аристофана неопровержимые доказательства, что греки очень признавали это средство управления и что они дали шпионам звучное прозвище сикофантов. Но лишь в эпоху цезарей античного Рима наука шпионажа достигла наибольшего своего расцвета. По словам Тацита, со времен Нерона, Калигулы и других не было почти ни одного человека во всей империи, который не был бы шпионом или не желал бы им быть. Эти величественные римляне, которые не начинали своей хвастливой болтовни иначе, как говоря: «Я, римский гражданин», достигли в шпионаже такой высоты, как если бы они были величайшими из мошенников. Наконец, наша прекрасная Франция свидетельствует, что шпионаж никогда не бывает чрезмерным в стране, политическая

жизнь которой достигает своего апогея. У нас, господа, почти все шпионят друг за другом, что не мешает общественной жизни идти своим путем. Так как шпионят все, то в этом занятии почти не чувствуют ничего неприличного. Приведу историческую справку о том социальном явлении, которое носит неблагозвучное имя шпионажа. Но если мы говорим о практических результатах этого ремесла, мы должны в то же время констатировать, что никогда бы эти результаты не могли быть ни такими большими, ни такими исчерпывающими, если бы шпионы начали действовать открыто… на виду, не маскируясь. Да, господа, это деятельность, которой можно заниматься только под покровом величайшей тайны! Отнимите тайну — и прощай шпионаж. Его более нет — а вместе с ним падает весь престиж политической жизни. Нет шпионажа — нет обвинений, нет процессов, нет преследований! Политическая жизнь, так сказать, замирает. Все проходит, все падает, все бездействует. Вот почему я не разделяю мнения, выраженного моим почтенным коллегой, господином Фарром. Я очень хорошо понимаю его мысль: он слишком большой приверженец статистики, чтобы не горевать, что эта наука содержит еще необъяснимые и темные места. Но Бог, в своей божественной мудрости, судил об этом иначе. Он захотел, чтобы статистика всегда имела некоторые необработанные данные для того, чтобы мы, смиренные работники науки, всегда имели возможность что-либо разъяснить или закончить. Итак, я заключаю, говоря: Господа! У нас есть целая графа, в которую мы относим мошенников и прочих людей без религии и нравственности. Разве эта графа не столь обширна, чтобы в ней не нашли себе естественного места шпионы? О, господа, поместим их смело туда и потом скажем: «Идите, бесчестные люди, и творите ваше низкое ремесло! Статистика не хочет вас знать!»

[131] Сноски: 131

Браво! Да здравствует Франция! (*фр.*)

[132] Сноски: 132

Да здравствует Генрих Четвертый! (*фр.*)

et parasseune — il faut que je me souvienne de ça![133] — сказал Левассер, держа на вилке кусок маринованной лососины.

— Oh, mangez, messieurs![134] — упрашивал какой-то делегат (кажется, ветлужский). — Человек! Лососины принесите, пожалуйста, mangez!

Заседание кончилось; начался обед.

Никогда я не едал таких роскошных подовых пирогов, как в этот достопамятный день. Они были с говядиной, с яйцами и еще с какой-то дрянью, в которой, впрочем, и заключалась вся суть. Румяные, пухлые, они таяли во рту и совершенно незаметно проходили в желудок. Фарр съел разом два пирога, а третий завернул в бумажку, сказав, что отошлет с попутчиком в Лондон к жене.

— La Russie — voilà où est la véritable patrie de la statistique![135] — в экстазе повторил Кеттле.

После обеда — езда на извозчиках, а окончание дня в «Эльдорадо».

— C'est ici que le sort du malheureux von-Zonn a

---

[133] Сноски: 133

Кажется, это называется лососиной? Лососина и поросенок — нужно это запомнить! (*фр.*)

[134] Сноски: 134

Кушайте, господа! (*фр.*)

[135] Сноски: 135

Россия — вот истинная родина статистики! (*фр.*)

été décidé! Ah, soyons sur nos gardes![136] — вздохнул Левассер, что не помешало ему сделать честь двум девицам, предложив им по рюмке коньяку.

На третий день — осмотр Исакиевского собора, заседание у Шухардина и обед там же (menu: суп с потрохами, бараний бок с кашей, жареные каплуны и малиновый дутик со сливками); после обеда — катанье на яликах по Неве.

Исаакиевский собор произвел на гостей самое приятное впечатление.

— C'est fort, c'est solide, c'est riche, c'est ébouriffant![137] — беспрестанно повторял Левассер. — Et ça doit coûter un argent fou![138]

Кеттле же до того умилился духом, что произнес:

— Ah, si je n'etais pas catholique romain, je voudrais être Catholique grec![139]

На что Прокоп, который с некоторого времени получил настоящую манию приглашать иновер-

---

[136] Сноски: 136

Здесь была решена участь несчастного фон Зона! Ах, будем осторожны! (*фр.*)

[137] Сноски: 137

Он огромный, внушительный, роскошный, поразительный! (*фр.*)

[138] Сноски: 138

Он, вероятно, обошелся чудовищно дорого! (*фр.*)

[139] Сноски: 139

Ах, не будь я католиком, я хотел бы быть православным! (*фр.*)

цев к познанию света истинной веры, поспешил заметить:

— А что же, ваше превосходительство, с легкой бы руки!

Заседание началось чтением доклада делегата от тульско-курско-ростовского клуба, по отделению нравственной статистики, о том, чтобы в ведомость, утвержденную собиравшимся в Гааге конгрессом, о числе и роде преступлений была прибавлена новая графа для включения в нее так называемых «жуликов» (jouliks).

— «Jouliks» — je ne comprends pas ce mot[140] — со свойственною ему меридиональною живостью протестует Левассер.

— Ce n'est précisement ni un voleur, ni un escroc; c'est un individu qui tient de l'un et l'autre. A Moscou vous verrez cela, messieurs[141], — объясняет докладчик.

Встает Фарр и опять делает скандал. Он утверждает, что заметил на континенте особенный вид проступков, заключающийся в вскрытии чужих писем.

---

[140] Сноски: 140

«Жулик!» — я не понимаю этого слова! (*фр.*)

[141] Сноски: 141

В точности это не вор и не мошенник; это индивид, в котором содержится и то и другое. В Москве вы увидите их, господа (*фр.*).

— Не далее как неделю тому назад, будучи в Париже, — присовокупляет он, — я получил письмо от жены, видимо подпечатанное. — Поэтому требует прибавки еще новой графы.

Тетюшский делегат поднимается с своего места и возражает, что это неудобно.

— Why?[142] — вопрошает Фарр.

— Неудобно — и все тут! И разговаривать нечего! За такие вопросы нашего брата в кутузку сажают!

— Shocking![143] — восклицает Фарр.

Тогда требует слова Левассер.

— Pardon! si je comprends la pensée de monsieur, — начинает он, указывая на тетюшского делегата, — elle peut être formulée ainsi: oui, le secret des lettres particuliéres est inviolable (bravo! bravo! oui! oui! inviolable!) — c'est la régle générale; maisil est des raisons de bonne politique, qui nous forcent quelquefois la main et nous obligent d'admettre des exceptions même aux régles que nous reconnaissons tous pour justes et irréprochables. C'est triste, messieurs, mais c'est vrai. Envisagée sous ce point de vtiec. la violation du secret des lettres

---

[142] Сноски: 142
Почему? (*англ.*)

[143] Сноски: 143
Невоспитанность! (*англ.*)

particuliéres se présente à nous comme un fait de haute convenance, qui n'a rien de commun avec le crime ou la contravention. L'Angleterre, grâce à sa position insulaire, ignore beaucoup de phénomènes sociaux, qui sont non seulement tolérés par le droit coutumier du continent, mais qufl en font pour ainsi dire partie. Ce qui est crime ou contravention' en Angleterre, peut devenir une excellente mesure de salut public sur je continent. Aussi, je vote avec m-r de Tétiousch pour l'ordre du jour pur et simple[144].

— Bravo! Ура! Человек! Шампанского! Мосье Левассер! Votre santé![145]

Не успели выпить за здоровье Левассера, как Прокоп вновь потребовал шампанского и провозгласил здоровье Фарра.

— Сознайтесь, господин Фарр, что вы согреши-

---

[144] Сноски: 144

Извините! если я правильно понимаю мысль господина, она может быть формулирована следующим образом: да, тайна частной корреспонденции неприкосновенна (браво! браво! да! да! неприкосновенна!) — это общее правило, — но существуют соображения здравой политики, которые в отдельных случаях принуждают нас и заставляют допускать исключения даже для правил, которые мы все признаем справедливыми и нерушимыми. Это печально, господа, но это так. Рассматриваемое с этой точки зрения нарушение тайны частной корреспонденции представляется нам требованием высшего порядка, которое не имеет ничего общего с преступлением или с нарушением закона. Англия, благодаря своему островному положению, не знает многих социальных явлений, которые не только терпимы по обычному праву континента, но которые составляют, так сказать, часть этого права. То, что является преступлением или нарушением закона в Англии, может стать превосходной мерой общественной

защиты на континенте. Итак, я голосую вместе с господином из Тетюш за простой переход к порядку дня (*фр.*).

[145] Сноски: 145

Ваше здоровье! (*фр.*)

ли немножко! — приветствовал он английского делегата с бокалом в руках. — Потому что ведь ежели Англия, благодаря инсулярному положению, имеет многие инсулярные добродетели, так ведь и инсулярных пороков у ней немало! Жадность-то ваша к деньгам в пословицу ведь вошла! А? Так, что ли? Господа! Выпьем за здоровье нашего сотоварища, почтеннейшего делегата Англии!

Разумеется, суровый англичанин успокоился и выпил разом два стакана.

Но за обедом случился скандал почище: бараний бок до такой степени вонял салом, что ни у кого не хватило смелости объяснить это даже особенностями национальной кухни. Хотя же поданные затем каплуны были зажарены божественно, тем не менее конгресс единогласно порешил: с завтрашнего дня перенести заседания в Малоярославский трактир.

Четвертый день — осмотр Петропавловского собора, заседание и обед в Малоярославском трактире (menu: ботвинья с малосольной севрюжиной, поросенок под хреном и сметаной, жареные утки и гурьевская каша); после обеда прогулка пешком по Марсову полю.

Петропавловским собором иностранные го-

сти остались довольны, но, видимо, спешили кончить осмотр его, так как Фарр, указывая на крепостные стены, сказал:

— В сей местности воздух есть нездоров!

На что, впрочем, Прокоп тут же нашелся возразить:

— Для тех, господин Фарр, у кого чисто сердце, воздух везде здоров!

В четвертом заседании я докладывал свою карту, над которой работал две ночи сряду (Бог помог мне совершить этот труд без всяких пособий!) и по которой наглядным образом можно было ознакомиться с положением трактирной и кабацкой промышленности в России. Сердце России, Москва, было, comme de raison[146], покрыто самым густым слоем ярко-красной краски; от этого центра, в виде радиусов, шли другие губернии, постепенно бледнея и бледнея по мере приближения к окраинам. Так что Новая Земля только от острова Колгуева заимствовала слабый бледно-розовый отблеск. В заключение я потребовал, чтобы подобные же карты были изданы и для других стран, так чтобы можно было сразу видеть, где всего удобнее напиться.

---

[146] Сноски: 146
Разумеется (*фр.*).

— Ah, mais savez-vous que c'est bigrement serieux, le travail que vous nous presentez la![147] — воскликнул Левассер, рассматривая мою карту.

— Prachtvoll![148] — одобрил Энгель.

— Beautiful![149] — присовокупил Фарр.

— Benissime![150] — проурчал Корренти.

— Et remarquez bien que monsieur n'a employe que deux nuits pour commencer et achever ce beau travail[151], — отозвался Кеттле, который перед тем пошептался с Прокопом.

— Две ночи — это верно, — подтвердил Прокоп, — и без всякого руководства! Просто взял лист бумаги и с божьею помощью начертил!

Тогда все бросились меня обнимать и целовать, что под конец сделалось для меня даже обременительным, потому что делегаты вздумали качать меня на руках и чуть-чуть не уронили

---

[147] Сноски: 147
Ах, ведь вы представляете нам здесь чертовски серьезный труд! (*фр.*)

[148] Сноски: 148
Великолепно! (*фр.*)

[149] Сноски: 149
Прекрасно! (*фр.*)

[150] Сноски: 150
Превосходно! (*фр.*)

[151] Сноски: 151
И заметьте, что господин затратил на этот прекрасный труд только две ночи (*фр.*).

на пол. Тем временем наступил адмиральский час, Прокоп наскоро произнес: «Господа, милости просим хлеба-соли откушать!» — и повел нас в столовую, где прежде всего нашим взорам представилась севрюжина… но какая это была севрюжина!

— Вот так севрюжина! — совершенно чисто произнес по-русски Кеттле.

Но, увы, нас и на этот раз не вразумило это более нежели странное восклицание иностранного гостя. До того наши сердца были переполнены ликованием, что мы не лыком шиты!

После обеда, во время прогулки по Марсову полю, Левассер ни с того ни с сего вступил со мной в очень неловкий дружеский разговор. Во-первых, он напрямик объявил, что ненавидит войну по принципу и что самый вид Марсова поля действует на него неприятно.

— А мы, — ответил я довольно сухо, — гордимся этим полем.

— Oui, je comprends ça: la fierté nationale — nous autres, Français, nous en savons quelque chose! Mais, quant a moi — je vous avoue que ça me porte sur les

nerfs![152]

Во-вторых, постепенно раскрывая передо мной свою душу, он признался, что всегда был сторонником Парижской коммуны и даже участвовал в разграблении дома Тьера.

— Ma femme est une *pétroleuse* — je ne vous dis que ça![153] — прибавил он грустно.

В-третьих, он изъявил опасение, что за ним следят; что клевета и зависть преследуют его даже в снегах России; что вот этот самый Фарр, который так искусно притворяется англичанином, есть не что иное, как агент Тьера, которому нарочно поручено гласно возбуждать вопросы о шпионах, а между тем под рукой требовать выдачи его, Левассера. В заключение он просил меня посмотреть по сторонам и удостовериться, нет ли поблизости полицейского.

Я в смущении исполнил его просьбу, но так как мы стояли на самой средине поля, и притом начало уже смеркаться, то полицейские представлялись рассеянными по окраинам в виде

---

[152] Сноски: 152

Да, понимаю: национальная гордость, — мы, французы, тоже не чужды ей. Но, что касается меня, признаюсь — это действует мне на нервы! (*фр.*)

[153] Сноски: 153

Моя жена поджигательница этим все сказано (*фр.*).

блудящих огоньков. Тем не менее я поспешил успокоить моего нового друга и заверить его, что я и Прокоп сделаем все зависящее…

— Ah, quant à vous — vous avez l'âme sensible, je le vois, je le sens, j'en suis sûr! Mais quant à monsieur votre ami — permettez moi d'en douter![154] — воскликнул он, с жаром сжимая мою руку.

К сожалению, я должен был умолкнуть перед замечанием Левассера, потому что, говоря по совести, и сам в точности не знал, есть ли у Прокопа какая-нибудь душа. Черт его знает! Может быть, у него только фуражка с красным околышем — вот и душа!

Во всяком случае, признания Левассера произвели на меня самое тяжелое впечатление. Коммуналист! Жена петрольщица! И черт его за язык дергал соваться ко мне с своими признаниями! Поэтому первым моим движением было убедить его познать свои заблуждения, и я бойко и горячо принялся за выполнение этой задачи, как вдруг, среди самого разгара моего красноречия, он зашатался-зашатался и разом рухнулся на песок! Тут только я догадался, что он пьян

---

[154] Сноски: 154

О, что касается вас — у вас чувствительная душа, я это вижу, я это чувствую, я в этом уверен! Но что касается вашего друга — позвольте мне усомниться в этом! (*фр.*)

в последнем градусе и что, следовательно, все его признания были не что иное, как следствие привычки блягировать[155], столь свойственной его соотечественникам! Признаюсь, даже открытие Америки не подействовало бы на меня так благотворно, как эта неожиданная развязка, разом выведшая меня из затруднительнейшего положения!

Пятый день — осмотр домика Петра Великого; заседание и обед в Малоярославском трактире (menu: суточные щи и к ним няня, свиные котлеты, жаркое — теленок, поенный одними сливками, вместо пирожного — калужское тесто). После обеда каждый удаляется восвояси и ложится спать. Я нарочно настоял, чтоб в ordre du jour[156] было включено спанье, потому что опасался новых признаний со стороны Левассера. Шут его разберет, врет он или не врет! А вдруг спьяну ляпнет, что из Тьерова дома табакерку унес!

Осмотр домика великого преобразователя России удался великолепно. Левассер о вчерашнем разговоре на Марсовом поле ни полслова. Напро-

---

[155] Сноски: 155
От *фр.* blaguer — приврать, прихвастнуть.

[156] Сноски: 156
Порядок дня (*фр.*).

тив того, пришел как встрепанный и сейчас же воскликнул:

— C'en était un de tzar! Fichtre! Quel genre![157]

— Das war ein Tzar![158] — глубокомысленно отозвался Энгель.

— It was a tzar![159] — процедил Фарр, щупая постель, на которой отдыхал великий преобразователь.

— Tzarissimo, magnissimo![160] — черт знает на каком языке формулировал свое удивление Корренти.

Старичок Кеттле некоторое время стоял, задумчиво опершись на трость, наконец взволнованным голосом заметил, что и душе Петра была не чужда статистика.

Тогда выступил вперед мой друг Берсенев (из «Накануне») и сказал:

— Позвольте мне напомнить вам, милостивые государи, слова о Петре Великом, сказанные

---

[157] Сноски: 157
Вот это был царь! Черт побери! Какой человек! (*фр.*)

[158] Сноски: 158
Вот это был царь! (*нем.*)

[159] Сноски: 159
Вот это был царь! (*англ.*)

[160] Сноски: 160
Царейший, величайший!

одним из незабвенных учителей моей юности, которые будут здесь как нельзя более у места. Вот эти слова: «Но великий человек не приобщился нашим слабостям! Он не знал, что мы и плоть и кровь! Он был велик и силен, а мы родились малы и худы, нам нужны были общие уставы человечества!» Я сказал, господа![161]

Этим осмотр кончился при громком одобрении присутствующих.

Пятое заседание было посвящено вредным зверям и насекомым. Делегат от Миргородского уезда, Иван Иванович Перерепенко, прочитал доклад о тушканчиках и ввиду *особенного* производимого ими вреда потребовал, чтоб этим животным была отведена в статистике отдельная графа.

Давно я не слыхал такой блестящей импровизации. Тушканчик стоял передо мной как живой. Я видел его в норе, окруженного бесчисленным и вредным семейством; я видел его выползающим из норы, стоящим некоторое время на задних лапках и *вредно* озирающимся; наконец, я видел его наносящим *особенный* вред нашим

---

[161] Сноски: 161

Речь, сказанная профессором Морошкиным на акте Московского университета «Об Уложении и его дальнейшем развитии». — *Примеч. авт.*

полям и поучающим тому же вредных членов своего семейства. Это было нечто поразительное.

Но чему я был рад несказанно — это случаю видеть маститого Перерепенко, о котором я так много слышал от Гоголя. О боже! Как он постарел, осунулся, побелел, хотя, по-видимому, все еще был бодр и всегда готов спросить: «А может, тебе и мяса, небога, хочется?»

— Ну что, как ваше дело с Иваном Никифоровичем? — спросил я его.

Старик грустно махнул рукой.

— Ужели не кончено?

— На днях будет в третий раз слушаться в кассационном департаменте! — ответил он угрюмо.

— Великий боже!

— Сначала слушали в полтавском окружном суде — кассацию подал я; потом перенесли в черниговский суд — кассировал Довгочхун; потом дело перенесли в Харьков — опять кассирую я…

Он на минуту поник головой.

— Я уже не говорю о беспокойствах, — произнес он со слезами в голосе, — но все мое состояние… все состояние пошло… туда! Вы знаете, какие у меня были дыни?

— И что ж?

— Ни в прошлом году, ни в нынешнем я не съел

ни одной! Всё съели адвокаты, хотя урожай был отличнейший! Чтобы не умереть с голоду, я вынужден писать газетные корреспонденции по полторы копейки за строчку. Но и там урезывают!

— Ба! Так это ваша корреспонденция, которая начинается словами: «Хотя наш Миргород в сравнении с Гадячем или Конотопом может быть назван столицею, но ежели кто видел Пирятин…»

Иван Иванович с чувством пожал мне руку.

— Что ж вы, однако, предполагаете делать с вашим процессом?

— Вероятно, его переведут теперь в Изюм, но ежели и изюмский суд откажет мне в удовлетворении, тогда надобно будет опять подавать на кассацию и просить о переводе дела в Сумы… Но я не отступлю!

Иван Иванович так сверкнул глазами, что я совершенно ясно понял, что он не отступит. Он и Неуважай-Корыто. Они не отступят. Они пойдут и в Сумы, и в Острогожск, а когда-нибудь да упекут Довгочхуна — это верно!

Между тем как мы дружески беседовали, на конгрессе поднялся дым коромыслом. Виновником скандала был все тот же несносный

англичанин Фарр, внесший одно из самых эксцентричных предложений, какого можно было только ожидать. Предложение это приблизительно можно было формулировать следующим образом: «Тушканчики — это прекрасно, и так как вред, ими производимый, действительно имеет свойства вреда *особенного*, то нет ничего справедливее, как отвести им и графу *особенную*. Надо, чтоб каждый знал силу врага, с которым имеет дело, а кому же, как не статистике, оказать человечеству услугу приведением в ясность всех зол, его удручающих? Но не одни тушканчики производят *особенный* вред; он, Фарр, знает иной *особенный* вред, гораздо более сильный, о котором статистика не упоминает вовсе, а именно: вред, наносимый неправильными административными распоряжениями. Ввиду несомненной важности и особенности этого вреда, не следует ли и для него отвести особенную графу, которая следовала бы непосредственно за графой о тушканчиках?»

Едва произнес Фарр свою речь, как Левассер не выдержал. Весь бледный, он вскочил с своего места и сказал:

— Те, которые так упорно инсинуируют здесь против правительств, гораздо лучше сделали бы,

если бы внесли предложение о вреде, наносимом переодетыми членами интернационалки!

— А еще полезнее было бы, — хладнокровно возразил Фарр, — привести в ясность вред, производимый переодетыми петролейщиками!

Я до сих пор не могу себе объяснить тайны соперничества, постоянно выказывавшегося между Фарром и Левассером. Быть может, оба они когда-нибудь служили агентами сыскной полиции, и поэтому между ними существовала застарелая вражда. Смятение, которое произвел этот «разговор», было несказанно. Все делегаты заговорили разом. Старик Кеттле встал с места и простер руки в знак мира и любви. Энгель язвительно посматривал на «разговаривающих» и шептал: «Also nun»[162], — как бы ожидая, что вот сейчас подадут шампанского. Корренти равнодушно напевал из «Pifferaro»[163]:

Evviva la Francia!
Evviva la liberte![164]

---

[162] Сноски: 162
Итак (*фр.*).

[163] Сноски: 163
«Свирельщик» (*фр.*).

[164] Сноски: 164
Да здравствует Франция! Да здравствует свобода! (*фр.*)

Но настоящим миротворцем явился Прокоп.

— Господа, — обратился он к спорящим, — прекратите! Пожалуйста, хоть для меня прекратите! Право, мы здесь не для пререканий! Мы всегда рады иностранным гостям и повезем вас в Москву и даже в Нижний, только уж и вы, господа, эти ссоры оставьте! Мы делаем вам удовольствие — и вы нас почтите. Вы, господин Фарр, постоянно задираете. Характер у вас самый несносный. Вы поднимаете такие вопросы, что если б не уважение к иностранным гостям, то вас давно уж следовало бы отправить к мировому. Скажите, разве это приятно? Вы, может быть, думаете, что вы в Англии, — ан нет, вы ошибаетесь, вы в России! У нас нет никакого инсулярного положения, а потому мы ведем свою статистику на свой образец, как бог пошлет. Вот он (*указывает на меня*) сочинил карту питейных домов — чего еще больше! Стыдитесь, сударь! Да и вы, господин Левассер! Вы тоже! Добрый вы малый, а ведь ах как и в вас эта французская жилка играет! Вот господин Энгель: сидит и молчит — чего лучше! Оттого-то немцы вас и побивают! А вы, чуть что не по вас — сейчас и вспыхнули! Порох! Подайте же друг другу руки и не ссорьтесь больше. Стыдно! Мы не маленькие. Нам еще трудов

по горло, завтра уж шестое заседание, а вы словно петухи какие! Человек! Шампанского.

Левассер первый и с удивительнейшею развязностью протянул руку, но Фарр упирался. Тогда мы начали толкать его вперед и кончили, разумеется, тем, что враги столкнулись. Произошло примирение, начались заздравные тосты, поднялся говор, смех — как будто никаких прискорбных столкновений и в помине не было. Среди этой суматохи я вдруг вспомнил, что на нашем пире науки нет японцев.

— Господа, — сказал я, — из газет достоверно известно, что японцы уже прибыли. Поэтому странно, чтоб не сказать более, что этих иностранных гостей нет между нами. Я положительно требую ответа: отчего нет японцев на роскошном пире статистики?

Но, увы, упущение было уже сделано, а потому конгресс положил: по поводу отсутствия господ японцев выразить искреннее («Искреннейшее, искреннейшее!» — вопили со всех сторон делегаты) сожаление, поручив гг. Веретьеву и Кирсанову добыть японских гостей и доставить их к следующему заседанию.

Затем пробил адмиральский час, мы бросились к накрытым столам, и — клянусь честью! — ни-

когда калужское тесто не казалось мне столь вкусным, как в этот достопамятный день!

Шестой день: осмотр сфинксов, заседание и обед в Малоярославском трактире (menu: стерляжья уха с подовыми пирогами; солонина под хреном; гусь с капустой; клюковный кисель с сытою). После обеда — мытье в воронинских банях.

Осмотр сфинксов прошел довольно холодно — быть может, потому, что предстоявшее заседание слишком живо затрагивало личные интересы конгрессистов. В этом заседании предстояло окончательно решить вопрос об учреждении постоянной комиссии, то есть определить, какие откроются по этому случаю новые места и на кого падет жребий заместить их. Но естественно, что коль скоро выступают на сцену подобные жгучие вопросы, то прений по поводу их следует ожидать оживленных и даже бурных.

Но Прокоп предусмотрел это, и потому еще не успели приступить к прениям, как он уже распорядился поднести всем членам конгресса по большой рюмке водки. По-видимому, одна, хоть и большая рюмка, едва ли могла бы достигнуть желаемых результатов, но Прокоп очень основательно рассчитал, что эта *одна*

рюмка послужит только введением, за которым значительное число конгрессистов, уже motu proprio[165] все требуют по второй и по третьей. И расчет его оказался верным. Едва заседание было провозглашено открытым, как уже большая часть бойцов очутилась вне боя. На арене остались только самые упорные статистики или те из конгрессистов, которые положили на водку зарок.

Заседание открылось заявлением Веретьева и Кирсанова, что принятые ими меры к отысканию японцев были безуспешны. Японцы действительно прибыли, и они даже напали на их след, но, как ни старались, ни разу не застали их дома. Сколько могли они понять из объяснений прислуги, японские делегаты сами с утра до вечера находятся в тщетных поисках за конгрессом; стало быть, остается только констатировать эту бесплодную игру в жмурки, производимую во имя науки, и присовокупить, что она представляет один из прискорбнейших фактов нашей современности.

Определено: записать о сем в журнал и еще раз выразить искреннейшее сожаление, что страна

---

[165] Сноски: 165
По собственному почину (*фр.*).

столь могущественная, дружественная и притом неуклонно стремящаяся к возрождению не имела на конгрессе своего представителя.

Затем, не теряя времени, мы приступили к голосованию параграфов «Положения о постоянной статистической комиссии», редактированного Прокопом, по соглашению с Кеттле.

— Mais il me semble, messieurs, que nous ne sommes pas en riombre[166], — заметил Левассер, указывая на простертые по диванам тела наших соконгрессистов.

— Ну, чего еще тут «en nombre!»[167]. Пожалуйста, Карл Иваныч, не вмешивайся ты, ради Христа!

Откуда узнал Прокоп имя и отечество Левассера, каким образом и когда сошелся с ним на «ты»? Изумительно!

— Господа! Терять время нечего, а то наши проспятся и загалдят! Параграф премье. «Для наблюдения за работами статистиков, в отношении к их успешности и правильности, учреждается постоянная статистическая комиссия с теми же правами, которые присвоены международному

---

[166] Сноски: 166
Но мне кажется, господа, что мы не в полном составе (*фр.*).

[167] Сноски: 167
В полном составе! (*фр.*)

статистическому конгрессу на время его собраний…» Ладно, что ли?

— Прекрасно! — раздалось со всех сторон.

— Параграф сегон. «Постоянная сия комиссия имеет местопребывание в столичном городе Санкт-Петербурге, в Малоярославском оного трактире…»

— Против этого параграфа я имею сделать возражение! — заявил Кирсанов.

— Покороче, сделай милость!

— Я буду краток: кушанье в Малоярославском трактире обходится так дорого…

— Да где же ты в другом месте таких поросят найдешь?

— Я не говорю, что поросята дурны, но я утверждаю, что в случае необходимости можно удовольствоваться и не столь жирными поросятами. Вспомните, господа, что членами комиссии могут быть люди семейные, для которых далеко не безразлично, платить ли за порцию восемь гривен или тридцать копеек. А между тем я знаю на углу Садовой и Вознесенского трактирчик госпожи Васильевой, где, во-первых, помещение очень приличное, во-вторых, кушанье подается недорогое и вкусное, и, в-третьих, прислуге строго воспрещено произносить при гостях ругатель-

ные слова! Поэтому я полагал бы…

— Ну, к Васильевой так к Васильевой — не мне придется дохлятину-то есть! Я, брат, завтра взял шапку, да и был таков! Параграф троазием, господа: «В состав комиссии входят по одному представителю от каждой из пяти первостепенных держав с жалованьем по шести тысяч рублей в год; второстепенные державы посылают в складчину по одному представителю от каждых двух государств с жалованьем по мере средств. На канцелярские расходы ассигнуется по десяти тысяч рублей в год, каковой расход относится на счет патентного сбора с вольнопрактикующих статистиков…»

Корренти встал и довольно нагло потребовал принять Италию в число первостепенных государств.

— С тех пор, — говорил он, — как Рим сделался нашей столицей, непростительно даже сомневаться, что Италия призвана быть решительницей судеб мира.

Но Прокоп сразу осадил дерзкого пришельца.

— Ну, брат, это еще «Улита едет, когда-то будет»! — сказал он ему, и этим метким замечанием увлек за собой все собрание. Параграф 3-й был принят огромным большинством.

— Параграф катрием е дернье: «Постоянная комиссия имеет главный надзор за статистикой во всех странах мира. Она поощряет прилежных и исправных статистиков, нерадивых же подвергает надлежащим взысканиям. Сверх того, высшим местам и учреждениям она пишет доношения и рапорты, с равными местами сносится посредством отношений; статистикам, получающим от казны содержание, дает предложения; статистикам вольнопрактикующим посылает указы и предписания».

Но не успели мы приступить к голосованию последнего параграфа, как случилось нечто поразительное. На лестнице послышался сильный шум, и в залу заседаний вбежал совершенно бледный и растерявшийся половой. Увидев его, Кеттлер с быстротою молнии ухватил первую попавшуюся под руки шапку и улизнул. Его примеру хотели последовать и прочие иностранные гости (как после оказалось — притворно), но было уже поздно: в комнате заседаний стоял господин в полицейском мундире, а из-за дверей выглядывали головы городовых. Левассер с какою-то отчаянною решимостью отвернулся к окну и произнес:

— Alea jacta est![168]

— Господин отставной корнет Шалопутов! — провозгласил между тем господин в полицейском мундире.

— Здесь! — отозвался Левассер, отдаваясь в руки правосудия.

Мы так и ахнули.

[168] Сноски: 168
Жребий брошен! (*фр.*)

IX

Итак, этот статистический конгресс, на который мы возлагали столько надежд, оказался лишь фальшивою декорацией, за которою скрывалась самая низкая подпольная интрига! Он был лишь средством для занесения наших имен в списки сочувствующих, а оттуда — кто знает! — быть может, и в книгу живота!

Можно себе представить, каково было удивление мое и Прокопа, когда мы узнали, что чуть-чуть не сделались членами интернационалки!

Вечер этого дня я провел у Менандра, и мы оба долго и горько плакали. Чтоб утешить меня, он начал читать корреспонденцию из Екатеринославля, в которой чертами, можно сказать, огненными описывались производимые сусликами опустошения, но чтение это еще более расстроило нас.

— Неужели же нет никаких мер против этих негодяев? — воскликнул я, сам, впрочем, хорошенько не сознавая, о чем говорю.

— К сожалению, должно признаться, что таких

мер не существует, хотя, с другой стороны, нельзя не сознаться, что если б земские управы взялись за дело энергически, то суслики давно были бы уничтожены! Я намерен посвятить этой мысли не менее десяти передовых статей.

Сказав это, он так глубокомысленно взглянул на меня, что я поскорее взял шапку и побежал куда глаза глядят.

Всю дорогу я бежал без всякой мысли. То есть, коли хотите, и была мысль, которая неотступно стучала мне в голову, не мысль самая странная, а именно: к сожалению, должно признаться, хотя, с другой стороны, нельзя не сознаться, — и больше ничего. Это был своего рода дурацкий итальянский мотив, который иногда по целым часам преследует человека без всякого участия со стороны его сознания. Идет ли человек по тротуару, сидит ли в обществе пенкоснимателей, читает ли корреспонденцию из Пирятина — вдруг гаркнет: «Odiarti!»[169] — и сам не может дать себе отчета, зачем и почему. Даже когда я лег в постель, то и тут последнею мыслью моею было: к сожалению, должно признаться, хотя, с другой стороны, нельзя не сознаться…

---

[169] Сноски: 169
Ненавидеть тебя! (*фр.*)

Ночь я провел беспокойно, почти бурно. Во сне я припомнил, что программа этого дня осталась невыполненною и что нам следовало еще ехать с иностранными гостями в воронинские бани. Поэтому я тотчас же перенесся фантазией в бани и, увидев себя и иностранных гостей обнаженными, почему-то сконфузился. Но в то самое время, как я обдумывал, как бы устроить, чтоб нагота моя была как можно меньше заметна, Левассер благим матом и на чистейшем российском диалекте завопил:

— Пару! Ради Христа, еще пару!

Тут только я понял гнусный обман, которого были жертвою мы, простодушные провинциальные кадыки, и уже бросился с веником, чтоб наказать наглого интригана, как вдруг передо мной словно из-под земли вырос Менандр. Он был тоже совершенно голый, но в руках его вместо веника торчала кипа корреспонденции, из которой на каждой огненными буквами были начертаны слова: «К сожалению, должно признаться…» Меня бросило в пот, и что было после того — я ничего не помню…

Утром, едва успел я опомниться от страшного сна, как Прокоп уже стоял передо мной.

— Ты пойми, — сказал он мне, — ведь мы долж-

ны будем фигюрировать в этом деле в качестве дураков… то бишь свидетелей!

— Надеюсь, однако, что мы не виноваты? — рискнул я возразить, сам, впрочем, не вполне уверенный, виноват я или не виноват.

— Дожидайся, будут тебя спрашивать, виноват ты или не виноват! Был с ними — и дело с концом!

Тут я вспомнил мой разговор с Левассером на Марсовом поле и чуть не поседел от ужаса. Припомнит он или не припомнит? Ах, дай-то господи, чтоб не припомнил! Потому что ежели он припомнит… Господи! Ежели он припомнит! Это нужды нет, что я ничего не говорил и даже убеждал его оставить заблуждения, но ведь, пожалуй, он припомнит, что он говорил, и тогда…

— Да ты не наболтал ли чего-нибудь? — спросил Прокоп, заметив мое смущение.

— Ей-богу, я ничего не говорил! Но я… но мне…

— Ну, брат, плохое твое дело, коли так. Он припомнит. Я, брат, сам однажды Энгеля пьяного домой на извозчике подвозил, так и то вчера целый вечер в законах рылся: какому за сие наказанию подлежу! Потому припомнит — это верно!

— Но позволь, душа моя, ведь ты же всю эту историю затеял! Ты с ними меня свел! Ты при-

глашение мне принес! Ты заседания устраивал! За что же я должен терпеть?

— Мало чего нет! А ты вспомни, что ты еще прежде про статистику-то говорил! Вспомни, как ты перебирал: и того у нас нельзя, и то невозможно, и за это в кутузку… Нет, брат, шалишь! Коли уж припоминать, так все припоминать! Пущай начальство видит!

— Позволь… но ведь не в этом дело!

— Нет, брат, уж припоминать так припоминать! Карту-то насчет трактирных заведений кто составлял, а? Ан карта-то, брат, — вот она! — Прокоп хлопнул рукой по боковому карману сюртука.

— Но карта… что же она означает!

— Там, брат, уж разберут. Там всему место найдут. Нет, это уж не резон. Это, брат, не по-товарищески!

— Но, пожалуйста, ты не думай, чтоб я…

— Нечего тут «не думай»! Я и то не думаю. А по-моему: вместе блудили, вместе и отвечать следует, а не отлынивать! Я виноват! Скажите на милость! А кто меня на эти дела натравливал? Кто меня на дорогу-то на эту поставил? Нет, брат, я сам с усам! Карта-то — вот она!

Словом сказать, гонимые страхами, мы вдруг

уподобились тем рыцарям современной русской журналистики, которые, не имея возможности проникнуть в «храм удовлетворения», накидываются друг на друга и начинают грызться: «Нет, ты!» — «Ан ты!»

Раз вступивши на скользкий путь сплетен и припоминаний, бог знает до чего бы мы могли дойти, но, к счастью, мы не успели еще пустить друг другу в лицо ни «хамами», ни «клопами», ни одним из тех эпитетов, которыми так богата «многоуважаемая» редакция «Старейшей Всероссийкой пенкоснимательницы», как в мой нумер влетел Веретьев.

— Берут! — ревел он, весело потирая руки.

Я побледнел; Прокоп положительно упал духом.

— Кого?

— Волохова, Рудина и Берсенева уж взяли… Кирсанов на волоске!

— Но чему же вы радуетесь, Веретьев?

— Я чему радуюсь? Я чему радуюсь? «Затишье»! Астахов! Маша! «Человек он был» — а теперь что! Что я такое, спрашиваю я вас! Утонула! Черта с два… вышла замуж за Чертопханова! За Чертопханова — понимаете! «Башмаков еще не износила…» Зачем жить! Зачем мне жить,

спрашиваю я вас! Сибирь… каторга… по холодку! Вот тут, — закончил он, ударяя себя в грудь, — тут!

Я знал, что Веретьев получил воспитание в Белобородовском полку, и потому паясничества его никогда не удивляли меня. Иногда, вследствие общего неприхотливого уровня вкуса, они казались почти забавными, а в глазах очень многих служили даже признаком несомненной талантливости. Но в эту минуту, признаюсь, мне было досадно глядеть на его кривлянья.

— Неужели вы хоть один раз в жизни не можете быть серьезным, Веретьев? — укорил я его.

— Тебе, Веретьев, когда ты в компании, цены нет! — присовокупил с своей стороны Прокоп. — Мухой ли прожужжать, сверчком ли прокричать — на все ты молодец! Ну а теперь, брат, извини! Теперь, брат, следовало бы и остепениться крошечку!

— Что ж, можно и остепениться! Ну, спрашивайте: глазом не моргну!

Сказавши это, Веретьев вдруг зажужжал на манер пчелы, но зажужжал так натурально, что мы с Прокопом инстинктивно начали отмахиваться.

— Ах, черт подери! Это все ты, шут гороховый! — обозлился Прокоп. — И охота нам с отчаянным

связываться! Да говори толком, оглашенный, что такое случилось?

Быть может, Веретьев и еще откинул бы несколько фарсов, прежде нежели объяснить, в чем дело, но, к счастью для нас, в эту минуту пришел Кирсанов. Он был, видимо, расстроен: чистенькое и бледное лицо его приняло желтоватые тоны, тонкие губы сжались, новенький вицмундирчик вздрагивал на его плечах.

— Господа, вы видите меня в величайшем недоумении, — начал он раздраженным голосом, — не говоря уже о том, что я целую неделю неизвестно по чьей милости был действующим лицом в какой-то странной комедии, но — что важнее всего — в настоящую минуту заподозрена даже моя политическая благонадежность.

Аркаша остановился и окинул нас взглядом, которому он по мере сил своих старался придать олимпический характер. Но Прокопа этот взгляд, по-видимому, нимало не смутил, так как он ответил в упор:

— Твоя благонадежность! Велика штука — твоя благонадежность! И мы заподозрены, и все заподозрены! Его благонадежность! Есть об чем толковать!

— Да… но ведь я… — заикнулся Кирсанов.

— И я… и ты… ну да! Ну и ты! Ты вспомни-ка, что ты с Базаровым, лежа на траве, разговаривал!

Бледное лицо Кирсанова моментально вспыхнуло.

— Конечно, — сказал он, — и я был молод, и я заблуждался, но кто же из нас не был молод, кто не заблуждался! Мне кажется, что в смысле политической благонадежности те люди даже полезнее, которые когда-нибудь заблуждались, но потом оставили свои заблуждения. Эти люди, во-первых, понимают, в чем заключаются так называемые заблуждения, и, во-вторых, знают сладость раскаянья. Поэтому мне более нежели странно, что меня упрекают прошлым, от которого я сам отвернулся с тех пор, как произошла эта история с Феничкой!

Но Прокоп был неумолим.

— Толкуй, брат, по пятницам! — отрезал он. — Уж коли в ком раз эта проказа засела, так никакими раскаяньями оттоле ее не выкуришь! Ты на конгрессе-то нашем что проповедовал?

— Я всего один раз говорил, и то лишь для того, чтобы указать на трактир госпожи Васильевой как на самое удобное место для заседаний постоянной комиссии!

— Ну хорошо, ну положим! Действительно,

на конгрессе ты вел себя скромно! А как ты во время эмансипации себя вел? Ты посредником был — скажи, как ты себя вел, а?

— Но мне кажется, что в видах общих интересов…

— Нет, ты не отлынивай, а отвечай прямо: как ты себя вел? Вот они, — Прокоп указал на Веретьева и на меня, — никогда ничего об них не скажу! Вели себя, как дворяне, — а потому и благодарность им от всех. — Прокоп прикоснулся рукою к земле. — Ну а ты, брат… нет, ты с душком! Как ты к дворянину-то выходил, в каком виде, а? Как ты дворян-то на очные ставки с хамами ставил, а? Вы, говорит, не имели права на основании… а он, говорит, имеет право на основании… А? Ан вот оно и отозвалось! Вон оно когда отозвалось-то!

— Но позвольте! Ежели я и увлекался, то цели, которые при этом одушевляли меня…

— Не говори ты мне, ради Христа! Я ведь помню! Я все помню! Помню я, как ты меня с Прошкой-то кучером судил! Ведь я со стыда за тебя сгорел! Вот ты как судил!

Кирсанов слегка поник головой, как бы сознавая, что перед трибуналом Прокопа для него нет оправданий. Тогда я выступил вперед, в качестве

миротворца.

— Позвольте, господа, позволь, мой друг! — сказал я, мягко устраняя рукой Прокопа, который начинал уже подпрыгивать по направлению к Кирсанову. — Дело не в пререканиях и не в том, чтобы воскрешать прошлое. Аркадий Павлыч увлекался — он сам сознает это. Но это сознание и соединенное с ним раскаяние он подтвердил целым рядом действий, характер которых не может подлежать никакому сомнению. Если б не быстрота, с которою он вызвал воинскую команду в деревню Проплеванную, то бог знает, имел ли бы я удовольствие беседовать теперь с вами. Стало быть, оставим речь о прошлом. В прошлом, конечно, были грешки, но были и достославные действия. Обратимтесь, господа, к настоящему! В чем дело, Аркадий Павлыч?

— А вот, не угодно ли посмотреть!

И Кирсанов подал бумагу, в которой мы прочли:

«Комиссия по делу об эмиссарах: отставном корнете Шалопутове, пензенском помещике Капканчикове с товарищи, вызывает титулярного советника Аркадия Павлова Кирсанова для дачи ответов против показаний неслужащего дворянина Берсенева».

— Ну, попался! — воскликнул Прокоп, и как-то особенно при этом свистнул.

— Ну что же я сделал? И что мог, наконец, Берсенев…

— Там, брат, разберут… а что попался — так это верно!

— Но почему же вы так тревожитесь, Аркадий Павлыч? Ведь вы сознаете себя невинным?

— Клянусь, что я…

— Охотно вам верю. Но, может быть, вы что-нибудь говорили? Может быть, вы говорили… Ну, что бы такое?.. Ну, хоть бы, например, что необходимо Семипалатинской области дать особенное, самостоятельное устройство?

Кирсанов задумался на минуту, как бы припоминая.

— Да… об этом, кажется, была речь, — наконец произнес он тихо.

— Ну и пропал! Пиши письма к родным!

— Но позвольте, господа! Положим, что я говорил глупости, но неужели же нельзя… даже в частном разговоре… даже глупости…

Но оправдание это было так слабо, что Прокоп опроверг его моментально.

— Говорить глупости ты можешь, — сказал он, — да не такие. Вы заберетесь куда-нибудь

в Фонарный переулок да будете отечество раздроблять, а на вас смотри! Один Семипалатинскую область оторвет, другой в Полтавскую губернию лапу засунет… Нельзя, сударь, нельзя!

Тогда Кирсанов в свою очередь озлился.

— Позвольте, однако ж-с! — сказал он. — Если я не имею права говорить глупости, так и вы-с… Помните ли, как вы однажды изволили говорить: вот как бы вместо Москвы да наш Амченск столицею сделать…

— Ну, это ты врешь! Этого я не говорил! Ишь ведь что вспомнил! Ах ты, сделай милость! Да не то что одна комиссия, а десять комиссий меня позови — передо всеми один ответ: знать не знаю, ведать не ведаю! Нет, брат, я ведь травленый! Меня тоже не скоро на кривой-то объедешь!

— Но я не к тому веду речь…

— Понимаю, к чему ты ведешь речь, только напрасно. Ты, коли хочешь, винись, а я не повинюсь! Хоть сто комиссий меня к ответу позови — не говорил, и баста!

Распря эта не успела, однако ж, разыграться, потому что в комнату вошел совершенно растерянный Перерепенко.

— Представьте себе, меня обвиняют в намерении отделить Миргородский уезд от Полтавской

губернии! — сказал он упавшим голосом.

— Что такое? Как?

— Да-с, вы видите перед собой изменника-с, сепаратиста-с! Я, который всем сердцем-с! — говорил он язвительно. — И добро бы еще речь шла об Золотоноше! Ну, тут действительно еще был бы резон, потому что Золотоноша от Канева — рукой подать! Но Миргород, но Хороль, но Пирятин, но Кобеляки!

— Откуда же такая напраслина, Иван Иваныч? Ужели Довгочхун…

— Признаюсь, у меня у самого первое подозрение пало на Довгочхуна, но, к сожалению, Довгочхунов много и здесь. Не Довгочхун, а неслужащий дворянин Марк Волохов!

— Но разве вы имели неосторожность открыть ему ваши намерения?

— Нечего мне было открывать-с, потому что я как родился без намерений, так и всю жизнь без намерений надеюсь прожить-с. А просто однажды господин Волохов попросил у меня взаймы три целковых, и я ему в просьбе отказал! Он и тогда откровенно мне высказал: «Вспомню я когда-нибудь об вас, Иван Иваныч!» И вспомнил-с.

— Донес, что ли?

— Нет, не донес-с. Книжечка у него такая была, в которую он все записывал, что на ум взбредет. Вот он и записал там: «Перерепенко Иван Иваныч; иметь в виду на случай отделения Миргородского уезда…» Ан книжечку-то эту у него нашли!

— Однако это, черт возьми, штука скверная! — всполошился Прокоп. — Третьего дня этот шут гороховый Левассер говорит мне: «Votre pays, monsieur, est un fichu pays!»[170] — а я, чтобы не обидеть иностранного гостя: да, говорю, Карл Иваныч! Есть-таки того… попахивает! А ну как он это в книжку записал?

— И записал-с! — вздохнул Перерепенко.

Мы все вдруг сосредоточились, как отправляющиеся в дальный путь. Даже Веретьев уныло свистнул, вспомнив, как он когда-то нагрубил Астахову, который занимал в настоящее время довольно видный пост. Каждый старался перебрать в уме всю жизнь свою… даже такую вполне чистую и безупречную жизнь, как жизнь Перерепенки и Прокопа!

Я был скомпрометирован больше всех. Не говоря уже о признаниях Шалопутова на Марсовом

---

[170] Сноски: 170
Ваша страна, мсье, скверная страна! (*фр.*)

поле, о том, что я неоднократно подвозил его на извозчике и ссудил в разное время по мелочи суммою до десяти рублей, в моем прошедшем был факт, относительно которого я и сам ничего возразить не мог. Этот факт — «Маланья», повесть из крестьянского быта, которую я когда-то написал. Конечно, это было заблуждение молодости, но нельзя себе представить, до какой степени живучи эти заблуждения! Вот, кажется, все забыто; прошедшее стерлось и как бы заплыло в темной пучине времени — ан нет, оно не стерлось и не заплыло! Достаточно самого ничтожного факта, случайного столкновения, нечаянной встречи — и опять все воскресло, задвигалось, засуетилось! Забытые образы выступают наружу; полинявшие краски оживают; одна подробность вызывает другую — и канувший в вечность момент преступления становится перед вами во всей ослепительной ясности!

— Эге! Да ведь это тот самый, который «Маланью» написал?

— «Маланью»! Что такое «Маланья»? Это не то ли, что Вергина на театре представляет: «Маланья, русская сирота»… Так, кажется?

— Нет, «русская сирота» — это «Ольга». А «Маланья» — это… это… да это ужас что такое «Ма-

ланья»!

— И он написал «Маланью»!

— Он самый. И еще имеет смелость оправдываться… excusez du peu![171]

Одним словом, «Маланья» — это род первородного моего греха…

Эти горькие размышления были прерваны стуком в дверь моего нумера. Как ни были мы приготовлены ко всяким случайностям, но стук этот всех нас заставил вздрогнуть. В комнату развязно вошел очень изящный молодой человек в сюртуке военного покроя, вручил мне, Прокопу и Веретьеву по пакету и, сказав, что в восемь часов, как только стемнеет, за нами приедет карета, удалился.

Это был не сон, но нечто фантастичнее самого сна. Нас было тут пять человек, не лишенных божьей искры, и никому даже в голову не пришло спросить, кто этот молодой человек, от кого он прислан, в силу чего призывают нас к ответу, почему, наконец, он не принимает так называемых мер к пресечению способов уклонения от суда и следствия, а самым патриархальным образом объявляет, что заедет за нами вечером в каре-

---

[171] Сноски: 171
Как вам это нравится! (*фр.*)

те, до тех же пор мы обязываемся его ждать! Ни один из этих вполне естественных вопросов не пришел нам на мысль — до такой степени было сильно убеждение, что мы виноваты и что «там разберут»!

Это была уже вторая руководящая мысль, которая привела нас к путанице. Во время статистического конгресса нас преследовало гордое убеждение, что мы не лыком шиты; теперь оно сменилось другим, более смиренномудреным, убеждением: мы виноваты, а там разберут. В обоих случаях основу представляло то чувство неизвестности, которое всякие сюрпризы делает возможными и удобоисполнимыми.

И мы ждали, ни разу даже не вспомнив о происшествии, когда-то случившемся на Рогожском кладбище, где тоже приехали неизвестные мужчины, взяли кассу и уехали… Мы терпеливо просидели у меня в нумере до вечера. В восемь часов ровно, когда зажглись на улице фонари, за нами явилась четвероместная карета, нам завязали глаза и повезли.

Мы ехали что-то очень долго (шутники, очевидно, колесили с намерением). Несмотря на то что мы сидели в карете одни — провожатый наш сел на козлы рядом с извозчиком, — никто из нас

и не думал снять повязку с глаз. Только Прокоп, однажды приподняв украдкой краешек, сказал:

— Кажется, через Троицкий мост сейчас переезжать станем, — и опять привел все в порядок. Наконец карета остановилась, нас куда-то ввели и развязали глаза.

Клянусь честью, мне сейчас же пришло на мысль, что мы в трактире (и действительно мы были в Hotel du Nord на Офицерской): до такой степени комната, в которой мы очутились, всей обстановкой напоминала трактир средней руки, до того она была переполнена всевозможными трактирными испарениями! Я обонял запах жареного лука, смешанный с запахом помоев; я видел лампу с захватанным пальцами шаром, лампу, которая, казалось, сама говорила: «Нигде, кроме трактира, я висеть не могу!» Я ощущал под собой стул с прорванною клеенкой — стул, на котором сменилось столько поколений… но и за всем тем мысль, что я виноват и что «там разберут», пересилила все соображения.

Мы были тут все — все участвовавшие в злосчастном статистическом конгрессе! Большинство было свободно, но «иностранные гости», а также, Рудин и Волохов были в кандалах. Но как легко и даже весело они переносили свое поло-

жение! Они смеялись, шутили, а одну минуту мне даже показалось, что они перемигиваются с нашими судьями. Но, увы, тогда я приписал эту веселость гражданскому мужеству, и несколько дрогнул и изменился в лице, только когда Прокоп, толкнув меня под бок, шепнул:

— Ну, брат, ау! Надеются, подлецы, — стало быть, важные показания дали!

Судьи сидели за столом, накрытым белою скатертью. Их было шесть человек, и все шестеро молодые люди; перед каждым лежал лист чистой бумаги. Опять-таки клянусь, что и молодость судей не осталась не замеченною мной, и я, конечно, сумел бы вывести из этого замечания надлежащее заключение, если б Прокоп, по своему обыкновению, вновь не спутал меня.

— Молодые! — шепнул он мне. — Где едят, там и судят! Ну, эти, брат, не простят, эти засудят! Это не то, что старики! Те, бывало, оборвут — и отпустят, ну а эти — шалишь! «Comment allez-vous?[172] Садитесь. Не хотите ли чаю?» — и сейчас тебя в кутузку!

Нам сделали перекличку; все оказались налицо. Затем кандальных куда-то увели, а один

---

[172] Сноски: 172
Как поживаете? (*фр.*)

из судей (увы, он разыгрывал презуса!) встал и обратился к нам с речью:

— Господа, вы обвиняетесь в весьма тяжком преступлении, и только вполне чистосердечное раскаянье может облегчить вашу участь. Наши обязанности относительно вас очень неприятны, но нас подкрепляет чувство долга и мы останемся верны ему. Вы, господа, не усомнившиеся вступить в самый гнусный из всех заговоров, вы, конечно, не можете понять это святое чувство, но мы… мы понимаем его! Тем не менее мы очень хорошо сознаем, что ваше положение не из приятных, и потому постараемся по возможности облегчить его. Покуда не осуждены законом — вы наши гости, messieurs! Об одном только мы просим вас: будьте чистосердечны. Будьте уверены, что мы уже все знаем, и ежели настоящее следствие имеет место, то для того только, чтобы дать вам случай раскаяться и быть чистосердечными. Я сказал, господа. Теперь господин производитель дел отведет вас за исключением господина Кирсанова в особенную комнату и велит подать вам по стакану чаю. Прощайте, господа. Господин Кирсанов, вы останетесь здесь для допроса!

Нас заперли в соседней комнате и подали чаю. Клянусь, что я где-то видел человека, который

в эту минуту разносил нам чай (потом оказалось, что он служил недавно половым в «Старом Пекине»!).

Допрашивали до крайности быстро. Не прошло пяти-шести минут, как потребовали Веретьева, потом Лаврецкого, Перерепенку, Прокопа и, наконец, меня. Признаюсь откровенно, я чувствовал себя очень неловко, ах как неловко!

— Вы писали «Маланью»? — спросил меня лжепрезус.

— Я-с.

— И сознаете себя виновным?

— То есть… изволите видеть… я не желал… в строгом смысле, я даже хотел воспрепятствовать…

— Без околичностей-с. Отвечайте прямо и откровенно: виноваты?

— Виноват-с.

— Ah! c'est grave![173] — произнес сбоку один из лжесудей, рисовавший на белом листе домик, из трубы которого вьется дымок.

Я, в полном смысле этого слова, растерялся.

— Теперь извольте говорить откровенно: ездили ли вы второго августа на извозчике

---

[173] Сноски: 173
Это серьезно! (*фр.*)

с шарманщиком Корподибакко, присвоившим себе фамилию почтенного члена Международного статистического конгресса Корренти? Не завозили ли вы его в дом номер тридцатый на Канонерской улице?

— Не… не помню…

— Извольте говорить откровенно. Вспомните, что только полное чистосердечие может смягчить вашу участь.

— Кажется… нет… кажется… ездил-с!

— Без «кажется»-с. Извольте говорить откровенно.

— Ездил-с.

— Знали ли вы, что в этом доме живет преступник Рудин? Что Корренти ехал именно к нему, чтоб условиться насчет плана всесветной революции?

— Нет-с, не знал.

— Говорите откровенно, не опасайтесь!

— Ей-богу, ваше превосходительство, не знал.

— Пригласите сюда господина Корподибакко!

Загремели кандалы. Корподибакко, тяжело дыша, встал рядом со мною.

— Уличайте его!

— И ви может мине сказаль, что ви не зналь! — обратился ко мне Корподибакк. — Oh, maledetto

russo![174] Я, бедна нешастна итальяниц, и я так не скажу, ишто ви сичас говориль!

— Что можете вы сказать против этой улики?

— Решительно ничего. Я даже в первый раз слышу о всесветной революции!

— Хорошо-с. Ваше упорство будет принято во внимание. Корподибакко, вы можете уйти. Прикажите дать стакан чаю господину Корподибакко!

Корподибакко вдруг грохнулся на колена, воздел руки и воскликнул: «pietá, signori!»[175]

— Вот, сударь, пример раскаянья теплого, невынужденного! Стыдитесь! — обратился ко мне один из лжесудей, указывая на Корподибакко.

— Ну-с, теперь извольте говорить откровенно: какого рода разговор имели вы на Марсовом поле с отставным корнетом Шалопутовым?

Я окончательно смутился. «Вот оно! — мелькнуло у меня в голове. — Оно самое!»

— Мне кажется, — пробормотал я, — он говорил, что не любит войны…

— Еще-с!

— Еще-с… нет… кажется… гм, да… Он, кажется,

---

[174] Сноски: 174
О, проклятый русский! (*итал.*)

[175] Сноски: 175
Сжальтесь, синьоры! (*итал.*)

говорил, что у него была неприятность с Тьером…

— Еще-с!

— Что господин Фарр — переодетый агент-с…

— К делу-с. Извольте приступить к делу-с.

— Что он служил в Коммуне…

— Ah! c'est grave! — произнес опять лжесудья, рисовавший домик.

— Ну-с, а вы что ему говорили?

— Я-с… ничего-с… он был так пьян…

— Ну, в таком случае я сам припомню вам, что вы говори ли. Вы говорили, что вместо того, чтобы разрушить дом Тьера, следовало бы разрушить дом Вяземского на Сенной площади-с! Вы говорили, что вместо того, чтобы изгонять «этих дам» из Парижа, следовало бы очистить от них бельэтаж Михайловского театра-с! Еще что вы говорили?

— Не… не… не помню…

— Вы говорили, что постараетесь скрыть его от преследований! Вы обещали ему покровительство и поддержку! Вы, наконец, объявили, что полагаете положить в России начало революции введением обязательного оспопрививания! Что вы можете на это сказать?

— Решительно… нет… то есть… нет, решитель-

но не припомню!

— Позвать сюда Шалопутова!

Опять загремели кандалы, но Шалопутов не вошел, а вбежал, и с такою яростью напустился на меня, что я даже изумился.

— Вы не говорили? Вы?! — кричал он. — Вы лжец, позвольте вам сказать! Когда я вам сказал, что моя жена петролейщица, что вы ответили мне? Вы ответили: «Вот к нам бы этаких штучек пяток — побольше!» Когда я изложил перед вами мои планы — что вы сказали мне? Вы сказали: «Все эти планы хороши за границей, а для нас, русских, совершенно достаточно, если мы добьемся обязательного оспопрививания!» Вот что вы ответили мне!

— Но мне кажется, что обязательное оспопрививание… — заикнулся я.

— Не о том речь, что вам «кажется», государь мой, — строго прервал меня лжепрезус, — а о том, говорили вы или не говорили.

Говорил я или не говорил? Говорил ли я, что следует очистить бельэтаж Михайловского театра от этих дам? Говорил ли я о пользе оспопрививания? Кто ж это знает? Может быть, и действительно говорил! Все это как-то странно перемешалось в моей голове, так что я реши-

тельно перестал различать ту грань, на которой кончается простой разговор и начинается разговор опасный. Поэтому я решился на все махнуть рукой и сознаться.

— Говорил! — произнес я совершенно твердо.

— A la bonne heure![176] Можете идти, господин Шалопутов! Дайте стакан чаю господину Шалопутову!

Шалопутов гремя удалился.

— Ну-с, допрос кончен, — обратился ко мне лжепрезус, — и если бы вы не запятнали себя запирательством по показанию Корподибакко…

— Помилуйте, ваше превосходительство, но ведь он, наконец, свинья! — воскликнул я дрожащим от волнения голосом, в котором звучала такая нота искренности, что сами лжесудьи — и те были тронуты.

— Гм, свинья… это конечно… это даже весьма может быть, — сказал лжепрезус, — но скажите, вы разве не употребляете свинины?

— Употребляю-с.

— Ну и мы употребляем. К сожалению, свиньи покамест еще необходимы. C’est triste, mais c’est

---

[176] Сноски: 176
Наконец-то! (*фр.*)

vrai![177] Не знаете ли вы за собой еще каких-нибудь преступлений?

Услышав этот вопрос, я вдруг словно в раж впал.

— Один из моих товарищей, — сказал я, — предлагал Москву упразднить, а вместо нее сделать столицею Мценск. И я разделял это заблуждение!

— Дальше-с!

— Другой мой товарищ предлагал отделить от России Семипалатинскую область. И я одобрял это предложение.

— Дальше-с!

— Еще-с… более, ваше превосходительство, ничего за собой не имею!

— Довольно для вас.

Лжепрезус встал, направился к двери направо и спросил:

— Готово?

Изнутри послышался ответ:

— Готово.

— Потрудитесь войти в эту комнату.

……

Я и до сих пор не могу опомниться от стыда!

---

[177] Сноски: 177
Жаль, но это так! (*фр.*)

.....

Из *этой* комнаты я перешел в следующую, где нашел Прокопа, Кирсанова и прочих, уже прошедших сквозь искус. Все были унылы и как бы стыдились. Лаврецкий попробовал было начать разговор о том, как дороги в Петербурге ces petits colifichets[178], которые в Париже приобретаются почти задаром, но из этого ничего не вышло.

Дальнейшие допросы пошли еще живее. В нашу комнату поминутно прибывали тетюшские, новооскольские и другие депутаты, которых, очевидно, спрашивали только для проформы. По-видимому, они даже через комнату «искуса» проходили безостановочно, потому что являлись к нам совершенно бодрые и веселые. Мало-помалу общество наше до того оживилось, что Прокоп при всех обратился к Кирсанову:

— А ведь ты, поросенок, не утерпел, чтоб про Амченск-то не сказать!

Кирсанов слегка покраснел, но ответить не решился.

Наконец, в половине одиннадцатого, двери отворились, и нас пригласили в залу, где уже был накрыт стол на сорок кувертов, по числу судей

---

[178] Сноски: 178
Безделушки (*фр.*).

и обвиненных.

— Ну-с, господа, — сказал лжепрезус, — мы исполнили свой долг, вы — свой. Но мы не забываем, что вы такие же люди, как и мы. Скажу более: вы наши гости, и мы обязаны позаботиться, чтоб вам было не совсем скучно. Теперь, за куском сочного ростбифа и за стаканом доброго вина, мы можем вполне беззаботно предаться беседе о тех самых проектах, за которые вы находитесь под судом. Человек, ужинать и вдоволь шампанского!

И действительно, лжесудьи, враз сбросивши декорум, оказались добрейшими малыми. Они так блягировали, что даже Шалопутова и того заткнули за пояс. В довершение всего дозволили снять с кандальных кандалы, что, разумеется, произвело фурор и сразу приобрело им с нашей стороны популярность. Шампанское лилось рекою; Шалопутов рассказывал, как он ездил в Ирландию и готовился, вместе с фениями, сделать вылазку в Англию; Корподибакко уверял, что он был другом Мадзини и разошелся с ним только потому, что Мадзини до конца жизни оставался упорным католиком. Тосты следовали один за другим.

— За Гарибальди! — провозгласил лжесудья,

рисовавший домики.

— За Гамбетту! — ответил ему лжепрезус.

— За нашего губернатора! — скромно поднял бокал Кирсанов.

Словом сказать, все одушевились и совершенно позабыли, что час назад… Но едва било двенадцать (впоследствии оказалось, что «Hôtel du Nord» в этот час запирается), как на кандальников вновь надели кандалы и увезли. С нас же, прочих подсудимых, взыскали издержки судопроизводства (по пятнадцати рублей с человека) и, завязав нам глаза, развезли по домам.

— Господа, завтра опять допрос в те же часы! — весело сказал нам лжепрезус. — Мы не арестуем вас и вполне полагаемся на ваше честное слово, что вы не выйдете из ваших квартир!

— Позвольте мне вот с ним! — попросил Прокоп, указывая на меня.

— Можете-с.

Затем было дано еще несколько разрешений совместного жительства, что возбудило новый фурор и новую популярность.

На другой день опять допрос и ужин — с тою же обстановкой. На третий, на четвертый день и так далее — то же. Наконец, на седьмой день, мы так вклепались друг в друга и того сами на себя

наболтали, что хоть всех на каторгу, так впору в тот же день нам было объявлено, что хотя мы по-прежнему остаемся заарестованными на честном слове в своих квартирах, но совместное жительство уже не допускается.

Когда я брался за шляпу, производитель дел таинственно отвел меня в сторону и до крайности благожелательно сказал:

— Знаете, а ведь ваше дело очень плохо!

— Неужели?

— Так плохо, что самое малое, что вас ожидает, — это семь лет каторги. Разве уж очень искусный адвокат выхлопочет снисхожденья минут на пятнадцать!

— Это ужасно!

— Что делать! Уж я старался — ничего не поделаешь! То есть, коли хотите, оно можно…

— Ах, сделайте милость!

— Можно-то можно, только, вот видите ли… подмазочка тут нужна!

— Но сколько? Скажите!

Производитель дел с минуту подумал, пошевелил пальцами, как бы рассчитывая, сколько кому нужно, и наконец произнес:

— Вы стами тысяч можете располагать? — Я даже затрясся весь. — Сто тысяч! Да у меня

и всего-то пять билетов второго внутреннего с выигрышами займа… на всю жизнь, понимаете? Сто тысяч! Да ежели в сентябре не выиграю по малой мере сорок тысяч — я пропал!

— Ну, в таком случае дайте хоть два билета!

— Два — с удовольствием! С величайшим удовольствием! Два билета — и я буду совершенно чист?

— Чисты как алмаз — ручаюсь. Так завтра утром я буду у вас.

— О, с удовольствием, с величайшим удовольствием!

Мы крепко пожали друг другу руки и расстались.

Это была первая ночь, которую я спал спокойно. Я не видел никаких снов и ничего не чувствовал, кроме благодарности к этому скромному молодому человеку, который вместо ста тысяч удовольствовался двумя билетами и даже не отнял у меня всех пяти, хотя я сам сознался в обладании ими. На другой день утром все было кончено. Я отдал билеты и получил обещание, что еще два-три допроса — и меня не будут больше тревожить.

Но вот наступил вечер — кареты нет. Пришел и другой вечер — опять нет кареты. Я начи-

наю беспокоиться и даже скучать. На третий вечер — опять нет кареты. Это делается уже невыносимым.

Бродя в тоске по комнате, я припоминаю, что меня, между прочим, обвиняли в пропаганде идеи оспопрививания, — и вдруг обуреваюсь желанием высказать гласно мои убеждения по этому предмету.

«Напишу статью, — думал я, — Менандр тиснет, а при нынешней свободе книгопечатания, чего доброго, она даже и пройдет. Тогда сейчас оттиск в карман — и в суд. Вы меня обвиняете в пропаганде оспопрививания — вот мои убеждения по этому предмету: они напечатаны, я не скрываю их!»

Задумано — сделано. Посыльный летит к Менандру с письмом:

«Любезный друг! Ты знаешь, как горячо я всегда принимал к сердцу интересы оспопрививания, а потому не желаешь ли, чтоб я написал для тебя об этом предмете статью?»

Через час ответ:

«Ты знаешь, мой друг, что наша газета затем, собственно, и издается, чтобы распространять в обществе здравые понятия об оспопрививании! Пиши, сделай милость, пиши! Статья твоя будет

украшением столбцов»…

Стало быть, за перо! Но тут, на первых же порах, затруднение. Некоторые полагают, что оспопрививание было известно задолго до Рождества Христова, другие утверждают, что *не*задолго, третьи, наконец, полагают, что открытие это сделано лишь после Рождества Христова. Кто прав — до сих пор неизвестно. Опять мчится посыльный к Менандру: следует ли упоминать об этом в статье? *Через* час ответ: следует говорить обо всем. И о том, что было до Рождества Христова, и о том, что было по Рождестве Христове, и о том, что неизвестно. Потому что статья будет выглядеть солиднее. «Да загляни, сделай милость, в Китай: мне сказывал Нескладин, что тамошняя цивилизация — это прелесть что такое!» Ну что ж: в Китай так в Китай! Сейчас посыльного к Мелье — и через полчаса на столе лежит уже книжица, в которой самым обстоятельным образом доказывается, что в Китае и оспопрививание и порох были известны гораздо ранее, нежели в Европе, но только они прививали оспу совсем не туда, куда следует. Припоминаю по этому случаю пословицу: «Заставь дурака Богу молиться — он лоб расшибет», надписываю ее в виде эпиграфа к статье, сажусь и с божьею помощью

пишу.

Но для меня написать статью об оспопрививании все равно что плюнуть в порожнее место. К трем часам моя работа была уж готова и отослана к Менандру с запросом такого содержания: «Не написать ли для тебя статью: кто была Тибуллова Делия? Кажется, теперь самое время для подобных статей!» Через час ответ: «Сделай милость! Твое сотрудничество драгоценно, потому что ты один знаешь, когда, что и как сказать. Все пенкосниматели в эту минуту в сборе в моей квартире и все в восторге от твоей статьи. Завтра, рано утром, «Старейшая Всероссийская пенкоснимательница» будет у тебя на столе с *привитою оспою*».

Опять в руки перо — и к вечеру статья готова. Рано утром на другой день она была уже у Менандра с новым запросом: «Не написать ли еще статью: «Может ли быть совмещен в одном лице промысел огородничества с промыслом разведения козлов?» Кажется, теперь самое время!» К полудню — ответ: «Сделай милость! Присылай скорее!»

Таким образом в течение семи дней, кроме поименованных выше статей, я сочинил еще четыре, а именно: «Геморрой — русская ли бо-

лезнь?», «Нравы и обычаи летучих мышей», «Единокровные и единоутробные пред лицом римского законодательства» и «Несколько слов о значении и происхождении выражения «гомерический смех». На восьмой день я занялся собиранием материалов для двух других обширных статей, а именно: «Церемониал при погребении великого князя Трувора» и «Как следует понимать легенду о сожжении великою княгинею Ольгою древлянского города Коростеня?» Статьи эти я полагал поместить в «Вестнике пенкоснимательства», снабдив их некоторыми намеками на текущую современность.

Во всех семи напечатанных статьях моих оказалось четыре тысячи строк, за которые я получил, считая по пятиалтынному за строку, шестьсот рублей серебрецом-с! Да ежели еще «Вестник Пенкоснимательства» рублей по двести за лист отвалит (в обеих статьях будет не менее десяти листов) — ан сколько денег-то у меня будет?

Я упивался моей новой деятельностью, и до того всецело предался ей, что даже забыл и о своем заключении, и о том, что вот уж десятый день, а никто меня никуда не требует и никакой резолюции по моему делу не объявляет. Есть нечто опьяняющее в положении публициста, исследу-

ющего вопрос о происхождении Делии. И хочется «пролить новый свет», и жутко. Хочется сказать: «Нет, г. Сури (автор статьи «La Délia de Tibulle»[179], помещенной в «Revue des deux Mondes» 1872 года), вы ошибаетесь!» — и в то же время боишься: а ну, ежели я сам соврал? А соврать немудрено, ибо что такое, в сущности, русский публицист? Это не что иное, как простодушный обыватель, которому попалась под руку «книжка» (всего лучше, если маленькая) и у которого есть твердое намерение получить по пятиалтынному за строчку. Нет ли на свете других таких же книжек — он этого не знает, да и знать ему, собственно говоря, не нужно, потому что, попадись под руку «другие» книжки, они только собьют его с толку, загромоздят память материалом, с которым он никогда не справится, — и статьи не выйдет никакой. То ли дело — «одна книжка»! Тут остается только прочесть, смекнуть — и ничего больше. И вот он смекает, смекает — и чем больше смекает, тем шире становятся его горизонты. Наконец статья, с божью помощью, готова, и в ней оказывается двенадцать столбцов, по пятидесяти строчек в каждом. Положите-ка

---

[179] Сноски: 179
«Тибуллова Делия» (*фр.*).

по пятиалтынному-то за строчку — сколько тут денег выйдет!

Одно опасно: наврешь. Но и тут есть фортель. Не знаешь — ну, обойди, помолчи, проглоти, скажи скороговоркой: «некоторые полагают», «другие утверждают», «существует мнение, едва ли, впрочем, правильное» — или «по-видимому, довольно правильное». Да мало ли еще какие обороты речи можно изыскать! Кому охота справляться, точно ли «существует мнение», что оспопрививание было известно задолго до Рождества Христова? Ну, было известно — и Христос с ним!

Или еще фортель. Если стал в тупик, если чувствуешь, что язык у тебя начинает коснеть, пиши смело: об этом поговорим в другой раз — и затем молчок! Ведь читатель незлопамятен; не скажет же он: «А ну-ка, поговори, поговори-ка в другой-то раз — я тебя послушаю!» Так это дело измором и кончится…

Итак, работа у меня кипела. Ложась на ночь, я представлял себе двух столоначальников, встречающихся на Невском.

— А читали ли вы, батюшка, статью: «Может ли быть совмещен в одном лице промысел огородничества с промыслом разведения коз-

лов?»? — спрашивает один столоначальник.

— Еще бы! — восклицает другой.

— Вот это статья! Какой свет-то проливает! Директор у нас от нее без ума. «Дочери, — говорит, — дочери прикажу прочитать!»

Сердце мое начинает играть, живот колышется, и все мое существо наполняется сладким ликованием…

Но на одиннадцатый день чувство действительности все-таки заявило о правах своих. Нельзя безнаказанно, в течение семи дней сряду, не выходя из нумера, предаваться изнурительным исследованиям о церемониале при погребении великого князя Трувора. Поэтому вопрос: отчего столько дней за мной нет кареты? — вдруг встал передо мной со всею ясностью!

Я помнил, что арестован, и нарушить данного слова отнюдь не хотел. Но ведь могу же я в коридоре погулять? Могу или не могу?.. Борьба, которую возбудил этот вопрос, была тяжела и продолжительна, но наконец инстинкт свободы восторжествовал. Да, я могу выйти в коридор, потому что мне этого никто даже не воспрещал. Но едва я высунул нос за дверь, как увидел Прокопа, несущегося по коридору на всех парусах.

— Вот так штука! — кричал он мне издали. —

Вот это штука!

— Что такое случилось?

— А то и случилось, что никакой комиссии нет и не бывало!

— Ты врешь, душа моя!

— Нет и не бывало. Ни конгресса, ни комиссии — ничего!

— Да говори толком: что случилось?

— Случилось вот что. Сижу я сегодня у себя в нумере и думаю: странное дело, однако ж: одиннадцатый день кареты нет! Скука! Читать — привычки нет; ходить да думать — боюсь, с ума сойдешь! Вот и пришло мне в голову: не сходить ли келейным образом к Доминику — по крайности, около людей потрусь! Сказано — сделано. Надвинул, это, фуражку на глаза, прихожу, иду в дальнюю комнату — и что ж бы ты думал, вижу! Сидят это за столом: судья, который нас судил, Шалопутов, Капканчиков и Волохов — и вчетвером в домино играют. Ну, я сначала не понял, обрадовался. «Что, — говорю, — Карл Иваныч, выпустили?» Это Шалопутову-то. Молчит. Я его по плечу: выпустили, мол, Карл Иваныч? Он этак взглянул на меня да как прыснет. «Вы, — говорит, — за кого-нибудь другого меня принимаете!» — «Чего, — говорю, — за другого! Вот и они

налицо!» Дальше — больше. «Я, — говорю, — из-за вас восьмнадцатый день из-под ареста не выхожу». — «Да это, — говорят, — сумасшедший! Гарсон! Пожалуйста, пошлите за городовым!» Собралась около нас публика: кто в бильярд играл, кто в шахматы — все бросили. Гогочут. Пришел хозяин. «Позвольте попросить вас оставить мое заведение». Это мне-то! «Нет, — говорю, — шалишь! Коли ты меня не уважаешь, так уважишь вот это!» И показываю ему фуражку с околышем! А кругом хохот, гвалт — хоть святых вон неси! «Сумасшедший! Сумасшедший!» — только и слов. «Да объясни ты мне, ради Христа, — говорю я судье, — должен ли, по крайней мере, я под арестом-то сидеть?» — «Сиди, говорит, сделай милость!» Гогочут. И ведь как бы ты полагал? Вывели-таки меня, раба Божия, из заведения!

Обман был ясен. Тут только припомнились мне все аномалии, которыми — к сожалению, лишь на мгновение — был поражен мой ум во время процесса. И захватанная лампа, и продырявленные стулья, и запах жареного лука, и помой…

— Слушай, ведь нас с тобой опять надули — и, главное, надула все та же компания! — воскликнул я в неописанном испуге. — Ведь этак нам, пожалуй, в Сибирь подорожную дадут, и мы

поедем!

— И поедем — ничего не поделаешь!

— Как хочешь, а надо бежать отсюда!

— И я говорю: бежать!

— Стало быть, едем!

Но Богу угодно было еще на неопределенное время продлить наше пребывание в Петербурге…

X

Нервы мои, возбужденные тревогой последних дней, наконец не выдержали. Вынести сряду два таких испытания, как статистический конгресс и политическое судоговорение, — как хотите, а это сломит хоть кого! Чего я не передумал в это время! К чему не приготовился! Перебирая в уме кары, которым я подлежу за то, что подвозил Шалопутова на извозчике домой, я с ужасом помышлял: ужели жестокость скорого суда дойдет до того, что меня засадят в уединенную комнату и под наблюдением квартального надзирателя заставят читать передовые статьи «Старейшей Всероссийской пенкоснимательницы»? Или, быть может, пойдут еще далее, то есть заставят выучить наизусть «Бормотание вслух» «Честолюбивой просвирни»? Каким образом я выполню это? Господи! Укрепи меня, просвети мой ум глупопониманием! Сердце бесчувственно и закоснело созижди во мне! Очи мои порази невидением, уши — неслышанием, уста научи слагати несмысленная! Всевидящий, спаси мя, спаси мя! спаси мя!

Даже тогда, когда я вполне убедился, что все происшедшее со мной не больше чем несносный и глупый фарс, когда я с ожесточением затискивал мои вещи в чемоданы, с тем чтоб завтра же бежать из Петербурга, — даже и тогда мне казалось, что сзади кто-то стоит с нумером «Честолюбивой просвирни» в руках и иронически предлагает: а вот не угодно ли что-нибудь понять из моего «Бормотания»? И я со страхом опять принимался за работу укладывания, стараясь не поднимать головы и не оглядываться назад. Но вот наконец все уложено; я вздыхаю свободнее, зажмуриваясь бегу к постели и ложусь спать с сладкою надеждой, что завтра, в эту пору, Петербург, с его шумом и наваждениями, останется далеко позади меня…

Надежда тщетная. Хотя я заснул довольно скоро, но этот сон был томителен и тревожен. Сначала передо мной проходит поодиночке целая вереница вялых, бесцельно глядящих и изнемогающих под игом апатии лиц; постепенно эта вереница скучивается и образует довольно плотную, темную массу, которая полубезумно мечется из стороны в сторону, стараясь подражать движениям настоящих, живых людей; наконец я глубже и глубже погружаюсь в область снови-

дений, и воображение мое, как бы утомившись призрачностью пережитых мною ощущений, останавливается на единственном связном эпизоде, которым ознаменовалось мое пребывание в Петербурге. Эпизод этот — тот самый сон, который я видел месяцев шесть назад (см. выше: глава IV) и в котором фантазия представила меня сначала миллионером, потом умершим и, наконец, ограбленным.

Молодой человек, взявший на себя защиту интересов сестриц, оказался прав: роббер не весь был сыгран — сыграна была только первая партия. Месяца через три приговор присяжных был кассирован, и бессмертная душа моя с трепетом ожидала новых волнений и тревог. Эти тревоги были тем естественнее, что дело мое, совсем неожиданным для меня образом, вступило в новый фазис, в котором сестрицы, законные наследницы моих миллионов, были оттеснены далеко на задний план, а на место их, в качестве гражданских истцов, явились лица, так сказать, абстрактные и, во всяком случае, для меня посторонние. Характер дела окончательно изменился: вместо гражданского процесса на сцену выступило простое, не гарантированное правительством предприятие, в котором на первом плане стоя-

ло не то или другое решение дела по существу, а биржевая игра на повышение или понижение. Основной капитал — миллион в тумане; акций выпущено десять тысяч по семидесяти рублей за сто; в ожидании кассационного решения биржа в волнении: «покупатели» 71 3/4, «продавцы» 72 1/8, «сделано» 71 7/8. Затем: разносится слух, что кассационная жалоба уважена — «покупатели» 78 7/8, «продавцы» 79 7/8, «сделано» 79 1/2, разносится новый слух, что гражданские истцы нашли каких-то неслыханных и притом совершенно достоверных лжесвидетелей — «покупатели» 82 3/4, без *продавцов*; еще разносится слух: лжесвидетели, отысканные гражданскими истцами, оказываются недостоверными — «продавцы» 62 3/8, «покупатели» 58 3/4, «сделано» 59 1/2. И так далее. Можно себе представить, с каким лихорадочным любопытством должна была следить за этими изменениями бессмертная душа моя!

Я не помню подлинных выражений кассации, но приблизительно смысл ее был следующий. Прежде всего постановка вопросов, сделанных на первом суде, признана совершенно правильною. «Хотя невозможно не согласиться, — говорилось в решении, — что в столь

запутанном, имеющем чисто бытовой характер деле, каково настоящее, постановка вопроса о том, *согласно ли с обстоятельствами дела похищены подсудимым деньги*, представляется не только уместною, но даже почти неизбежною, тем не менее в судебной практике подобное откровенное обращение к присяжным заседателям представляет нововведение довольно смелое и, во всяком случае, не имеющее прецедентов. То же самое следует сказать и о другом вопросе, предложенном присяжным заседателям: *не поступили ли бы точно таким же образом родственницы покойного, если б были в таких же обстоятельствах, в каких находился подсудимый?* Он правилен, но чересчур уже нов. Оба вопроса грешат не столько со стороны уместности, сколько со стороны необычности и несоответственности тем правилам, которые предписываются издавна заведенными порядками канцелярского производства. Чтобы подобная постановка возымела надлежащую силу, необходимо, чтобы последовательно несколько составов присяжных заседателей не усомнилось в ее правильности и ответило на предложенные вопросы с тою же простосердечною ясностью, с какою ответил состав присяжных, решавших

дело на первом суде. Только этим путем может быть достигнуто убеждение, что в самом обществе существует *вкус* к подобным вопросам и что, следовательно, встречается настоятельная надобность и в судебной практике допустить некоторые полезные, соответствующие этому вкусу изменения. А потому и дабы избежать затруднений, коими изобилует рассматриваемое дело, представляется один практический выход: судить обвиняемого Прокопа во всех городах Российской империи по очереди, начав таковую с города Срединного, в коем, во всей неприкосновенности, сохранилась истина древнего изречения: «не надуешь — не наживешь». Если и засим невинность подсудимого восторжествует (что, впрочем, представляется почти несомненным), то признать вопросы поставленными правильно, самую же невинность счесть патентованною и навсегда огражденною от знака отличия бубнового туза».

Итак, душе моей предстояло продолжительное путешествие, последствия которого, впрочем, могли иметь даже некоторую назидательность. Увидеть Белебей, Тетюши, Спасск-Тамбовский, Спасск-Рязанский, Спасск-Казанский — разве это не высокое наслаждение? Быть свидетелем,

как добродетель торжествует в Острогожске, Конотопе, Наровчате и т. д. — разве это не высшая награда для чувствительного сердца? Но и помимо личных соображений разве не существуют еще общие, которые делают последствия предстоящего судебного странствия еще более поучительными и бесценными? Во-первых, какая грандиозная задача для наших провинциальных, проселочных судов! Начните хоть с белозерского суда, которому до сих пор были подсудны только снетки! Какие — спрашивается — преступления могут быть совершены снетками? Ну, соберутся снетки, подымут дым коромыслом, устроят против щуки стачку и даже бунт; потом та же щука стрелой налетит на них из-за тростников и проглотит всех бунтовщиков без остатка — на чем тут практиковаться суду! И вдруг вместо снетков на скамье обвиненных — *миллион*! Миллион, ваше сиятельство! Невинность непреоборимая! У нас, в Белозерске! Нет, как хотите, а при виде этого зрелища самые ленивые мозги и те невольно зашевелятся, а раз зашевелившись, уже не перестанут работать до тех пор, пока добродетель окончательно не восторжествует! Во-вторых, какой единственный в своем роде случай для общества, чтобы проверить свои

нравственные идеалы и устами присяжных заседателей разгадать загадку современности! И наконец, в-третьих, какая будущность для самого подсудимого миллиона! Во всяком городе нечто оплодотворить, кого-нибудь осчастливить и в заключение прибыть в Феодосию (последний по алфавиту город) в виде копейки серебром!

Но, признаюсь, меня всего больше интересовало, как выскажется в этом деле город Срединный. Хороши Тетюши, прекрасен Белебей, но Срединный — ведь это почти столица! Было время, когда Срединный чуть-чуть не сделался русскими Афинами; хотя же впоследствии афинство в нем мало-помалу обратилось в свинство, но и теперь это, во всяком случае, первый в России город по числу трактиров и кабаков. В Срединном я родился и воспитывался; здесь получил я первые понятия о «ташкентстве»; здесь сделал первые, робкие шаги в откупной карьере и от откупов непосредственно перешел к либерализму. Под неумолкаемый, отовсюду несущийся звон колоколов как-то легко пишутся проекты, в которых реформаторские затеи счастливым образом сочетаются с запахом сивухи и с тем благосклонным отношением к жульничеству, которое доказывает, что жульничество — сила

и что с этой силой необходимо считаться. Я помню счастливое детство и первые годы учения с массой гувернеров и гувернанток, обучавших лганью утонченному, и с стадом домашней челяди, обучавшим лганью грубому и закоснелому. Я помню наш дом в одном из бесчисленных переулков, с палисадником впереди и с обширным двором, застроенным амбарами, кладовыми и погребами, ломившимися под тяжестью «даровых» деревенских запасов. Я помню мужиков в рваных понитках, которые привозили эти запасы за двести верст из Проплеванной. Я помню, как папенька враждовал с дяденькой из-за того, что последний умел «сыскать» в слепенькой бабеньке, и как мы, дети, ложась на ночь в свои кроватки, долго рассуждали: скоро ли умрет слепенькая бабенька и успеет ли она оставить духовную в пользу дяденьки? Я помню мои путешествия с папенькой по присутственным местам, где у нас постоянно производились какие-то дела и где из-за решеток выглядывали какие-то воспаленные, изуродованные оспой и фистулой физиономии, которые, казалось, говорили: «Ко мне! сюда пожалуйте, здесь можно отца родного купить и обратно его с барышом продать!» Я помню путешествия с маменькой

по гостиному двору, где купцы с замечательной искренностью говорили: «В нашем деле, сударыня, не обвесить или не обмерить — все одно что по миру пойти!»

Ничего не забыла злопамятная душа моя…

В Срединном исстари существует инстинктивное вожделение ко всему, что носит на себе печать капитала или силы. Самый озлобленный на свою «незадачу» мещанин, такой мещанин, который с утра до вечера колотится, чтоб в результате получить грош, и тот мгновенно расцветает, как только чувствует, что к нему или к его платью прикоснулся «капитал». Физиономия его светлеет, сердце учащенно бьется, тело сладострастно вздрагивает. Спросите у этого жалкого, забитого нуждой человека, что так внезапно преобразило его, и он непременно ответит вам: «Помилуйте-с! Да ведь они теперича первые по нашему городу люди!» И ежели для вас, собственно, это объяснение ничего не объясняет, то для него, забитого мещанина, оно исчерпывает весь смысл его бытия и заключает в себе разгадку всех его поступков. Быть может, думаете вы, в нем колышется мысль: «Вот пойду поклонюсь этому человеку в ноги, и он даст мне рубль серебра!» Но, увы, даже и этой мысли у него нет! Он

расцветает вполне бескорыстно, расцветает потому только, что мошна есть единственный идеал, до постижения которого он успел возвыситься в продолжение многотрудной своей жизни, посвященной продаже и купле — продаже и купле всего, начиная с гнилых яблок и подержанных штанов и кончая подержанною и гнилою совестью…

В таком городе мой миллион должен произвести громадное, потрясающее впечатление. Нынче люди так слабы, что даже при виде сторублевой кредитки теряют нить своих поступков. — Что же будет, когда они увидят… целый миллион в тумане! Поэтому будущее процесса сразу выяснилось предо мной во всех его подробностях, и я очень хорошо понял ту наглую радость, которую ощутил Прокоп, когда ему объявили, что Срединному суждено положить начало торжеству его добродетели!

Прежде всего, однако ж, мне хотелось выяснить себе взаимное положение враждующих сторон, и потому душа моя немедленно воспарила в Проплеванную. Увы! мое старое дворянское гнездо как будто еще более почернело и вросло в землю. Сад опустел и обнажился; на дорожках лежала толстая стлань желтых, мокрых от дождя

листьев; плетневый частокол местами совсем повалился, местами еще держался кой-как на весу, как будто силился изобразить собой современное европейское равновесие; за садом виднелась бесконечная, безнадежная равнина; берега пруда были размыты и почернели; обок с усадьбой темнели два ряда жалких крестьянских изб, уныло глядевших друг на друга через дорогу, по которой ни проехать, ни пройти невозможно. На дворе изморось, ветер и грязь; все лица красны и опухли от сиверки, все одежды мокры от дождя. Над этой печальной картиной висело не менее печальное хмурое небо, как бы суля безнадежность, неприютность и тоску на бесконечное время…

Сестрицы обе налицо и в ожидании исхода кассационной жалобы делят между собой мою движимость. На стульях развешаны мои дворянские мундиры, старые сюртуки, фраки, панталоны совершенно так, как во время просушки летом на солнце от моли; на столе стоят банки с вареньем и соленьем, бутылки с наливкой и бутыль листовки, которую я охотнее других водок пивал при жизни. Ключница Авдотья (старая, думала ли ты когда-нибудь, что будешь свидетельницей этого разорения!), гремя ключами, беспрерывно приносит с погреба новые банки

и, наследив в зале мокрыми сапогами, опять отправляется на погреб за ношей. Мой дом всегда смотрел полною чашей, но сестрицы, по-видимому, изумлены той массой варенья, которую нашли у меня. Фофочка и Лелечка присутствуют при инвентаре моего имущества в качестве депутатов: первая — со стороны сестрицы Дарьи Ивановны, вторая — со стороны сестрицы Марьи Ивановны.

Сестрицы находятся в самом дружелюбном настроении духа. Мысль, что в будущем им придется поделить миллион, навеяла мир в сердца их и сделала их сговорчивее относительно банок варенья и старых панталон, дележом которых они в настоящую минуту заняты.

— Уж вы, сестрица, хоть одну банку с клубникой мне уступите! — говорит Марья Ивановна. — Глядите-ка, мне почти все банки с малиной достались.

— Извольте, сестрица!.. Фофочка! Отставь от нас банку с клубникой, а банку с малиной получи.

— Вот и мундирчик мне тоже достался! Шитье-цо-то только с виду золотенькое, а посмотреть на него — все-то оно выгорело!

— Зато на вашем суконце хорошее, сестрица! Мой-то ведь вывороченный! А я вот что, сестрица,

думаю: куда это поленишевка у братца девалась! Ведь как он ее, покойник, любил! Неужто Дунька-воровка все вылакала?

Но не успела сестрица Дарья Ивановна наклеветать на Авдотью, как последняя является с целым грузом поленишевки. Бутылки торчат у нее и в руках, и под мышками, и за пазухой, и в черном переднике, концы которого она закусила зубами.

— Огурцы-то после, что ли, делить будете? — спрашивает Авдотья.

— Завтра, Дуняша-голубушка, теперь у нас других делов много!

Сестрицы, чувствуя потребность отдыха, удаляются в гостиную и усаживаются на софу.

— Ну-с, сестрица, стало быть, вся земля от Матрешкинова оврага до Кривой Ели — моя? — начинает Дарья Ивановна.

— А от Кривой Ели до Софронова луга — моя, — отвечает Марья Ивановна.

— Главное, сестрица, чтоб разговору у нас не было, чтоб братца, голубчика, наши споры не потревожили! Пожил братец, царство небесное, не прожил, а нажил… надо и успокоить его, сестрица!

— Надо! Ах как надо! Как ему молитва-то наша

нужна! Ведь он, сестрица, царство ему небесное, как деньги-то наживал? И с живого, и с мертвого… с самого, можно сказать, убогого… все-то драл, все-то драл! Бедный-то придет, бывало, а он, вместо того чтоб милостыньку сотворить, его же нагишом и отпустит!

— Что говорить — не без греха! Ну да наше дело сторона! Наше дело — молиться, сестрица! Молиться да еще благодарить!

— И как еще, сестрица, благодарить! Вот я каждый день Лелечке говорю: «Благодари, дура! Если б не скончался братец, жила бы я теперь с вами, оболтусихами, в Ветлуге!» А у нас, сестрица, на Ветлуге и мужчин-то всего один, да и тот землемер!

Сестрицы на короткое время умолкают, чтоб перевести дух.

— И как это, сестрица-сударыня, хорошо нынче заведено! — начинает опять Дарья Ивановна. — Сидим мы теперича здесь в тепле да в холе: ни-то на вас ветром венет, ни-то дождем спрыснет, а он-то, аблокат-то наш, то-то, чай, высуня язык по Петербургу рыскает!

— Что ж, сестрица, взял денежки — и держись! Это уж звание их такое, чтоб за других, задеря хвосты, бегать! Иной человек ни за что по перед-

ним нюхать не пойдет, а он, по своему званию, и это занятие перенести должен!

— Слышала я, сестрица, что нынче над ними начальники в судах поставлены. Прежде не было, а теперь есть. Наш-то так-таки прямо и объявил: трудно, говорит, нынче, сударыня! Уж на что, говорит, я бесстрашен: и бурю, и слякоть, и холод, и жар — все стерплю! А начальства боюсь!

— Долго ли до греха! Вот тоже сказывают про одного: врал да врал, а начальник-то ему: вы, говорит, забыли, в каком государстве находитесь! В таком, говорит, государстве, где врать не дозволено! Так-таки прямо и выпалил!

Бог знает, куда бы завел сестриц этот простодушный разговор, если б в эту минуту не послышался звон колокольчика. Еще минута — и в гостиной совершенно неожиданно появился тот самый молодой адвокат, с которым я уже познакомил читателя в одной из предыдущих глав моего «Дневника» (я забыл тогда сказать, что фамилия его была Хлестаков, что он был сын того самого Ивана Александровича Хлестакова, с которым я еще в детстве познакомился у Гоголя, и в честь своего дедушки был назван Александром). Но, увы, в нем уже не было и тени той заискивающей предупредительности, кото-

рая так очаровала меня в то время, когда он вел переговоры с Прокопом!

Напротив, он был строг. Сам приказал зажарить цыпленка, сам выбрал бутылку поленишевки и, распорядившись, чтоб завтрак был подан немедленно, разлегся на диване и прямо приступил к делу. Сообщив сестрицам об успехе кассации, он объявил, что тем не менее торжество Прокопа в будущем вполне обеспечено. И нравы, и обычаи, и история, и статистика — все на его стороне. И он, адвокат, конечно, не потащился бы в эту «проклятую дыру» (так назвал он Проплеванную!), он даже плюнул бы на это поганое дело, если б не было надежды, что Прокоп со временем сам изнеможет под бременем торжества своей добродетели. Торжествовать по два, по три раза ежегодно, и притом торжествовать до самой смерти — с первого взгляда это кажется легко, но в сущности оно довольно обременительно. Что Прокоп *должен* пойти на сделку — это ясно, но вопрос в том, сколько потребуется времени для того, чтобы созрела в нем эта решимость. Быть может, год, а быть может, и двадцать лет.

— Согласитесь сами, старушки, что двадцать лет сряду таскаться к вам в Проплеванную — совсем для меня не лестно! — заключил он, все

непринужденнее и непринужденнее разваливаясь на диване и укладываясь, наконец, на нем с ногами.

Сестрицы, словно ошпаренные, молча стояли перед ним, покуда он поигрывал с pince-nez, насвистывал «l'amour ce n'est que ça[180]» и смотрел в потолок.

— Да-с, не лестно-с и не расчет-с! — начал он вновь, закидывая руки под голову. — Я в Петербурге от ста до тысячи рублей в день получаю — сколько это в год-то составит? — да-с! А вы тут с своею Проплеванною в глаза лезете!.. Я за квартиру в год пять тысяч плачу! У меня мебель во всех комнатах золоченая — да-с!

Сестрицы из учтивости раскрывали рты, как бы желая сказать нечто, но слова, очевидно, замирали у них на устах. Я ждал одного из двух: или он ляжет брюхом вниз, или встанет и начнет раздеваться. Но он не сделал ни того, ни другого. Напротив того, он зажмурил глаза и продолжал как бы в бреду:

— У меня строго. Я двадцать помощников нанимаю да тридцать человек рассыльных на свой счет содержу! И всем с утра до вече-

---

[180] Сноски: 180
Любовь — это просто (*фр.*).

ра работа. Свистнул — и разом во все стороны прыснули, только пятки сверкают! Опять свистнул — и опять все тут как тут! Мне каждый день до тысячи справок нужно, и все по делам — да-с! Я в прошлом году на два миллиона дел выиграл: по десяти процентов с рубля — сколько это денег-то будет! А многие даже половину отдают, только, братец, выиграй — да-с! А шельмецов сколько я защитил! Ну, то есть такого однажды мерзавца оправдал, что даже прикоснуться к нему скверно — да-с! Другие все отказались… а я — нет! Нет, говорю, господа! Это не так! Мерзавцу адвокат нужен! Коли, говорю, от мерзавцев отказываться, так нам и зубы, пожалуй, на полку придется положить!.. Да-с! У меня и сегодня в судебной палате разбирательство назначено… Миллион! А я вот в Проплеванной с вами наливки распиваю… да-с!

Сказавши это, он как-то усиленно засучил ногами, как делает человек, которому хочется одной ногой снять сапог с другой ноги.

— У меня каждое утро с одиннадцати до двух прием, и каждое утро не меньше ста карет у подъезда стоит — да-с! Но как только пробило два часа — прием кончился! Нет приема — и дело с концом. И тут мне хоть сто тысяч давай — дудки,

ни одной минуты больше! Один раз князь Слабомыслов только минуту опоздал — одну только минуту! «Александр Иваныч, — говорит, — секундочку!» — «Ни терции», — говорю! «Но почему ж так?» — «А потому, — говорю, — что ежели вашего брата, клиента, баловать, так вы и совсем потом оседлаете!» Да-с! Может быть, и теперь, в эту минуту, сто человек меня дожидается, а я… фью!.. где бы вы думали? в Пррроплеванной!

Сапог с одной ноги летит на пол.

— Меня однажды князь Серебряный (вот тот, что граф Толстой еще целый роман об нем написал!) к себе сманивал… да-с! «Если, — говорит, — сделают меня министром, пойдешь ты ко мне?» — «Нет, — говорю, — откровенно тебе скажу, князь, не пойду». — «Почему ж так? Я, — говорит, — только для виду министром буду, а всем прочим будешь распоряжаться ты!» — «И все-таки не пойду». — «Но почему же» — «А дашь ты мне, — говорю, — в год сто тысяч?» — «Но это, — говорит, — невозможно!» — «А невозможно, — говорю, — так и разговаривать нечего!..». Да-с! А теперь он скажет: ко мне идти не хотел, а в Проплеванную небось есть расчет ездить!

Другой сапог снят и летит на пол. При этом виде сестрица Дарья Ивановна решается наконец

быть откровенною.

— Александр Иваныч, батюшка, да будьте вы с нами по-родственному! — восклицает она, простирая руки и как-то глупо оттопыривая губы.

Восклицание это, по-видимому, возвращает молодого человека к действительности. Он не торопясь поднимается с дивана, протирает глаза и позевывает.

— Гм… я, кажется, сапоги с себя снял, — говорит он, — а вы уж и раскисли, старушки! По-родственному! Это значит: в Проплеванной с вами жить да наливки распивать… недурно сказано!

И он так нагло захохотал им в лицо, что я вдруг совершенно ясно понял, какая подлая печать проклятия должна тяготеть на всем этом паскудном роде Хлестаковых, которые готовы вертеться колесом перед всем, что носит название капитала и силы, и в то же время не прочь плюнуть в глаза всякому, кто хоть на волос стоит ниже их на общественной лестнице.

— Ну-с, — продолжал он, вновь принимая строгий и деловой вид, — разговаривать с вами мне некогда. Я приехал затем, чтоб предложить вам ультиматум. Примете его — прекрасно; не примете — только вы меня и видели!

Затем он вынул из бумажника пачку кредиток

и поднес ее к носу сестрицы Дарьи Ивановны…

Дело кончилось в каких-нибудь полчаса. Сестрицы продали и меня, и мой миллион за десять тысяч рублей, или, вернее, за пять тысяч, потому что только эта сумма была немедленно отсчитана, а остальные пять тысяч они имели право получить лишь тогда, когда феодосийские присяжные окончательно произнесут: «Да, Прокоп устранил миллион из прежнего помещения вполне согласно с обстоятельствами дела». Сверх того сестрицы обязывались: 1) являться на всех судах в бедной и даже рваной одежде, лгать, как будет указано, а в случае надобности и плакать; 2) дозволить магазину голландских и билефельдских полотен Гершки Зальцфиша (он же и антрепренер моего процесса, обязывавшийся действовать от имени сестриц) напечатать во всех газетах следующее объявление:

«НЕДАВНО

в нашем магазине купили полдюжины голландских носовых платков несчастные наследницы автора «Дневника»,

ОБЕЩАЯСЬ

в случае выигрыша процесса купить целый ассортимент рубашек, кальсон, носовых платков,

скатертей, салфеток и других полотняных товаров, продающихся у нас по баснословно дешевым ценам, в чем почтеннейшая публика удостоверится, посетивши наш магазин».

Alea jacta est![181] Где же принцип собственности? Где святость семейных уз? Если сестрицы сознавали свое право на обладание моим миллионом и если при этом им было присуще чувство собственности, то они были обязаны идти до конца, влечься к *своему* миллиону инстинктивно, фаталистически, во что бы то ни стало и что бы из того ни произошло! С другой стороны, ежели они чувствовали себя членами семьи, то точно так же фаталистически и до последней крайности обязывались мстить моему обидчику. И в чувстве собственности, и в чувстве союза семейного не может быть сделок, ибо это даже не принципы, а естественное влечение человеческой природы. Принципы можно сочинить, а следовательно, и отказаться от них или видоизменить, но каким образом устранить чувство, которое говорит само собой, независимо от каких-либо посторонних, искусственных влияний? Как заставить себя вожделеть только десять

---

[181] Сноски: 181
Жребий брошен! (*лат.*)

тысяч, когда предмет вожделений совершенно конкретен и составляет миллион? Не все ли это равно, что сознавать себя сытым, когда все нутро вопиет о голоде?

Но в наше развращенное время все возможно. Мы до того исковеркали себя, что даже самые естественные наши побуждения подчинили искусственным примесям. Мы суживаем и расширяем их по своему усмотрению, мы отдаем их в жертву всевозможным жизненным компромиссам, забыв совершенно, что самое свойство естественных чувств таково, что они не подчиняются ни человеческому произволу, ни тем менее каким-то компромиссам. Мать взыскивает по векселю с сына, подчиняясь естественному чувству собственности и в то же время попирая естественное чувство семейственности. Та же мать, взыскав деньги с одного сына, передает их другому, подчиняясь естественному чувству семейственности и отворачиваясь от естественного чувства собственности. Какой многознаменательный факт! Ужели это не повторение древнего мифа о Харибде и Сцилле? И каким образом усидеть меж этих двух стульев и не провалиться в конце концов? Газета «Честолюбивая просвирня», еженедельный орган русских

праздношатающихся людей, давно уже, впрочем, заметила этот разлад, и ежели до сих пор не сумела ясно Формулировать его, то единственно по незнанию русской грамматики. Знай она русскую грамматику, она доказала бы, как дважды два — четыре, что вредный коммунизм, и под землей и по земле, и под водой и по воде, как червь, или, лучше сказать, как голодный немец, ползет, прокладывая себе дорогу в сердца простодушных обывателей российских весей и градов!

Я чувствовал этот разлад вдвойне: и как консерватор, и как бывший откупщик. Не за себя мне было обидно, а за те святыни, которые с детства составляли животворящее начало моей жизни! Как мелки и даже нравственно испорчены показались мне сестрицы, и как был велик, непосредствен и целен по сравнению с ними Прокоп! Правда, и у него была минута слабости — минута, когда он предложил молодому Хлестакову десять тысяч рублей срыву, но затем он уже, как говорится, осатанел и вел себя как человек, в котором естественное чувство собственности совершенно заглушило все другие, наплывные соображения…

Даже молодой Хлестаков и тот, с точки зрения философской, являл себя более надежным

хранителем основных человеческих влечений, нежели те малодушные женщины, которые имели наглость называть себя моими сестрами и наследницами! Однажды завожделев, он тотчас же воплотил свое право и отдал себя ему весь до конца! И как блестяще он покончил с сестрицами! Как ловко он поднес пачку ассигнаций к самому носу сестрицы Дарьи Ивановны в такую минуту, когда она, ошеломленная кассационным решением, не могла даже понять, где кончается копейка и где начинается миллион! Бедная, она даже чихнула от наслаждения: до такой степени живо заговорило в ней чувство собственности! Да, это было чувство собственности, хотя чувство не полное, чисто женское, чувство, не умеющее отличить гривенник от рубля и, быть может, по этой причине не способное ни на какие самопожертвования ради великих общих принципов!

Да, надо, ах как надо написать об этом статью и послать ее к Менандру. Вместо того чтоб бормотать на тему, правильно или неправильно поступает огородник, разводя при огороде козлов (ведь это даже за насмешку принять можно, можно подумать, что и «огороды» и «козлы» тут только для прилику, настоящее же загла-

вие статьи таково: «Правильно ли поступает администратор, разводя в своем ведомстве либералов?»), не лучше ли прямо обсудить вопрос: отчего стремления, вполне естественные в теории, на практике оказываются далеко не столь естественными? Что тут составляет мираж: самые ли стремления или та практика, которая извращает их?..

Но какая, однако ж, это странная штука! Теперь моими родственниками и наследниками оказываются не сестрицы, а Хлестаков с целою шайкой совершенно неизвестных жидов, производящих распродажу полотен! О, пархатые! Каким чудом могло заползти в ваши сердца чувство родственной любви к человеку, вполне для вас неизвестному! Или я не человек, а только «рубль», на котором ничего не написано, кроме того, что это res nullius[182], которая, в этом качестве, caedet primo occupant[183], то есть еврею Зальцфишу, продающему настоящие голландские платки на углу Большой Мещанской и Гороховой!

Как бы то ни было, но симпатии мои к Прокопу возрастали все больше и больше. Не говоря уже

---

[182] Сноски: 182
Вещь ничья (*лат.*).

[183] Сноски: 183
Принадлежит первому, кто ею завладеет (*лат.*).

об его верности принципам, меня подкупали еще воспоминания. Он любил меня, он делил со мной радость и горе. Вместе с ним я изучал петербургские трактирные заведения, наслаждался Шнейдершей, Кадуджей, заседал в шухардинском международном статистическом конгрессе и вытерпел в «Отель дю Норд» опаснейший политический процесс. Наконец, какие превосходные устроил он мне похороны! Ввиду всего этого мог ли я винить его? Ведь деньги мои не были заперты, ведь он был один в момент моей смерти, или, по крайней мере, мнил себя быть одним! Ну мог ли же он? Ради самого бога, мог ли он воздержаться, мог ли не дать воли чувству стяжания, которое делается в особенности жгучим, почти нестерпимым, при виде того, что плохо лежит! И не забудьте, что ведь плохо-то лежал… миллион!

Где были в это время сестрицы? Бодрствовали ли они? Следили ли за тем, как я, постепенно спиваясь с кругу, погружаюсь на самое дно петербургских наслаждений! Нет, они унывали в Ветлуге! Они роптали на судьбу, которая послала на Ветлугу *только* одного мужчину, да и то землемера… О, маловеры!

Но, дойдя до этих злоключений, я сам испу-

гался. Оказывалось, что и во мне естественное чувство семейственности настолько ослабло, что и я не усомнился узы случайной приязни предпочесть узам кровного родства! Если б я не был развращен современными веяниями, я должен был бы любить сестриц во что бы то ни стало. Любить, хотя бы они ненавидели меня и делали мне на каждом шагу всякие мерзости! Братцы, сестрицы, грабьте — вы всегда будете милы мне! Почему вы *должны* быть мне милыми — это «тайна». Это неисповедимейшая из всех тайн современности, в которых ненависти и любви так хитро переплелись между собой, что сам Менандр, со всем собором пенкоснимателей, конечно, не разрешил бы, любовь ли тут породила ненависть, или ненависть породила любовь!

Сгорая нетерпением познакомиться с моими новыми родственниками, душа моя воспарила в Петербург. Но тут, я должен сознаться, воспоминания мои уже теряют свою последовательность и представляются в форме отрывков, лишенных строгой органической связи.

Сначала я перенесся как бы на сцену Большого театра. Давали «Жидовку». Все пархатые были налицо и производили тайное жидовское моление. За большим столом, покрытым белою

скатертью, посредине, лицом к зрителям, сидел Гершка Зальцфиш и разбитым тенором произносил возгласы. Он был одет в длинную одежду и препоясан, как бы собираясь в длинный путь. На столе лежали опресноки и зажаренная на собственном сале кошерная овца, приправленная чесноком. Мошка Гиршфельд, Иосель Зальцман, Иерухим Хайкл, Ицко Праведный и множество других жидов-акционеров (в числе их я узнал некоторых зубных врачей) расположились кругом стола и подтягивали. Они молились за успех моего дела и взывали к Иегове об отмщении. На одном конце стола приютился Александр Иваныч Хлестаков и, умильно посматривая на Рифку Зальцфиш, поместившуюся на другом конце, обдумывал, что выгоднее: перейти ли в жидовскую веру или потурчиться. Затем, когда кошерная овца была доедена, Хлестаков встал из-за стола и доложил общему собранию господ акционеров, что он успел отыскать двоих новых и притом совершенно достоверных лжесвидетелей. Один из них — известный нумерной Гаврюшка, который согласен за сто целковых и подтвердить, и переменить свое прежнее показание — как угодно; другой, елабужский мещанин Иуда Стрельников, который, ехавши

на пароходе от Казани до Елабуги, собственными ушами слышал, как бывший камердинер Прокопа, Семен, хвастался, что получил однажды от барина плюху за то, что назвал его вором. Показание это Стрельников соглашается подтвердить и на суде, если ему будет дано двести рублей.

— Но пусть лжесвидетели сами изложат перед собранием свои показания! — восклицает легкомысленный Хлестаков.

Входит Гаврюшка с заложенными по привычке назад руками. Он в оборванном сюртучишке; лицо безобразно опухло; глаза устремлены в пол; ноги дрожат. От всей его фигуры разит водкой, распутством и тем нестерпимым запахом, который можно обонять только в отвратительных конурах, где ютится на ночь трактирная прислуга. Он вздыхает как бы под бременем раскаяния и в то же время блуждает глазами по столу, разыскивая, нет ли где водки. Из-за него выглядывает маленькая юркая фигура расторопного елабужского мещанина Стрельникова.

Оба по очереди излагают свои показания. Гаврюшка поет свою арию пьяным басом, Стрельников — дребезжащим слабосильным тенором. По временам голоса их сливаются и образуют дуэт.

Затем их заставляют сесть на стулья и положить руки под стегно в знак того, что они будут лжесвидетельствовать по самой сущей истине и так точно, как научил их господин Хлестаков.

Лжесвидетелей увели; Гершка встал с своего места и как ошпаренный забегал по сцене. Глаза его горели, пейсы тряслись, на губах сочилась пена.

— Сами зе видели, сами зе теперь видели! — кричал он в исступлении.

— Видели! Видели! — отвечал ему хор.

— Иерухим! Теперь безите, безите теперь нах бирза… гешвинд! И всем сказите: наесли лзесвидетелей! Гёрсту! Не лозных, а настояссих, самых луцших лзесвидетелей! И продайте тысяцу акций!

Иерухим убежал, а Гершка вдруг закружился, начал подпрыгивать, колотить себя в грудь и выкрикивать какие-то неистовые звуки. Примеру его последовали и прочие, а между ними и Хлестаков. Таким образом продолжалось около получаса. Наконец все повалились кто куда попал, и Гершка потухшим голосом произнес:

— О, вей мир! И какой зе ты великий мосенник, Иерухим! И сто зе он там говорит! И мозно ли так говорить… и где зе?.. На бирза! И никаких зе

лзесвидетелей совсем нет! О, Иосель! О, друг мой Иосель! Безите теперь ви! Безите нах бирза и всем говорите! Всем сказите, сто Иерухим говорит… Ах, пфуй, сто зе он говорит! И ницего зе этого нет! И никакой лзесвидетель не приходил! И купите тысяцу акций!

Это было так любопытно, что душа моя сейчас же воспарила на биржу, чтоб удостовериться, что из этого выйдет.

Иерухима еще не было. Настроение биржи было вялое. Цена акций представлялась в следующем виде: «продавцы» 71, «покупатели» 70 1/2 без сделок. Вдруг прибежал Иерухим и, воздевши руки, воскликнул:

— О, вей! Насли двух самых луцших, самых настояссих лзесвидетелей!

Тогда произошло смятение. Все бросились покупать, и Иерухим в какие-нибудь полчаса времени спустил тысячу акций: «покупатели» 78 3/4, «продавцы» 80 1/2, «сделано» 79 7/8. Но в тот самый момент, когда Иерухим продал последнюю акцию, прибежал весь бледный Иосель и, растерзав на себе ризы, воскликнул:

— О, Иерухим! Ты великий мосенник и вор! Не верьте зе ему, не верьте! Никаких зе лзесвидетелей нет!

Целая толпа бросилась на Иерухима и принялась бить его. Но Гершка достиг своей цели: акции упали немедленно и были скуплены Иоселем обратно: «продавцы» 62 1/2, «покупатели» 62, «сделано» 62 1/8.

Итак, на моем деле Гершка, так сказать, моментально выиграл с лишком шестнадцать тысяч рублей! Этого мало: едва появилось в газетах объявление, что мои наследницы купили в магазине Зальцфиша полдюжины носовых платков, как публика валом повалила на угол Гороховой и Большой Мещанской и с десяти часов утра до десяти вечера держала в осаде лавку, дотоле никем не посещаемую. В этот день было продано сто дюжин рубашек, тысяча пар мужских и женских кальсон, пятьсот дюжин носовых платков и, по соразмерности, прочих товаров. Вечером Гершка телеграфировал в Ярославль с требованием скупить у тамошних баб все билефельдское полотно, какое окажется в наличности…

Однако факт существования лжесвидетелей был налицо, и я бросился к Прокопу, чтобы предупредить его насчет предательства Гаврюшки.

Но как же я был приятно изумлен!

Оказалось, что все это не больше как подпольная интрига, в которой деятельными лицами

являлись агенты Прокопа и жертвою которой должен был пасть молодой Хлестаков! Что и Гаврюшка, и Иуда Стрельников не только не лжесвидетели, но просто благонамереннейшие люди, изъявившие согласие за известную плату надуть моих новых пархатых родственников!

Я отсюда представляю себе эту изумительную сцену. Хлестаков горячится и требует призыва Гаврюшки и Стрельникова; напротив того, адвокат Прокопа с чувством и даже настойчиво отклоняет это требование. Но правда, однако ж, превозмогает; свидетели вызваны; Хлестаков потирает руки, настораживает уши, старается уловить *каждое слово*, каждый звук драгоценного свидетельства — и что же слышит?

— Ничего этого я не знаю, — говорит Гаврюшка, — человек я слабый, пьяный! Служил я у них — это точно… Только уж оченно строги они были… ах как были строги!

— Правда ли, что подсудимый неоднократно бил вас? — спрашивает Гаврюшку защитник Прокопа.

— И бивали… страсть как бивали! Бывало, чуть что — сейчас в ухо или по зубам!

— Прошу господ присяжных обратить на это показание особенное внимание! — обращается

защитник Прокопа к присяжным. — Оно уничтожает в прах все эти гнусные клеветы насчет подкупов и угроз, которые злонамеренно распускаются в обществе. Вот свидетель, который прямо показывает, что подсудимый не только не подкупал, но и бил его… и за всем тем, в благодарной своей памяти, не находит ни единого факта, который мог бы очернить моего клиента! Еще раз прошу вас обратить на это внимание!

— Было у нас это дело таким манером, — показывает в свою очередь Иуда Стрельников. — Призывают они меня, вот этот самый господин Хлестаков, и говорят: вот тебе, говорят, к примеру, два золотых; покажи, значит, что Семен Петров при тебе на пароходе хвастался! А я, ваше превосходительство, совесть имею. Как же, мол, говорю, Александр Иваныч, я теперича об этом самом деле показывать буду, коли ежели я ничего про него не знаю? Однако они меня не послушали: ничего, говорят, показывай! Я тебя вызову. Как угодно, говорю, а только мы против совести показывать не согласны! Только у нас и разговору, ваше превосходительство, с ними было!

Хлестаков краснеет и бледнеет — чувствует, как сознание собственного легкомыслия начинает угрызать его. Конечно, впоследствии он

поймет ту теорию «встречного подкупа», которую всесторонне разработал Прокоп, но когда он поймет ее, — будет уже поздно…

Каков сюрприз!

Но возвращаюсь к рассказу.

Я застал Прокопа в той самой гостинице, в которой он остановился по приезде в Петербург. Он, по обыкновению своему, шагал из угла в угол, но по временам останавливался и меланхолически рассматривал щегольской серый казакин с бубновым тузом на спине, который сгоряча заказал для себя и в котором теперь не предстояло никакой надобности. Перед ним, как бес перед заутреней, вертелся маленький человек: не то армянин, не то грек, — одним словом, существо, которое Прокоп под веселую руку называл православным жидом. Это был секретный агент Прокопа, на обязанности которого лежало отыскиванье *лжесвидетелей*, устройство различных судебных сюрпризов и другая черная работа. У дверей, прислонясь к притолоке, стоял ополоумевший от водки Гаврюшка и расторопный елабужский мещанин Иуда Стрельников.

— Боюсь, не поверили они! Не пойдут, брат, они на эту штуку! — как-то лениво резонировал Прокоп, выслушав доклад своего агента.

Гаврюшка только хлопал в ответ глазами. За него выступил вперед с ответом Стрельников.

— Ваше высокородие, позвольте слово сказать-с!

— Говори, братец!

— Возможное ли теперича дело, чтоб они не поверили, коли мы, значит, даже руку, с позволения сказать, под себя клали! По-ихнему, теперича какой это разговор? «Верное слово» — и больше ничего!

Прокоп вопросительно взглянул на «православного жида».

— Это так точно, ваше высокородие! — засуетился последний. — Это у них… Это ежели кто руку под себя положил…

— Позвольте, Экономид Мурзаханыч! — вступился Стрельников. — Я их высокородию все объясню. Ваше высокородие! Возможно ли мне этих делов не знать, коли я этого самого жида… другой, значит, козла своего столько не знает, сколько я этих жидов наскрозь проник!

— Ой ли? Очень уж, погляжу я, ты хвастаться ловок! А ты знаешь ли, что значит «елабужский мещанин»?[184]

---

[184] Сноски: 184

Елабужскими мещанами в Вятской губернии называют известных, особенно надоедливых паразитов. — *Примеч. авт.*

— И это знаю-с! Я все знаю-с. Потому я, ваше высокородие, не токма что в Елабуге, а даже в самом Париже проживание имел-с!

— Ври, дурак!

— Верное слово, ваше высокородие! Потому тятенька у меня человек строгий, можно сказать, даже ровно истукан простой… Жили мы, теперича, в этой самой Елабуге, и сделалось мне вдруг ужасть как непросторно! Тоись так непросторно, так непросторно! Ну и стал я, значит, пропадать: день меня нет, два дня нет — натурально, от родителев гнев. Вот и говорят мне тятенька: ступай, говорит, сукин сын, куда глаза глядят!

— Да в Париж-то тебя как нелегкая занесла?

— Постепенно-с. С господами приехал-с. Я, ваше высокородие, при каммуне сторожем состоял!

— Ну?

— Точно так, ваше высокородие. Только я, конечно, по чувствам своим больше до господина Тьера касательство имел… Утром, известно, в каммуне служишь, а вечером — касательство в Версали-с…

Стрельников смотрел так ясно и даже интеллигентно, что Прокоп, несколько раз во время разговора подмигивавший «православному жиду», окончательно повеселел.

— Выжига, значит!

— По нашему званию, ваше высокородие, никак без этого невозможно-с! Теперича, например, хоть бы вы-с. Призываете вы меня: предоставь мне, Стрельников, то али, положим, хочь и другое! Должен ли я вашему высокородию удовольствие сделать?

— Только ты смотри у меня, держись в *струне, не сбренди*! Я, брат, ведь зол! Я тебя — ежели что — в треисподней достану! Как только он тебя свидетелем вызовет — сейчас ты его удиви!

— Ваше высокородие! Довольно вам сказать: как перед истинным, так и перед вами-с! Наплюйте вы мне в лицо! В самые, тоись, глаза мне плюньте, ежели я хоть на волосок сфальшу! Сами посудить извольте: они мне теперича двести рублей посулили, а от вас я четыреста в надежде получить! Не низкий ли же я против вас человек буду, ежели я этих пархатых в лучшем виде вашему высокородию не предоставлю! Тоись, так их удивлю, так удивлю! Тоись… и боже ты мой!

……

Далее я не слушал: я понял.

Но тут нить моего сновидения прерывается окончательно. Я чувствую, что лечу стрелой

через необозримое пространство: лечу, лечу… и, наконец, упадаю на самое дно пропасти.

Прошло двадцать пять лет; девятнадцатый век на исходе, а Прокоп все еще судится. Из похищенного миллиона у него осталось всего-навсе двести пятьдесят тысяч, а он в течение двадцати пяти лет, несмотря на всю быстроту судопроизводства, едва-едва успел дотянуть до половины буквы В. Сто двадцать пять городов, местечек, посадов и крепостей были свидетелями торжества его добродетели, но сколько еще тысяч городов предстоит впереди — это невозможно даже приблизительно определить. К несчастию для Прокопа, благодаря чрезмерному развитию промышленности, каждый год, как на смех, возникает множество новых городов и местечек, так что ему беспрестанно приходится возвращаться назад, к букве А. А тут еще и другое неудобство: порядок переезда из одного города в другой, вследствие канцелярского недоразумения, принят алфавитный, и Прокоп по этой причине обязывается переезжать из Белева в Белозерск, из Белозерска в Белополье и т. д.

В настоящую минуту он в Верхотурье (Пермской губернии) и деятельно готовится к переезду в Верхоянск (Якутской области)…

Европа давно уже изменила лицо свое; одни мы, русские, остаемся по-прежнему незыблемы, счастливы и непреоборимы… В Европе, вследствие безначалия, давно есть нечего, а у нас по-прежнему всего в изобилии. Идя постепенно, мы дожили до того, что даже Верхотурье увидело гласный суд в стенах своих. Благо Уральский хребет перейден, а там до Восточного океана уж рукой подать!

Благодаря этой постепенности успехи, которые сделала русская жизнь в продолжение последних двадцати пяти лет, поистине изумительны. В каждом городе существует клуб, в котором за 75 копеек можно получить неприхотливый, но сытный обед, состоящий из трех блюд. Исправники не называются больше исправниками, а носят титул «излюбленных губернаторами людей» и в этом качестве занимают в клубах должности «главных старшин». Вредный административный антагонизм исчез совершенно; земские управы, изнемогши в борьбе с мостами и перевозами, оставили за собой лишь уездную и губернскую статистику, но зато довели эту науку до такого совершенства, что старик Кеттле, приехав однажды в Балахну («Балахня — стоит рот распахня», — говорит народная пословица),

воскликнул: «Nunc dimittis!»[185] — и тут же испустил многомятежный дух свой. Городские головы оставили за собой одну специальность: угощать по воскресеньям «излюбленных губернаторами людей» пирогами. В судах безначалие устранено окончательно благодаря тому, что независимость судей была счастливым образом уравновешена перспективою повышений и наград. Самые судьи собирались только по субботам единственно для того, чтобы закончить дела, начавшиеся еще в «эпоху независимости», и затем, условившись, куда идти вечером в баню, и явив миру пример судопроизводства гласного и невредного, расходились по домам. Хотя же рядом с «новыми» существовали еще «новейшие», но и им делать было нечего за отсутствием преступлений и процессов. Воровать и грабить было воспрещено строго-настрого, а в 1891 году, по инициативе белебеевского «излюбленного губернатором человека», всем ворам было поставлено в обязанность подать о себе особые ревизские сказки, по исполнении чего они немедленно были посажены на цепь, и тем сразу прекращены были способы для производства дальнейших с их сто-

---

[185] Сноски: 185
Ныне отпущаеши! (*лат.*)

роны беззаконий. Гражданские процессы тоже прекратились, так как общество убедилось, что оттягать, например, дом у соседа вовсе не значит получить этот дом в свою собственность, но значит отдать его адвокату в вознаграждение за ходатайство. Образование проникло всюду, так что даже пастухи, охраняя вверенные им стада, очень удовлетворительно склоняют *mensa*[186]. Паспортов нет; на место их введены маленькие-маленькие карточки, которые, занимая в кармане втрое менее места против прежних неуклюжих листов, доставляют населению удобства неисчислимые. Разделения на военных и статских не существует — все одновременно и статские и военные; сперва займутся статскими делами, то есть взысканием недоимок, потом сейчас же, вслед за тем, примутся за военные дела, выйдут на площадь, зачнут шагать, кружиться, потом опять шагать.

В колонну!

Соберись бегом!

Трезвону!

Зададим штыком!

---

[186] Сноски: 186
Стол (*фр.*).

Скорей, скорей! Скорей!

Нет также и разделения на платящих и неплатящих. Податная комиссия, выдав 501-й том своих трудов, выработала, наконец, устав, которым все остались довольны. Все платят, и притом с удовольствием, и притом против прежнего втрое. Затем, так как все необходимое уже выполнено и поводов для огорчений не существует, то политические и литературные партии, раздиравшие наше общество двадцать пять лет назад, исчезли сами собой. Ругательства, составлявшие красоту полемики семидесятых годов, упразднены, хотя литература совершенно свободна. Совет книгопечатания, однако ж, еще существует, но лишь для проформы, как нелишняя архитектурная подробность. Один Менандр не изменил традициям и дерзче, нежели когда-нибудь, выражает свой восторг по поводу переименования исправников в «излюбленных губернаторами людей». Внешняя политика тоже в порядке: по смерти Тьера мы успели усадить в президентское кресло действительного статского советника Петра Толстолобова, который, еще в бытность губернатором, выказал замечательный такт в борьбе с губернским предводителем дворянства. Австрию мы предоставили ее собственной судьбе, от Италии

получили верное слово, что ежели Пий IX будет упорствовать в своих заблуждениях, то все итальянцы, как один человек, обратятся в Св. синод с просьбой о воссоединении, и т. д. Остается один только неясный пункт: Византия еще не покорена. Но так как в газетах от времени до времени помещалась официозная заметка, извещавшая, что на днях последовало в законодательном порядке утверждение штатов византийской контрольной палаты, то даже сам И. С. Аксаков согласился до поры до времени молчать об этом предмете, дабы, с одной стороны, не волновать бесплодным лиризмом общественного мнения, а с другой стороны — развязать правительству руки, буде оно, в самом деле, намерено распространить на весь юго-восток Европы действие единства касс…

Вместе со всем окружающим изменился и Прокоп. Он одряхлел, обрюзг и ничего не может есть, кроме манной каши. Но дух его все еще бодр, так что даже теперь, прибыв в Верхотурье, он прежде всего спрашивает, каков клубный повар в Верхоянске и чего больше в тамошней гостинице: блох или клопов. Одним словом, намерения остались прежние, только средства к их выполнению ослабели.

Да и немудрено было Прокопу сохранить бодрость духа. В течение прошедших двадцати пяти лет он не только не понес никакого нравственного ущерба, но, благодаря процессу, успел сделаться одним из самых популярных людей в целой России. Везде, где он ни судился, остались благодетельные следы его пребывания. В Арзамасе ан пожертвовал сто рублей на соединение каналом реки Теши и Сережи; в Ардатове Симбирском на свой счет очистил от навоза базарную площадь; в Богучаре устроил народный праздник и кинул на драку сто рублей; в Алексине выписал из Голландии мастера, который научил обывателей мариновать знаменитых алексинских пискарей; в Волхове подал мысль о проведении железнодорожной ветви к Мценску, в видах успешнейшего сбыта несравненных болховских котелок, и т. д. Поэтому местные начальства принимали его с почтительным радушием и с твердой надеждой на более светлое для себя будущее. Во всяком городе существовала или грязь по колено, или навоз по уши, следовательно, всякому городу лестно было обратить внимание сильного человека на эти язвы, хотя бы и достоверно было известно, что капиталы этого сильного человека приобретены не совсем чи-

стым путем. Везде Прокопа чествовали на славу; везде сажали на первое место и угощали кашей на всевозможных бульонах.

Столь почтительно-благосклонное отношение начальствующих не могло не оказать влияния и на умы присяжных заседателей. Сначала в среде их, конечно, случалось нечто похожее на разномыслие, так что твердые в вере не иначе как с бою брали каждый свой шаг. Но это, очевидно, было только недоразумение, обязанное своим происхождением лишь новости дела. Я сам было испугался этому явлению и, сознаюсь, употребил даже военную хитрость, чтоб побороть его. А именно: однажды, заметив, что силы «борцов за миллион» ослабевают, я незримо пролетел между присяжными и сразу убедился, что этого вполне достаточно, чтоб добродетель Прокопа восторжествовала. Как только появилась моя тень, так тотчас же комната присяжных наполнилась тем острым «запахом миллиона», который в наши дни решает судьбу не гарантированных правительством предприятий… но, начиная с Ардатова, где Прокоп в одну ночь освободил базарную площадь от веками копившегося на ней навоза и к этой уловке прибегать не предстояло уже надобности, присяжные слов-

но осовели. Им, по-видимому, казалось даже странным, что на обсуждение их предлагается вопрос о каких-то родственниках, тогда как всем известно, что никаких заинтересованных в этом деле родственников нет, а есть просто шайка пархатых жидов, которые, по старинной ненависти к христианству, нанимают легкомысленного Хлестакова, чтобы терзать человека за то, что он не пропускает ни одной обедни! Ведь жиды уж наверное ограбили бы, наверное не оставили бы даже той старинной копеечки, которою благословила дедушку Матвея Иваныча неизвестная нищенка и к которой Прокоп из уважения к семейной святыне даже не прикоснулся! А если бы *они* ограбили, то почему же… об чем же тут толковать, скажите на милость?

По всем этим соображениям, начиная с Ардатова, даже судоговорения по моему делу почти никакого не было. Соберется суд; Прокопа усадят между двумя жандармами на скамью обвиняемых (постепенно он так обтерпелся, что бесстрашно пробовал пальцами, тупые или вострые у жандармских сабель клинки), прочтут на почтовых с пятого на десятое обвинительный акт (Прокоп во всеуслышание при этом восклицает: и зачем эти «часы» в сотый раз читают!) и в

одну минуту окрутят лжесвидетелей. Потом выйдет на сцену прокурор, скажет для проформы: «Ах какое негодование возбуждает в душе моей этот ужасный преступник, который даже не понимает, что, сознайся он, давно бы его сослали на поселение в Сибирь, в места не столь отдаленные!» — и сядет. Потом на смену прокурору выступит защитник Прокопа, скажет: «Ах какое негодование возбуждает во мне прокурор, который до сих пор не может понять, что в Сибирь идти никому не хочется!» — и тоже сядет. Наконец, встанет Хлестаков, и только что пригласит присяжных заседателей перенестись вместе с ним мыслью в Древний Рим, как председатель с твердостью, не допускающею возражений, заметит ему, что всякие разговоры в деле столь ясном неуместны, и затем объявит прения заключенными. Присяжные выйдут в свою комнату, произнесут: «Наплевать!» — и возвратятся в залу заседаний суда с приговором, признающим действия Прокопа не только удовлетворительными, но и должными.

При таком упрощении обрядов судопроизводства Прокопу нечего было страшиться. Не суд был обременителен для него, а переезды. Сначала он довольно охотно знакомился с городами Россий-

ской империи, но когда, в один и тот же год, ему пришлось посетить Баргузин, Барнаул, Бар, Бауск и Бахмут, он почувствовал некоторое утомление. Изумительное разнообразие климатов, флоры, фауны и проч. подействовало на него. Дух остался бодр, но тело… тело восчувствовало. Так что, при переезде из Архангельска в Астрахань, он разом потерял все зубы и сделался неспособным принимать какую-либо иную пищу, кроме каши.

Совсем в другом виде представлялось положение противной стороны, то есть гражданских истцов. Гершка Зальцфиш вышел из этого дела с честью. Нажив биржевою игрою значительный капитал, он предусмотрительно сбыл свои акции, когда они были еще в хорошем требовании: «продавцы» 76 3/4, «покупатели» 76 1/4, «сделано» 76 1/2. Но впоследствии, однако ж, и Гершка возгордился, а следовательно, и проворовался. Заняв во всех банках (вся Россия в то время была, как тенетами, покрыта банками, так что ни одному зайцу не было надежды проскочить, не попав головой в одну из петель) более миллиона рублей, он бежал за границу, но в Гамбурге был пойман в ту самую минуту, как садился на отправлявшийся в Америку пароход, и теперь томится в остроге (присяжные заседатели видели

в этом происшествии перст Божий). Затем все акции, по дешевой цене, скупил расторопный Иерухим в надежде поправить свои обстоятельства, но когда Азов, Аккерман, Акмолинск и Алапаевск последовательно выразились в пользу Прокопа, повязка вдруг спала с его глаз. Он бросился на биржу с предложениями, но было уже поздно: акции упали с быстротою молнии и в настоящее время стояли: «продавцы» 2 1/4 «*без покупателей*»! К довершению всего, Иерухима поразил и еще один удар: в 1881 году обе мои сестрицы померли (и в этом обстоятельстве для присяжных заседателей был ясен перст Божий), а с их смертью сошли со сцены последние достоверные лжесвидетели, которые дотоле фигурировали в процессе…

Если Прокоп одряхлел телом, то Иерухим одряхлел духом. Он как-то беспокойно вертел головой, словно к чему-то принюхивался и приглядывался. Но ни приглядываться, ни принюхиваться было уже не к чему. На моем деле иудейство всецело исчерпало самого себя и не возрождалось больше. На Иерухиме был замасленный дырявый кафтанишка, а ермолка на голове до того лоснилась и побелела, что издали можно было принять ее за только что навощенный паркет.

Прокоп из милости кормил и поил его и даже возил на свой счет за собою (разумеется, в третьем классе), но издержки на наем Хлестакова взять на себя не соглашался. А между тем эти-то издержки и составляли больное место бедного Иерухима. Хлестаков всецело отдал себя моему делу (ради принципа он отказался и от удобств золоченой мебели, и от своей пятитысячной петербургской квартиры) и потребовал от Иерухима не менее ста рублей в месяц жалованья. Сверх того, он был необыкновенно прожорлив, да и переезды его стоили немало (менее второго класса вагона он не соглашался ехать). Так что взятые в совокупности издержки на этот предмет требовали не меньше двух с половиною тысяч рублей в год.

— А тебе зе и вся цена — грос! — язвительно попрекал Иерухим своего защитника.

И сколько раз Иерухим слезно молил Прокопа! Сколько раз валялся у него в ногах!

— Васе высокородие, — вопиял он, — конците! Вам зе ницего не стоит дать бедному цестному еврею тысяцу рублей! Нехай его, собака, подавится! А вам зе, аи-аи, как хоросо будет! И вам хоросо, и мине… ай-ай-ай, как уфсем будет спокойно!

Но Прокоп оставался непреклонен.

— Нет, пархатый, — говорил он, — теперь я тебя не выпущу! Окрестись, обрежь кудри, оставь свою жидовскую веру — тогда кончу! Сам восприемником буду, дам тебе тысячу рублей в зубы — и ступай на все четыре стороны!

И Прокоп имел полное основание медлить. Независимо от почестей, с которыми его всюду встречали, он и в домашнем быту был окружен самыми заботливыми попечениями. «Православный жид» в каждом городе отыскивал для него достоверных лжесвидетелей; Гаврюшка служил у него в лакеях и, женившись на старой Прокоповой метрессе, остепенился и перестал пить; Иуда Стрельников тоже всюду сопровождал его и оказывал существенные услуги по части отыскивания новых метросок. В Ачинске ли, в Борзне ли — где бы ни был Прокоп, везде Иуда Стрельников отыщет именно то, что, по современному настроению Прокоповой души, ему требуется…

Одно только терзает Прокопа — это чувствительная убыль в капитале. Но в этом он должен винить исключительно самого себя, потому что с самого начала стал действовать уже слишком неосторожно, чересчур на широкую руку. Так, например, в Срединном выстроил разом сто

киосков для проходящих — но к чему такая бесполезная трата капитала в городе, где исстари заведены совсем другие по сему предмету обычаи! Сверх того, он условился платить своему официальному адвокату по десяти тысяч рублей за каждую поездку (он совершенно свободно мог ограничить этот размер тысячью рублями) и должен был смотреть сквозь пальцы, как «православный жид», не довольствуясь присвоенным ему содержанием, совершенно открыто запускал руку в его, Прокопа, шкатулку. Не будь этого мотовства, проценты с капитала легко покрыли бы все издержки по процессу, но, к сожалению, на первых порах, сгоряча, Прокопу показалось, что украденному миллиону не будет и конца, поэтому, увлекшись однажды, он очень скоро почал первую сотню тысяч, потом вторую, третью и т. д. Когда же, наконец, спохватился — было уже поздно: процентами с оставшихся двухсот пятидесяти тысяч ни под каким видом издержек процесса удовлетворить было невозможно… Напрасно старался он ввести благоразумную экономию в обиход свой: и официальный защитник, и «православный жид» уже «приобрели известные привычки, от которых отстать было довольно трудно. Первый отзывался, что ему

нужны деньги, ибо он только что приторговал дом у своего соседа с правой стороны, а затем намерен приторговать дом у соседа с левой стороны, а второй даже отзывов никаких не давал, а просто-напросто продолжал лазить в шкатулку. Да и Гаврюшка с Стрельниковым (уж на что верные люди!) не клали охулки на руку, особливо с тех пор, как Гаврюшка женился на Прокоповой мамзели, а Иуда Стрельников вступил с нею в секретную любовную связь.

Видя эти расхищения, Прокоп, конечно, скорбел, но тем не менее мысль о том, что он рязанско-тамбовско-саратовско-воронежский дворянин, ни на минуту не покидала его. Как дворянин четырех губерний, он обязывался отстаивать свою честь до последней капли крови или по крайней мере до тех пор, пока из похищенного миллиона не останется только сто тысяч. Эту последнюю сотню тысяч он решился сохранить для детей, из которых старший сын, преодолев ненависть к латинскому языку, занимал в настоящее время кафедру римских древностей в пошехонском университете. Только тогда, когда месячная расходная ведомость покажет, что налицо состоит лишь сто одна тысяча рублей, — только тогда он сочтет свою рязанско-тамбовско-саратовскую

честь отомщенною. Вероятно, это случится лет через пять, в Гавриловском посаде Владимирской губернии. Тогда он призовет Иерухима, кинет ему в лицо тысячу рублей и скажет: жри, собака! Потом он собственноручно изобьет «православного жида» и спустит с лестницы. Затем у него останется ровно сто тысяч, на которые он, за бесценок и в память обо мне, купит Проплеванную и учредит там гласную кассу ссуд… то бишь ссудо-сберегательный банк для крестьян…

Но возвращаюсь к рассказу.

Благодаря великому онего-усть-сысольско-верхотурскому железному пути, Прокоп очень комфортабельно совершил свое путешествие и теперь, совершенно как дома, расположился в верхотурской гостинице для приезжающих под фирмою «Удовлетворенный обыватель», из которой стараниями местного «излюбленного человека» навсегда были изгнаны блохи и клопы. Но не успел мой друг умыться и причесаться с дороги, как уже Гаврюшка доложил, что к нему явилась депутация от студентов Верхотурского университета. Университет был основан в недавнее время иждивением действительного статского советника (в военное же время корнета) и всех железнодорожных же-

тонов кавалера Губошлепова с специальною целью образования домашних Невтонов и быстрых разумом Платонов из соседних вогульцев и остяков. Но, несмотря на недавнее учреждение университета, студенты уже жаловались. Во-первых, с самого основания университета ни одна из учрежденных в нем кафедр до сих пор не была замещена; во-вторых, самое помещение университета в бывшей швальне инвалидной команды представляло очень значительные неудобства. Хотя же они, студенты, неоднократно приносили на действия г. Губошлепова жалобы действительному статскому советнику и всех жетонов кавалеру г. Мордухаю Проходимцеву, но получили ответ, в котором г. Проходимцев, ссылаясь на недавнее свое дело с ташкентским земством, выражал мысль, что в настоящее непостоянное время вступать в какие-либо обязательства по предмету распространения в России просвещения — дело довольно щекотливое: пожалуй, не поймут шутки, да и взаправду деньги вытребуют!

— Ваше высокородие, на вас одна надежда! Вам шайтан поможет! — взывали бедные вогульцы и остяки к Прокопу.

И надежда не тщетная, ибо Прокоп тут же вы-

нул из кармана десятирублевую ассигнацию, подал ее студентам и сказал:

— На первый раз… вот вам! Только смотрите у меня: чур не шуметь! Ведь вы, студенты… тоже народец! А вы лучше вот что сделайте: наймите-ка латинского учителя подешевле, да и за книжку! Покуда зады-то твердите — ан хмель-то из головы и вышибет! А Губошлепову я напишу: «Стыдно, братец! Сам людей в соблазн ввел, да сам же и бросил… на что похоже!»

Студенты ушли, благословляя имя своего благодетеля.

Не так дороги нам эти десять рублей, — рассуждали они между собой в передней, — как дорог благой совет!

Вслед за студентами явился градской голова с выборными от общества и поднес Прокопу большой горшок каши на рябчиковом бульоне.

— Клянчить пришли? — развязно спросил пришедших Прокоп.

— Как нам не клянчить! В нужде рождаемся, в нужде в возраст приходим, в нужде же и смертный час встретить должны! — ответил голова, понуривая голову, как бы под бременем благочестивых размышлений, на которые навело его упоминовение смертного часа.

— Говорите скорее: что нужно? Черт с вами! Что могу…

— Знаем, ваше высокородие, знаем мы твою добродетель! Слышали мы, как ты в Ардатове в одну ночь площадь от навоза ослобонил! Может, не одну тысячу лет та площадь всякий кал на себя принимала, а ты, гляди-кось, прилетел да в одни сутки ее, словно девицу непорочную, под венец убрал!

— А разве и у вас площадь… того?

— Нет, у нас площадь слава те господи! Храни ее Царица Небесная! С тех пор как Губошлепов университет этот у нас завел, каждый божий день студентов с метлами наряжаем. Метут да пометывают на гулянках! Одно только: монумента на площади нет! А уж как гражданам это желательно, как желательно! Просто, то есть брюхом хочется, чтоб на нашей площади конный статуй стоял!

И тут Прокоп не сказал слова. Он даже не стал расспрашивать, кому намерены верхотурцы воздвигнуть монумент: ему ли, Прокопу, Губошлепову ли, Проходимцеву ли или, наконец, тому «неизвестному богу», которому некогда воздвигали алтари древние нежинские греки. Он вынул из кармана двадцатипятирублевый билет

и так просто вручил его голове, что присутствующие были растроганы до слез и тут же взяли с Прокопа слово, что он не уедет в Верхоянск, не отведав у головы хлеба-соли.

После представителей городского общества явились председатель и члены земской управы, из которых первый поднес Прокопу богато переплетенный «Сборник статистических сведений по Верхотурскому уезду». Прокоп дал ему пять рублей, сказав:

— Дал бы, брат, и больше, да уж очень много вас нынче развелось! На каждом шагу словно западни расставлены! Одному десять, другому двадцать, третьему целых сто… Это и на здоровые зубы оскомину набьет!

Члены верхотурского суда, дабы не подать повода к неосновательным обвинениям в пристрастии, не решились представиться явно, но устроили секретную процессию, которая церемониальным маршем прошла мимо окон занимаемого Прокопом нумера. Причем подсудимый вышел на балкон и одарял проходящих мелкою монетой.

Наконец, пришел и сам верхотурский «излюбленный губернатором человек» и поднес Прокопу диплом на звание вечного члена верхо-

турского клуба. Узнав в «излюбленном человеке» бывшего сослуживца по белобородовскому полку (во сне мне даже показалось, что он как две капли воды похож на корнета Шалопутова), Прокоп до того обрадовался, что разом отвалил ему полсотенную, но «излюбленный человек» не сейчас положил ее в карман, а посмотрел сначала на свет, не фальшивая ли.

— Ну, теперь айда в суд! — весело сказал Прокоп, когда представления кончились.

Но в суде случилось нечто чересчур уж необыкновенное, нечто такое, что даже и во сне не всегда допускается…

Едва вошел Прокоп в сопровождении двух жандармов, как присяжные повскакали с своих мест и хором возгласили:

— Согласно с обстоятельствами дела! Согласно! Поступили бы! Хуже бы сделали! Хуже!

Напрасно протестовал Хлестаков, напрасно поднимал он свой голос, взывая к присяжным:

— Прежде нежели приступлю к изложению обстоятельств настоящего дела, милостивые государи, считаю долгом кратко изложить перед вами, какие взгляды имело древнее римское законодательство на воровство вообще…

— Знаем, знаем! Что ты нам очки-то втирать

хочешь? — кричали присяжные. — Сами дошлые! Ишь малолеток нашел!

Иерухима едва не разнесли на куски, и только благодаря Прокопову заступничеству ограничились тем, что вырвали у него пейсы.

— Благодарю вас, дети мои, — говорил Прокоп, рыдая, — благодарю! Гаврюшка! Стрельников! Вот четвертная! Четыре ведра… бегите… живо! Кушайте, голубчики! Веселитесь!

Увидев это, Хлестаков вдруг изменил тактику и изъявил Прокопу готовность из обвинителя сделаться его защитником в Верхоянске. Но Прокоп кратко и строго обезоружил его:

— На-тко, выкуси!

Избитый и полумертвый, Иерухим наконец восчувствовал. Он понял, что до сих пор блуждал во тьме, и потому изъявил желание немедленно принять христианство. Тогда Прокоп простил его, выдал, по условию, тысячу рублей и даже пожелал быть его восприемником.

Процесс кончился; у Прокопа осталось двести пятьдесят тысяч, из которых он тут же роздал около десяти. Сознавая, что это уже последняя раздача денег, он был щедр. Затем, прожив еще с неделю в Верхотурье, среди целого вихря удовольствий, мы отправились уже не в Верхоянск,

а прямо под сень рязанско-тамбовско-саратовского клуба…

К сожалению, однако ж, все это было только во сне; в действительности же мне было суждено проснуться самым трагическим образом.

XI

Я проснулся в больнице для умалишенных. Как попал я в это жилище скорби — не помню. Быть может, находясь в припадках лунатизма, я буйствовал, бросался из окна, угрожал другим. Но может быть также, что я обязан моим перемещением квартальному поручику Хватову, который, узнав о привлечении меня к опаснейшему политическому процессу, вспомнил о взаимном нашем хлебосольстве и воспользовался моим забытьем, чтоб выдать меня за сумасшедшего и тем спасти от справедливой кары, ожидавшей меня за то, что я подвозил мнимого Левассера на извозчике… Как бы то ни было, но печальная истина не сразу выяснилась в моих глазах. Некоторое время я все еще жил впечатлениями сна и даже восстанавливал себе наяву некоторые эпизоды, которые или совсем улетучились, или очень неясно промелькнули в моем сновидении.

Так, например, в сновидении я совсем не встречался с личностью официального Прокопова адвоката (Прокоп имел двух адвокатов: одного секретного, «православного жида», который,

олицетворяя собой всегда омерзительный порок, должен был вносить смуту в сердца свидетелей и присяжных заседателей, и другого — открытого, который, олицетворяя собою добродетель, должен был убедить, что последняя даже в том случае привлекательна, когда устраняет капиталы из первоначального их помещения) — теперь же эта личность представилась мне с такою ясностью, что я даже изумился, как мог до сих пор просмотреть ее. Припомнились мне также некоторые подробности из деятельности «православного жида»: как он за сутки до судоговорения залез в секретное место, предназначенное исключительно для присяжных заседателей (кажется, это было в Ахалцихе Кутаисском), как сначала пришел туда один заседатель и через минуту вышел вон, изумленный, утешенный и убежденный, забыв даже, зачем отлучался из комнаты заседателей; как он вошел обратно в эту комнату и мигнул; как вслед за тем все прочие заседатели по очереди направлялись, под конвоем, в секретную, и все выходили оттуда изумленные, утешенные и убежденные… Такова сила убеждения, которую умеет усвоивать себе даже омерзительный порок, в тех случаях, когда идет речь о добродетели, занимающейся устранением

чужих капиталов из первоначальных помещений!

Но все это уже прошло. Исчезли Ахалкалаки, Алешки, Бендеры, Бельцы, Валуйки! В Буинске судят уже не Прокопа, а мирового судью Травина (надоел он, должно быть, местным Прокопам!) за то, что не по чину весело время проводит; в Белозерске по-прежнему позорят заблудших снетков! Из всех лиц, с которыми мне пришлось иметь дело во время годичного пребывания в Петербурге, придется встретиться, быть может, только с тремя (разве еще кого-нибудь неожиданно притащат в больницу!), а именно: с обоими адвокатами Прокопа да еще с Менандром. Увы, и они, подобно мне, находятся в больнице для умалишенных, и я в эту самую минуту вижу из окна, как добродетельный адвокат прогуливается под руку с Менандром в саду больницы, а «православный жид» притаился где-то под кустом в той самой позе, в которой он в Ахалцихе изумил присяжных. Все они помешались. «Православный жид» помешался на том, чтобы устроить в Петербурге такую же «comptoir de confiance»[187], образчик которой он

[187] Сноски: 187
Кредитная контора (*фр.*).

недавно видел в водевиле «Tricoche et Cacolet». Добродетельный адвокат однажды как-то слышал анекдот о девице, которая и невинность сохранила, и капитал приобрела, и помешался на том, что он столько лет прожил на свете и не знал этого средства. Что же касается до Менандра, то он, как и следовало ожидать, помешался на тушканчиках.

— Преследуют, братец, меня эти мерзавцы! — открылся он мне при первом же свидании, — забрались в мою газету, и ничем их оттуда не вытравишь! Зато, брат, как я узнал теперь этих тушканчиков! Клянусь, не хуже самого Перерепенки! Да что пользы в этом! Одного ухватишь — смотришь, ан другой уж роется где-то и что-то грызет!

Обо всем этом, однако же, речь впереди; теперь же я чувствую себя обязанным подвести итоги тому, что видел в Петербурге в течение годичного пребывания в этом городе.

Прежде всего я должен оговориться. Я заносил в свой «Дневник» далеко не все, что видел и что происходило со мною и вокруг меня. Во-первых, меня стесняли самые пределы «Дневника», а во-вторых, стесняло еще и то обстоятельство, что не только не обо всем можно, но не обо всем

и удобно говорить, особенно в той чисто беллетристической форме, которую, по издавна вкоренившейся привычке, я усвоил своему труду.

Говорю прямо: я совершенно оставил без упоминовения некоторые категории людей и явлений, воспроизведение которых было бы далеко не лишним для характеристики нашего времени. Не одними Прокопами, Менандрами, Толстолобовыми и «православными жидами» наполнен мир — есть в этом мире и иные люди, с иными физиономиями и иному делу посвящающие свою жизнь. Составляя почти незаметное меньшинство, эти люди тем не менее слишком часто служат темой для общественного говора, чтобы можно было их игнорировать. Почему же я ни одним словом не упомянул об них?

Оправдание мое, однако же, проще, нежели можно ожидать с первого взгляда. Прежде всего не эти люди и не эти явления сообщают общий тон жизни, а потом — это не люди, а жертвы, правдивая оценка которых, вследствие известных условий, не принадлежит настоящему.

Существуют два вида подобных людей и явлений: один, к которому можно относиться апологетически, но неудобно отнестись критиче-

ски; другой — к которому можно сколько угодно относиться критически, но неудобно отнестись апологетически. Каким образом и откуда произошло это сидение меж двух стульев, делающее немыслимою спокойную оценку явлений и фактов, совершающихся у всех на глазах, — я не знаю (то есть, быть может, и знаю, но скромность так уже въелась в мою природу, что я прямо пишу: не знаю), но что оно существует — этого даже клейменый лжец не отвергнет. Зачем же я буду садиться меж двух стульев? Зачем стремиться занять позицию, на которой — я знаю это наверно — рано или поздно, тем или другим способом, но провалюсь?

Чтоб сделать это более ясным для читателя, я приведу здесь пример, который, впрочем, в строгом смысле, очень мало относится к настоящему делу. (Я знаю, что относится, и притом самым близким образом, и все-таки пишу: «не относится». О, читатель! Если б ты знал, как совестно иногда литератору сознавать, что он литератор!)

Возьмем так называемых новых людей. Я, разумеется, знаю достоверно — как знает, впрочем, это и вся публика, — что существуют люди, которые называют себя новыми людьми, но не менее достоверно знаю и то, что это не манекены с на-

клеенными этикетами, а живые люди, которые в этом качестве имеют свои недостатки и свои достоинства, свои пороки и свои добродетели. Как должен был бы я поступать, если б повел речь об этих людях?

Начну с пороков. Я мог бы, конечно, не хуже любого из современных беллетристов, лавреатов и нелавреатов, указать на темные (я должен был бы сказать «слабые», но смело пишу: «темные») стороны, которые встречаются в этой немноголюдной и, во всяком случае, не пользующейся материальною силой корпорации. Эти темные стороны настолько уже изучены и распубликованы, что мне ничего не стоило бы с помощью одних готовых материалов возбуждать в читателе по поводу «новых людей» то смех, то ненависть, то спасительный страх. Но меня останавливает одно обстоятельство: не будет ли это слишком легкомысленно с моей стороны? Не докажу ли я своим бесконечным веселонравием или своей бесконечной пугливостью, что я не совсем умен, и ничего больше? Ведь ежели я стану смеяться или пугать просто: как, дескать, оно смешно или омерзительно! — это, быть может, покажется несколько глупым; а ежели я захочу смеяться или пугать вплотную,

то не найдусь ли я вынужденным прежде всего подвергнуть осмеянию самые причины, породившие те факты, которые возбуждают во мне смех или ужас? Вот эти-то причины и приводят меня в смущение.

Кто знает: быть может, известные порочные явления сделались таковыми лишь благодаря порочной обстановке, в которой они находятся? Быть может, если дать человеку возможность выговориться вполне, то ультиматум, который вертится у него на языке, окажется далеко не столь ужасным, как это представляется с первого взгляда? Как знать, что было бы, если бы, и что могло бы случиться, кабы?.. И хотя я отнюдь не утверждаю, что основания для подобных предположений существуют в действительности — я даже думаю, что на деле никаких неблагоприятных обстановок и в помине не имеется, — но ведь возможны же подобные предположения, а если они возможны, то, стало быть, и самый иск, направленный против порочных явлений, становится до крайности рискованным и шатким. Для чего буду я ставить себя в ложное положение? Для чего, отыскивая меду, я добровольно буду направлять свои стопы к такому месту, которое, быть может, скрывает мед, а быть мо-

жет — деготь? Допустим, что, при известных усилиях, я действительно найду наконец эти темные стороны, сумею в ясных и художественных образах воспроизвести их и даже отыщу для них лекарство в форме афоризма, что преувеличения опасны. Кому предложу я свое лекарство? Не такому ли больному, который, по самой своей обстановке, никаким лекарством пользоваться не может? И не вправе ли будет этот больной в ответ на мою предупредительность воскликнуть: помилуйте! Да прежде нежели остерегать меня от преувеличений, устраните то положение, которое делает их единственною основой моей жизни, дайте *возможность* того спокойного и естественного развития, о котором вы так благонамеренно хлопочете!

Вот какая беда может случиться при описании пороков «новых людей». А с добродетелями и того хуже. Известно, что «новый человек» принадлежит к тому виду млекопитающих, у которого по штату никаких добродетелей не полагается. Значит, самое упоминовение имени добродетелей становится в этом случае предерзостным и может быть прямо принято за апологию. Но писать апологию подобных явлений — разве это не значит прямо идти вразрез

мнениям большинства? И притом не просто в разрез, а в такую минуту, когда это большинство, совершенно довольное собой и полное воспоминаний о недавних торжествах, готово всякого апологиста разорвать на куски и самым веским и убедительным доказательствам противопоставить лишь голое fin de nonreçevoir?[188]

Таким образом, «новый человек», с его протестом против настоящего, с его идеалами будущего, самою силою обстоятельств устраняется из области художественного воспроизведения, или, говоря скромнее, из области беллетристики. Указывать на его пороки — легко, но жутко; указывать же на его добродетели не только неудобно, но если хорошенько взвесить все условия современного русского быта, то и материально невозможно.

Точно такие же трудности представляются (только, разумеется, в обратном смысле) и относительно другой категории людей — людей, почему-либо выдающихся из тьмы тем легионов, составляющих противоположный лагерь, людей, мнящих себя руководителями, но, в сущности, стоящих в обществе столь же изолированно,

---

[188] Сноски: 188
Отказ дать судебному делу законный ход (*фр.*).

как и «новые люди», и столь же мало, как и они, сообщающих общий тон жизни (в действительности не они подчиняют себе толпу, а она подчиняет их себе, они же извлекают из этого подчинения лишь некоторые личные выгоды в награду за верную службу бессознательности).

Существует мнение, что эти люди уже по тому одному порочны, что находятся в лагере духовной нищеты. Нечего и говорить, что я не разделяю этого мнения. Напротив того, я убежден, что многие из этих людей обладают очень крупными достоинствами и даже оказывали несомненные услуги делу человечества. Описание добродетелей их не только было бы любопытно, но могло бы представить и весьма эффектную картину. Но скажите на милость, каким образом я приступлю к воспроизведению типов этих людей, когда в моем распоряжении находятся *только* добродетели их и когда я буквально не имею в своем свободном распоряжении ни одного материала, на основании которого мог бы хотя одним словом заикнуться об их слабостях, а тем менее о пороках? Ведь в художественном смысле это будет уж не картина, а светлое пятно, точно так же как будет не картина, а темное пятно в том случае, когда я приступлю к воспроизведе-

нию типов «новых людей», придерживаясь лишь безапелляционных суждений, которые сложились об них в обществе!

Я знаю многих очень достойных людей из разряда «торжествующих». Эти люди в свое время были носителями очень почтенных идеалов и стремились к осуществлению их со всем пылом самоотверженности, рискуя даже потерять столоначальнические места, которые они в то время занимали. Само собой разумеется, теперь, когда карьера их уже сделана, мне ничего не стоило бы посвятить перо мое воспроизведению их добродетелей. Но вот — в то самое время, как перо мое готово размахнуться и подписать одобрительный аттестат такому-то «орденов кавалеру», — является, словно на смех, художественное чутье и подсказывает мне: а ведь «кавалер-то» твой не без изъянцев! А следом за тем встревоженное воображение начинает рисовать и целый ряд этих изъянов. Изъян первый: как ни самоотверженно вели себя «кавалеры», но они всегда как-то ухитрялись, что приурочивали свою самоотверженность к «новым местам», или, учтивее сказать, всегда случалось, что из их самоотверженности вытекали новые места. Изъян второй: хотя период самоотвержен-

ности для них несомненно миновался, но они настолько злопамятны, что и доселе не могут об нем позабыть. А потому не понимают: 1) что почва, на которой они когда-то стояли, давно изменилась; 2) что речи, которыми они призывали к движению, сделались общим местом; 3) что цели, осуществление которых они считали заветной мечтой жизни, остались позади и заменены другими, хотя и составляющими естественное их продолжение, но все-таки имеющими некоторую от них отличку. Изъян третий: постоянно находясь под игом воспоминаний о периоде самоотверженности, они чувствуют себя до того задавленными и оскорбленными при виде чего-либо нового, не по их инициативе измышленного, что нет, кажется, во всем их нравственном существе живого места, которое не ныло бы от уязвленного самолюбия. Изъян четвертый: чувствуя себя уязвленными, они уже не могут спокойно смотреть на проходящие перед их глазами новые явления и нередко руководствуются в отношении к последним не совсем хорошим чувством мести.

Конечно, я гоню прочь все эти непрошеные подсказыванья встревоженной мысли, я призываю на помощь всю мою решимость, чтоб как-нибудь

обойти их, но что же мне делать с художественным чутьем, которое не хочет знать ни сплошь добродетельных, ни сплошь порочных людей? Как заставить его замолчать, когда оно совершенно ясно доказывает, что всякая картина, чтоб быть правдоподобною, должна допустить сочетание света и теней? Что буду я делать с этими «кавалерами», которых фигуры производят на человеческий ум то же удручающее впечатление, которое производит на зрение ослепительный солнечный луч?

Таким образом, оказывается, что все стоящее до известной степени выше ординарного уровня жизни, все представляющее собой выражение идеала в каком бы то ни было смысле: в смысле ли будущего или в смысле прошедшего — все это становится заповедною областью, недоступною ни для воздействия публицистики, ни для художественного воспроизведения.

Средний человек, человек стадный, вырванный из толпы, — вот достояние современной беллетристики. Взятый сам по себе, со стороны своего внутреннего содержания, этот тип не весьма выразителен, а в смысле художественного произведения даже груб и неинтересен, но он представляет интерес в том отношении,

что служит наивернейшим олицетворением известного положения вещей. Он представитель той безразличной, малочувствительной к высшим общественным интересам массы, которая во всякое время готова даром отдать свои права первородства, но которая ни за что не поступится ни одной ложкой чечевичной похлебки, составляющей ее насущный хлеб. Кроме этой похлебки, она ничего не знает, и, уж конечно, тот потратил бы даром время, кто предпринял бы труд вразумить ее, что между правом первородства и чечевичною похлебкой существует известная связь, которая скорее последнюю ставит в зависимость от первого, нежели первое от последней.

Как выразители общей физиономии жизни, эти люди неоцененны, и человек, желающий уяснить себе эту физиономию, должен обращать взоры вовсе не на тех всуе труждающихся, которые идут напролом, и не на тех ловких людей, которые из жизни делают сложную каверзу, с тем чтобы, в видах личных интересов, запутывать и распутывать ее узлы, а именно на тех «стадных» людей, которые своими массами гнетут всякое самостоятельное проявление человеческой мысли. В этом случае самая «стадность» не производит ущерба художественному воспроизведению;

нет нужды, что эти люди чересчур похожи друг на друга, что они руководятся одними и теми же побуждениями, а потому имеют одну или почти одну и ту же складку, и что все это вместе взятое устраняет всякую идею о разнообразии типов: ведь здесь идет речь собственно не о типах, а о положении минуты, которое выступает тем ярче, чем единодушнее высказывается относительно его лагерь, видящий в чечевичной похлебке осуществление своих идеалов.

Я не думаю, чтоб читатель мог индифферентно относиться к общему тону жизни, хотя бы уровень ее стоял и не весьма высоко. Я согласен, что действительность, которая содержанием своим напоминает сказку о белом и буром бычках, способна возбуждать скорее скуку, нежели желание познакомиться с нею, но знать ее все-таки необходимо, потому что без этого знания невозможна самая жизнь. Возьмите самого самоотверженного человека, такого, идеалы которого прямо идут вразрез с содержанием настоящего, — и об нем нельзя сказать, чтоб он был *властен* расположить свою жизнь вполне согласно с своими идеалами. И его мы знаем не в состоянии спокойного обладания идеалами, а в состоянии борьбы, в которой начало возбуждающее, полемическое

очень часто принимает преобладающую роль перед началом положительным, догматическим. Против кого предпринимается эта полемическая борьба в ущерб прозелитизму, имеющему в виду достижение положительных результатов? Против того ли «ветхого человека», который ради своих личных интересов стремится остановить развитие жизни? Да, с первого взгляда, конечно, кажется, что все стрелы борьбы направлены исключительно в эту сторону. Но борьба была бы слишком легка и равнялась бы единоборству, если б это было так в действительности. На деле между двумя борющимися сторонами есть третий член, играющий роль проводника. Через этот проводник проходят все стрелы, и смотря по его свойствам, а равно и смотря по умению пользоваться этими свойствами, они для одной борющейся стороны делаются более, а для другой менее удручающими. Прокопы, Нескладины и проч. именно и составляют этот проводник, и с ним-то я и желал познакомить моего читателя. Не для того познакомить, чтоб он любовался их физиономиями, а для того, чтобы, познав их, он получил возможность сделать для себя более ясным положение минуты.

С такой точки зрения смотрел я на свою задачу,

и этот же самый взгляд позволяю себе рекомендовать и моему читателю. Я чужд был всяких претензий возводить в тип кого-либо из моих героев; я знаю, что в каждом из них найдется довольно много противоречий, которые, быть может, дадут место некоторым недоразумениям. Но я прошу читателя видеть в действующих в моем «Дневнике» лицах нечто второстепенное, несущественное, около чего лепится главное и существенное: рассказ о положении минуты и общих тонах современной русской жизни.

Какого же рода итоги можно вывести из сделанного мною беглого обзора положения минуты? Не знаю, согласится ли со мною читатель, но желал бы, чтоб он вместе со мной пришел к нижеследующему.

Первый итог — это живучесть идеалов недавно упраздненного прошлого.

Уничтожение крепостного права, сделавшись совершившимся фактом, открыло перед нами новые перспективы, и была одна минута, когда едва ли нашелся бы хоть один член русской интеллигенции, который не сознавал бы для себя ясными (или по крайней мере не притворился бы ясно сознающим) все логические последствия этого факта. Либерализм был в ходу и давал тон

жизни. Большинство выражало этот либерализм тем, что стыдилось и каялось, меньшинство — тем, что прощало и забывало прошлое (оставляя, впрочем, за собой право по временам поддразнивать покаявшихся). То было время образцовых мировых посредников, которые прежде всего указывали на возвышенный характер лежащих на них обязанностей и только вскользь упоминали о присвоенном этой должности содержании. То было время, когда и покаявшиеся, и простившие слились в одних общих объятиях, причем первые, в знак возвращения к лучшим чувствам, сделали на двугривенный уступок и, очистив себя этим путем от скверны прошлого, получили даровые билеты на вход в святилище нового дела. То было время, когда одиноко раздававшиеся голоса Н. Безобразова и Г. Б. Бланка вызывали улыбку сожаления и когда сомнения в живучести русского либерализма встречались с ожесточением и ненавистью.

Но сомнения прорывались уже и тогда. И тогда были люди, которые подозревали, что столь перывистый переход от беззаветного людоедства к не менее беззаветному либерализму представляется не совсем естественным. «Посмотрите! — говорили эти сомневающиеся, — Петр Иваныч

Дракин-то! Еще вчера стриг девкам косы и присутствовал на конюшне при исправлении людей на теле, а сегодня, словно в баню сходил, — всю старую шкуру с себя смыл! Только и слов на языке: «Слава богу, и мы наконец освободились от этого постыдного, ненавистного права стричь девкам косы и наказывать на конюшне людей!» И точно: стоило только вглядеться в Дракина, чтоб убедиться, что тут есть что-то неладное. Весь он вчерашний, и сам вчерашний, и халат у него вчерашний, и вчерашняя у него невежественность, соединенная с вчерашнею же непредусмотрительностью, — только язык он себе новый привесил, и болтает этот язык какую-то новую фразу, одну только фразу, из которой нельзя видеть ни того, что ей предшествовало, ни того, что будет дальше. Самая изолированность этой фразы, ее частое, буквальное, автоматическое повторение уже должны были навести на мысль, что либеральничать так отчетливо и притом так одноформенно может только такой человек, который, несомненно, находится под гнетом временного ошеломления.

Но многие примечали сверх того, что Петра Иваныча по временам как будто передергивает. Что он, хотя и повторит раз десяток кряду: «На-

конец мы освободились!» — но вдруг ни с того ни с сего возьмет да и завертится на одном месте, словно ему душно сделается. Что он под шумок что-то подстраивает и округляет: там переселеньице на вертячие пески устроит, в другом месте конопляники или капустники оттянет, будто как испокон веку так владел. И затем, покружившись на месте, устроив переселенье и оттягав конопляники, опять начинает: «Наконец освободились и мы!»

Указывая на эти признаки, маловеры говорили: «Смотрите, прошедшее этих людей слишком свежо, чтоб они могли разом от него отказаться! Настоящее пришло к ним внезапно; они отмахивались от него сколько могли, и ежели не в силах были вполне отмахаться, то потому только, что история не дала им устойчивости, а школа приготовила не к серьезному воззрению на жизнь, а к дешевому пользованию ею. Эти люди не только не в состоянии видеть естественные последствия какого бы то ни было факта, но могут лишь скомкать самый конкретный факт и намеренно или ненамеренно довести его до бесплодия…»

Признаюсь, однако ж, я не принадлежал к числу этих маловеров. Я, помню, все кричал: «Шибче! Накаливай! Ну, миленькие, еще, еще,

еще чуточку!» Подобно большинству тогдашних новоявленных либералов я простирал Петру Иванычу Дракину объятия и говорил: «Петр Иваныч! Еще вчера ты был весь в навозе, а нынче, смотри, какой ты стал чистенький!» Да и мудрено было поступать иначе. В то время и жилось светло, и дышалось легко. Стоило сходить в мировой съезд, чтоб почувствовать, как в груди начинает саднить и по жилам катится какая-то горячая, совсем новая кровь. И я не только сердился на маловеров, но даже с полною откровенностью предлагал им вопрос: что вам еще надобно! Даже и теперь, вспоминая об этом времени, я чувствую, как меня саднит и теплота разливается во всем моем существе, и мне кажется, что если б можно было — о, если б было можно! — остановить часовую стрелку на той самой минуте, когда Петр Иваныч впервые сказал: «Наконец и мы освободились!» — как было бы это хорошо!

Да, это было бы хорошо даже в том случае, если б Петр Иваныч сказал эту фразу не своим, а чужим языком. Что нам за дело до его внутреннего чувства, если он не может применить его на практике! Пусть чувствует себе, как хочет и что хочет, а мы, несмотря на его чувства, будем идти далее полегоньку вперед. Было, положим,

без пяти минут восемь, когда он в первый раз произнес: «Наконец-то освободились и мы» — и пусть бы остались эти без пяти минут восемь неподвижно и навсегда. Пусть время шло бы себе, а Петр Иваныч пусть поглядывал бы на часы и все думал: «Успею еще напакостить! Ведь всего без пяти минут восемь!» Но в том-то и деле, что мы впопыхах забыли остановить маятник, а он, покачиваясь да покачиваясь, и навел Петра Иваныча на мысль: а ведь времени-то, однако ж, довольно ушло!

Благодаря нашей оплошности эта мысль была для него целым откровением. И он ухватился за нее цепко и горячо, да, пожалуй, и не мог не ухватиться, потому что, говоря по совести, ведь в крепостном праве Петр Иваныч потерял свою Эвридику. Он потерял ее в ту самую пору, когда чувствовал себя в полном соку, когда ни один физикат в целом мире не нашел бы в нем ни малейшей погрешности, которая бы свидетельствовала о его несостоятельности. Мог ли он позабыть это! И вот, как только он убедился, что время не остановило течения своего, он тотчас же, подобно Орфею, бросился отыскивать свою Эвридику и в преисподнюю, и на Олимп. И долгое время пел он свои чарующие

песни, пел их и посреди истопников аида, и в передних небожителей, покуда наконец допелся-таки своего…

Мы, новоявленные либералы того времени, вдвойне виноваты в успехе Петра Иваныча. Вместо того чтоб кричать: «Шибче! Наяривай!» — и неистовым криком своим приводить в ужас вселенную, нам надлежало: во-первых, как сказано выше, остановить часы и, во-вторых, припасти для Петра Иваныча новую Эвридику. Он малый покладистый, и художественные его требования в этом смысле очень умеренны. Была бы Эвридика, а там, вышла ли она рылом или не вышла, — это для него несущественно. Надобно было, стало быть, приискав для него новую и не очень дорогую Эвридику, поместить их обоих в безопасном месте, а затем, смотря по обстоятельствам, прикидывать кой-какие безделушки, чтоб не разогорчить старика вконец. И зажил бы себе наш Петр Иваныч на славу, в полном удовольствии от новой Эвридики и позабыв о старой, и жил бы таким образом до той минуты, когда, одряхлев и обессилев, сам пришел бы к заключению, что ему не об Эвридиках думать надлежит, а о спасении души.

Но мы предоставили Дракина самому себе

и потому не должны удивляться, что, отыскивая утраченную Эвридику, он пошел не новым путем (сами-то мы, либералы, знаем ли, какой этот новый путь?), а тем, который искони топтали его ноги. Нельзя отказать человеку в праве отстаивать себя; напротив того, должно всегда ожидать, что если он, в минуту внезапного нападения, и не сумел выдержать напор, то впоследствии все-таки не упустит ни одного случая, чтоб занять утраченные позиции. Нельзя внезапно оголить человека от всех утешений жизни, не припасши взамен их других утешений или по крайней мере не разрешив обстоятельно вопрос о Дракиных вообще и об утешении их в особенности. А мы не только ничего этого не сделали, но бессмысленно простирали Дракину объятия и в то же время еще бессмысленнее подшучивали над его тогдашним бессилием.

Сам Петр Иваныч неоднократно жаловался мне на непростительную опрометчивость тогдашних либералов.

— Помилуйте, — говорил он, — смешно даже смотреть! Я к ним с полною моей откровенностью: пристройте, говорю, старика, господа! А они в ответ: «Бог подаст, Петр Иваныч!» И ведь еще смеются молодые люди… Ах, молодые люди!

Обижают молодые люди старика да еще язык высовывают! Только и я, знаете, не промах: зачем, говорю, мне Христа ради кусок себе выпрашивать! Я и сам, коли захочу, свой кусок найду!

— Найдете ли, Петр Иваныч?

— Найду, сударь, это, как свят бог, найду! Потому неестественное это дело. Если я чем ни на есть помешал, если, с позволенья сказать, занятия мои такого рода, что другим смотреть на меня зазорно, — ну, развлеки меня, пристрой, дай другое занятие! А нет у тебя другого занятия — ну, отстрани совсем. В прежнее время мы всегда так делали: чуть видишь, который человек шатается, — сейчас его в солдаты или на поселение! По крайности, нет его на глазах! А то — на-тко! «Бог подаст!» Нет, молодые люди, просчитаетесь! Я не только у вас, но и у Господа Бога моего объедком быть не хочу!

И Петр Иваныч был прав. Теперь Дракин везде: и на улице, и в театрах, и в ресторанах, и в столице, и в провинции, и в деревне — и не только не ежится, но везде распоряжается как у себя дома. Чуть кто зашумаркает — он сейчас: в солдаты, в Сибирь! Словом сказать, поступает совсем-совсем так, как будто ничего нового не произошло, а напротив того, еще расширилась арена для его

похождений.

Я искренно желал бы, чтоб кто-нибудь доказал мне, что Дракины и Хлобыстовские переродились и что не только содержание употребляемых ими приемов, но даже наружный вид этих приемов подверглись какому-нибудь изменению против того содержания и вида, который знаком нам с детских лет. Но полагаю, что сам Менандр, этот твердейший в бедствиях человек, который и доднесь с неслыханною дерзостью вопрошает: чего еще нужно? — и тот едва ли найдется возразить что-нибудь основательное против моего предположения. А покуда этого возражения не существует, я считаю себя вправе утверждать, что хотя крепостное право фактически упразднено, но оно еще живо в душах наших и Петр Иваныч даже на волосок не утратил той энергии, которою он отличался в былые времена. И в прежнее время он завывал, как ветер в пустыне, и теперь завывает. Изменение чувствуется только одно: пустыня утратила прежние границы и сделалась как бы беспредельною, от того звуки дракинских голосов распределяются не с прежнею равномерностью. В одном конце слышно, в другом — нет. Но упаси бог очутиться в том районе, куда Петр Иванович полюбопытствовал заглянуть…

Другой итог: неясность целей, к которым могли бы быть применены сохранившиеся идеалы.

Правда, что Петр Иванович Дракин добился своего, но для чего добился — он и сам этого объяснить не может. Единственный ясный результат его скитаний по преисподним и райским обителям заключается в том, что он поставил на своем и доказал «молодым людям» (увы, как обрюзгли и постарели с тех пор эти «молодые люди»!), что выражение «Бог подаст!» в применении к нему по малой мере опрометчиво. Что он пристроится, ежели на то пошло. — пристроится сам, своими средствами, и у них, «молодых людей», не попросит помощи…

Но к чему пристроится? Вот тут-то именно и начинается для Петра Иваныча целый ряд запутанностей и колебаний.

— А ведь я, брат, прогадал! — признавался он мне на днях. — Думал, что штука-то в том только и состоит, что руками направо и налево тыкать, а выходит, что я тычу-то в пусто!

— Как в пусто! Все же, чай, разорите кого-нибудь, Петр Иваныч! — скромно возразил я.

— Чудак, да ты пойми! Разорить-то я, разумеется, разорю! Я, братец, нынче такое засилие взял, что кого хочешь… Вон он, вон по улице

в пальтишке бежит… хочешь, разорю? Да ведь не сумасшедший я, брат, чтоб зря разорять! Вот ты что сообрази! Ведь оно хорош руками-то вперед тыкать, когда знаешь, что из этого толк выходит. Прежде вот я знал… Знал я, мой друг, зачем я тыкаю… «предмет» я перед собой видел! Ну а нынче предмет-то этот… где он? Ты вот день-то деньской бегаешь, из себя выходишь, тычешь и направо и налево, а предмет-то он… фью!

— Да, без предмета… оно точно… тяжеленько как будто…

— И как еще тяжело-то! Целый день кровь в тебе так ходуном и ходит! «Ату его! Лови! Догоняй!» — только и слов! А вечером, как начнешь себя усчитывать… грош! Сколько крови себе испортил, сколько здоровья убавил, а кого удивил! Вон он! Вон он! Ишь улепетывает… ккканалья! Ну и поймаю я его; ну и посажу на одну ладонку, а другой прихлопну; ну и мокренько будет… Кого я этим удивлю, скажи ты мне, сделай милость!

Петр Иваныч умолк на минуту и затужил.

— Грош, — повторил он в раздумье, — один только грош! Сколько раз я об этом и сам с собой загадывал, и с Михайлом Никифорычем советовался: отчего, мол, у нас прежде благорастворение воздухов было, а нынче, как ни бьемся,

грош! «Да и у меня, брат, не густо!» — говорит. Так-то вот!

— Но в таком случае не лучше ли, Петр Иваныч, это дело оставить? — почтительно доложил я.

— Как мне оставить! — Петр Иваныч вскочил с места и взвился во весь рост, словно получил электрический удар в поясницу. — Мне оставить! Да я тысячу раз на дню издохну, а уж *его* дойму! Я его доконаю! Я его усмирю! Я нынче вот каков: не мне, так никому. Пусть лучше собаки съедят! Да ты знаешь ли, как он меня позорил! Сам целоваться лезет, а исподтишка облавы устроивает! Уж на что я… коренник, а и тут думал, что конец мой пришел! Трубит, это, в трубу, словно в день Судный! Всех, братец, зовет! Смотрите, говорит, как я с Петра Иваныча Дракина маску снимать буду!.. Снял ты — черта с два!

— Да ведь сами же вы говорите, что пользы от этого *для вас* никакой нет!

— И говорю, и буду говорить, а руками тыкать все-таки буду, потому я так уж нынче пристроился. Деваться мне больше некуда. С чего они на меня наскочили? Мешал я, что ли, им? Сидел я у себя в усадьбе и ни в какие ихние политики не вмешивался. По мне, хоть дери, хоть милуй — мое дело сторона! Вот так я, сударь, тогда

себя вел! Даже из ихнего брата придет, бывало, который: несчастлив? — На, братец! Садись за стол, ешь, пей, разговаривай по-французски с женой, с детьми играй! В баню хочешь — в баню иди, экипаж занадобился — экипаж бери! Я дворянин, сударь! Я знать не хочу, кому какая политика нравится, а кому не по нраву! Учись, критикуй, доходи! На то ты и дворянин, чтоб до всего доходить! А они — на-тко! Про то забыли, как я их, курицыных детей, за свой стол сажал, а вспомнили, как я Кузьку да Фомку на конюшне наказывал!

— Да ведь вы и теперь дворянин, Петр Иваныч! И вы дворянин, и они дворяне — ну что бы вам стоило эти дрязги оставить!

— Нет, сударь, теперь я уж не дворянин, а мститель-с! Мститель я-с — и ничего больше. Только эта гордость во мне и осталась-с. А по прочему по всему, я даже так тебе скажу: жрать иногда нечего! Вот они меня на какую линию поставили!

Слушая эти рассуждения, я не могу не признать одного: что Петр Иванович по крайней мере настолько умен, что нимало не обольщает себя насчет своей задачи. Он прямо говорит, что предмет этой задачи… фью! Прав он также и в

своих упреках тем «молодым людям», которые когда-то обнимали его и в то же время напутствовали словами «Бог подаст!». Что он в свое время относился к «молодым людям» благосклонно, когда они попадали в беду, что он не тиранил их, а сажал за свой стол и предоставлял разговаривать по-французски с своей женой, — это я испытал на себе, когда написал «Маланью» и попался по этому случаю впросак. Тогда я впервые и познакомился с Петром Ивановичем (с тех-то пор он и говорит мне «ты», на которое я отвечаю почтительным «вы»). Я помню, как явился к нему сконфуженный и думал, что он вот-вот сейчас вцепится в меня (увы, *теперь* он так бы и поступил — и не только вцепился бы в меня, но и запер бы в вонючую конуру, лишил бы огня и воды и проч.), но он не только не вскинулся, но даже погладил по голове.

— Ну-ну, — сказал он мне, — сшалил, проштрафился. Ничего! Там свои счеты, а здесь — свои. Бог милостив! Дворянину без того невозможно. Я сам, брат, молод был, сам при целом полку командиру нагрубил! Знаю!

И вслед за тем действительно велел накрывать на стол, представил меня жене и предоставил мне разговоривать с нею по-французски…

Зачем же я впоследствии обругал его (каюсь, и я принадлежал к числу тех «молодых людей», которые, обнимая, травили Петра Ивановича, думая, что он никогда уже не очнется)? И обругал притом бесплодно, бессмысленно, точь-в-точь так, как он поступает теперь сам по отношению к бывшим своим ругателям. И как мы его в то время допрашивали! Господи, как мы допрашивали! Я думаю, еще и теперь икры его сохранили следы зубов, которыми мы вцеплялись в них! И никогда ведь не говорили мы прямо: твое, дескать, время, Петр Иваныч, прошло — умирай, старик, — но старались прежде всего в чувство его привести, а потом и уязвить. И где уязвить? На собственной его почве, на той почве крепостного права, которую он и в геологическом, и в статистическом, и в этнографическом отношениях знал как свои пять пальцев!

— Тогда-то ты девке Маришке косу стриг, а этого тебе *предоставлено не было*! — ласково обличал один.

— Тогда-то ты у Кузьки жену себе в любовницы взял, а этого тебе *предоставлено не было*! — еще ласковее донимал другой.

— Тогда-то ты все шесть дней сряду народ на барщину гонял, а этого тебе *предоставлено*

не было! — совсем уже по-родительски вразумлял третий.

— Помилуйте, господа! — оправдывался Дракин. — На все ваши вразумления могу ответить четырьмя словами: *тогда существовало крепостное право*!

Но мы ничему не внимали, и я очень живо помню, как однажды мой друг Кирсанов самым учтивым образом закоченел, впившись зубами в одну из икр Петра Иваныча!

В одном только Петр Иваныч не прав: он сознает, что предмета для тыканья руками уже не существует, и все-таки продолжает тыкать (и притом тыкает совсем не в то место, куда следует тыкать, как это сейчас будет объяснено). Но и тут неправота его только кажущаяся. Если нет предмета, которого благополучие оправдывало бы совершение подвигов, то есть воспоминание о подвигах, есть привычка к ним; есть, наконец, сознание, что ему, Дракину, ни при чем больше и состоять невозможно, кроме как при подвигах. Лишившись предмета, тыканье руками хотя и утрачивает свою ясность, но с точки зрения энергии и силы никакого ущерба не терпит. Беспредметное, абсолютное, трансцендентальное, оно питает само себя так, как питал и питает

сам себя тот распивочный и раскурочный либерализм, который можно на золотники получать из лавочек современных пенкоснимателей. Худо, конечно, делает Петр Иваныч, что себя беспокоит, но куда же он денется с своим темпераментом? Как уничтожит свои воспоминания? Как вычеркнет из прошлого кровную обиду свою?

Но все эти оправдания Петра Иваныча для меня дело второстепенное. Пусть даже он будет тысячу раз не прав — для меня важно уже то, что сам сознает свою деятельность беспредметною. Этим признанием сказано все: и то, что у него уже нет ясной цели, и то, что единственное побуждение, которое руководит им, есть побуждение гнева, и то, наконец, что он не может продолжать своей деятельности иначе, как под условием поддерживания своей нервной системы в постоянно напряженном состоянии. Как хотите, а он несчастлив. В самых разнообразных формах и видах является он перед нами всюду: и на улице, и в кафешантанах, и в ресторанах, и даже в бесчисленных канцеляриях, и, по-видимому, улыбка никогда не сходит с лица его. Но не верьте этой улыбке, ибо я знаю наверное, что на сердце у него скребут мыши. Он уже понимает, что предмет его раздражений — фьють, и что сколько бы он

ни разорял, ни расточал, собственное его благополучие не увеличится от того ни на волос!

Но, сверх того, не следует забывать, что и для того, чтобы разорять, надо все-таки еще случай иметь, надо быть поставленными в такие условия, при которых подлинно разорять можно. Но разве большинство Дракиных находится в таких условиях? Нет, громадная масса их может относиться к разорению лишь платонически. Она может только облизываться, поощрять, кричать «браво!» но ничего более…

Я представляю себе Дракина деятельного, который, ложась на ночь, сводит концы с концами и вдруг приходит к убеждению, что в результате получил — грош! Какое горькое чувство должно овладеть им! Какой стыд, какое раскаянье!

Но представьте же себе то множество Дракиных, которым даже концы с концами сводить не приходится, а приходится только ежечасно сознавать, что предмет их вожделений — фьють! Что должны ощущать эти Дракины? К какому должны они прийти заключению относительно своего настоящего и будущего?

По моему мнению, они должны прийти к тому заключению, которое я назову третьим итогом моего «Дневника»: к сознанию жизненной пусто-

ты и невозможности куда-нибудь приткнуться, где-нибудь сыграть деятельную роль.

Один *может* тыкать вперед руками, но, по довольном упражнении, приходит к убеждению, что пользы от того не приобретается никакой. Другому и хотелось бы пристроиться к этому ремеслу, но для него уже нет места на жизненном пире. Как ни велика разница в положении обоих «ветхих людей», но и для того и для другого конец одинаков. Этот конец формулируется словами: сознавать, что Эвридика найдена только по наружности, в действительности же потеряна безвозвратно, — и затем тосковать, вздыхать и безнадежно всматриваться в даль…

Я положительно утверждаю, что Петр Иваныч понимает бесплодность своего нынешнего ремесла и что потому только упорствует в нем, что ему, вне этого ремесла, нечего делать, некуда приткнуться. Несмотря на то что мы, русские, никогда особенно деятельно не заявляли себя с политической стороны, никто не способен с таким упорством оставаться на исключительно политической почве деятельности, как мы. Понятие, сопряженное с словом «делать», как бы не существует для нас; мы знаем только одно слово: «распоряжаться», то есть смещать, увольнять,

замещать, повышать, понижать и т. д. А это-то имение и есть «политика» в том смысле, как мы ее понимаем. Еще недавно Петр Иваныч жаловался мне:

— Плохо, братец! Такой кавардак в имении идет, что просто хоть все бросай!

— Да вы бы распорядились, душа моя!

Иногда я позволяю себе называть его ласкательными именами, и он — вот как он прост! — нисколько не обижается!

— И то, братец, распоряжался! В один год двух управляющих сменил — чего еще!

— А вы бы сами съездили, посмотрели, указали бы что следует!

Говоря это, я чувствовал, что лицо мое горит от стыда, ибо я сам очень хорошо сознавал, что слова мои — кимвал бряцающий, а советы — не больше как подбор пустых и праздных слов. Увы, я и сам не делатель, а только политик! К счастью, однако ж, Петр Иваныч не заметил моего смущения: он сам в это время поник головой и горькую думу думал.

— Нет, — сказал он наконец, — незачем! Раз сменил управляющего — не помогло, другой раз сменил — не помогло, приходится сменять в третий раз!

И только. В этом вся наша панацея, в этом перспектива нашего будущего. Если мы не можем ясно формулировать, то чего требуем, что же можем? Если у нас нет даже рутины, а тем менее знания, то какое занятие может приличествовать нам, кроме «политики»? Если же и «политика» ускользает от наших рук, то чем мы можем ее заменить, кроме слоняния из одного угла в другой? Какие надежды могут нас оживлять, кроме надежд на выигрыш двухсот тысяч?

С упразднением крепостного права от нас отошел труд. Не только тот даровой труд, который приносило с собой это право, но труд вообще. Мы сделались свободными от труда вообще и остались при одной так называемой политической задаче. Но спрашивается, какая такая политика, которую может преследовать Петр Иваныч, оголенный от крепостного права?

Поймите, читатель, весь ужас этого положения! Быть осужденным на жизнь и в то же время никакого дела перед собою не видеть! К земству примкнуть — но мы не знаем, как гать построить и где канаву прорыть; не знаем, да и не хотим знать, ибо наше дело не указать, а приказать. В мировые судьи выбираться — но мы не только законов не знаем, а просто двух фраз толково свя-

зать не можем — только смех один! Вот, кажется, и политические занятия, такие, которые всего более нам по нутру, — а выходит, что и они к рукам не идут! А тоска-то какая! Сидеть и думать о том, как скорбные листы в больницах в исправности содержать или каким образом такую канаву посереди дороги провести, чтоб и пеший и конный — всякий бы в ней шею себе сломал!

Тем не менее мы не сразу пришли в уныние, а тоже попробовали: и в земские собрания ездили, стараясь по возможности сообщить полемико-политический оттенок вопросу о содержании лошадей для чинов земской полиции, и в качестве мировых судей действовали, стараясь извлечь из кражи мотка ниток на фабрике какой-нибудь политический принцип. Всё мы испробовали, но нигде не обрели «политики», а взамен того везде натыкались на слово «тоска»: «тоска» и «тоска».

Вот почему мы, провинциальная интеллигенция, в настоящее время валом валим в Петербург. Все думается: не полегче ли будет, не совершится ли чудо какое-нибудь, не удастся ли примазаться хоть к краешку какой-нибудь концессии, потом сбыть свое учредительское право, и в сторону? А там — за границу, на минераль-

ные воды…

Je m'en fiche, contrefiche…[189]

Не спорю: если б это удалось, оно было бы во многих отношениях недурно, но тут настигает нас другой вопрос — финансовый. Откупа уничтожены, а концессию получить положительно трудно. Нынче это дело так округлено, в такие границы поставлено, что не с Прокоповым носом соваться туда. Это своего рода укрепленное место, в которое даже сам Петр Иваныч Дракин (он, по всей справедливости, считается коноводом кадыков и действительно держит высоко свое знамя) и тот не мог проникнуть, как ни старался. А жаль. Потому что, если б предоставили Дракину вести на общественный счет железные пути, во-первых, он, конечно, не оставил бы ни одного живого места в целой России, а во-вторых, наверное, опять почувствовал бы себя в обладании «предмета», и вследствие этого сердце его сделалось бы доступным милосердию и прощению. По крайней мере, он сам удостоверял меня в этом.

— Если бы хоть одну дорогу дали, — открывал-

---

[189] Сноски: 189
Мне наплевать, наплевать… (*фр.*)

ся он мне, — уж как бы, кажется, на душе легко было. Ну вот, ей-богу… ну, ей-же-ей, простил бы! А то ведь как на смех: жид придет — бери! Бери, владай, что угодно делай! А свой брат, дворянин, явится — «да ты знаешь ли, из чего рельсы-то делаются?!» Каково это слушать-то!

— А ведь коли по правде сказать, оно и точно. Вот я, например, хоть и знаю, что рельс железный, а какой он там, кроме того что железный, — вот хоть убей меня, сказать не могу!

— И я, братец, не знаю, да кто же знает нынче! Вот приступлю — и буду знать. И зачем мне знать, коли мне незачем! Жид-то пархатый — ты думаешь, он лучше меня знает? Нет, он тоже, брат, швах по этой части! Вот подходцы он знает — это так! На это он мастер! В такую, брат, помойную яму с головой окунется, какая нам с тобой и во сне не приснится!

Не приснится! Так говорит Петр Иваныч, но не слишком ли самонадеянно он утверждает это? Не знаю почему, но мне кажется, что не только приснилось бы, а даже… Но мы даже в этом смысле получили такое поверхностное образование, что и сны-то у нас недостаточные выходят…

Как бы то ни было, но финансовый вопрос есть в настоящую минуту самый жгучий вопрос

для нашей интеллигенции. Умея только распоряжаться и не умея «делать», мы оказываемся совершенно бессильными относительно созидания новых ценностей, и какие предприятия мы ни затевали в этом смысле — всегда и везде, за очень малыми исключениями, оказывался, по выражению Дракина, «кавардак». Но этого мало: мы не умеем обращаться даже с теми ценностями, которые дошли до наших рук независимо от наших усилий…

— В ту пору, как застигла нас эта катастрофа, — рассказывал мне Петр Иваныч, — душно мне стало, так душно! Идите, говорю, с моих глаз долой! Всех на выкуп, в казну! И зачал, брат, я спешить! Горит у меня под ногами — да и только. Получу, думаю, выкупную ссуду, землю, которая получше, себе отрежу — и начну, благословясь, вольным трудом работать. То есть и сплю, и вижу, как этот вольный труд начнет у меня действовать! Ну-с, хорошо. Окрутили меня живым манером: опекунскому совету долг вычли (я, братец, на тридцать семь лет занимал, а с меня *вдруг* все вычли), кой-какие частные долги удовлетворили, остальное выдали на руки. Ну, слава богу, думаю, хоть и не бог знает сколько суммы осталось, зато вольный труд теперь у меня

сам собой пойдет! Поехал к Бутенопу, накупил машин — то есть какая сеноворошилка у меня была: ну просто конфетка! — нанял рабочих и сижу, жду у моря погоды. Месяц у меня идет, другой идет — я все молчу, все деньги плачу. Иногда, знаешь, разберет меня зло, что все как будто не так; вспомнишь это, как прежде распоряжался, и выбежишь в поле. Ни души, сударь! Тишина, братец, мертвая: ни голосу, ни шелесту; солнце сверху так и льет! «Где вы, черти!» — ни звука. Словно все умерли! А сердце так и кипит. Побегаешь, покружишься, наткнешься на борозду, упадешь — домой! Ах какое это чувство, мой друг! Какое это ужасное чувство, когда в тебе кипит, и вдруг — никого! Натурально, сейчас за управляющим: «Разбойник! дармоед!» И что ж! Первое в ответ: «Не извольте ругаться!» — «Не в ругательстве дело, курицын ты сын! Не ругаюсь я, а чего ты, мерзавец, смотришь? Отчего в поле никого нет!» — «Оттого, что рабочие отдыхать пошли». — «Отдыхаете, бестии! Все-то вы отдыхаете!» — «Помилуйте, Петр Иваныч, вы вот только что чай откушали, а мы еще где до свету встали!..» Ну, успокоишься, то есть не успокоишься, а скажешь себе: «Ну вас к чертям, распинайте!» Сядешь, это, за книжку, потом позавтракаешь,

жена «варьяции на русские темы» сыграет, дети придут: «Папа! пойдем в парк либо на пруд рыбу ловить!» Таким манером пройдет еще часа три-четыре — опять не утерпишь и побежишь в поле. Ни души, сударь! «Да надо же отдохнуть народу!» — уж огрызается тебе в лицо управляющий. Потом обедать, потом послеобеденный сон, потом чай, потом гулянье. Нагулявшись, опять в поле… ни души! Все уж пошабашили и собираются ужинать. Так я его и не видал, как он там вольным трудом работает! Возьмешь с собой в сумерки управляющего и пойдешь с ним по полям. «Так, что ли, разбойник, пашут?» — «А то как же еще!» — «Так, что ли, мошенник, жнут?» — «Да вы, сударь, сами изволили бы показать, что от нас требуется!» Мерзавец! Знает ведь, анафема, что я показать не могу! Бился я, бился таким манером, наконец бросил. Жду. Осенью живо обмолотили, вывеяли, ссыпали. Рожь уродилась сам-четверт, овес — сам-третий, гречиха — не собрали семян. «Подлецы! Разве так вольный труд должен давать! Ведь он сам-десят должен давать — да и тогда только концы с концами свести можно!» Молчат. «Да что вы молчите, анафемы? Говорите по крайней мере отчего это?» — «С землею у нас, Петр Иваныч, ни-

чего не поделаешь! Холодная!» — «Как холодная? Все была теплая, а теперь холодная сделалась!» — «И прежде была холодная, только прежде потому теплее казалась, что мужички подневольные были!» Сел я тогда за хозяйственные книги, стал приход и расход сводить — вижу, в одно лето из кармана шесть тысяч вылетело, кроме того что на машины да на усовершенствование пошло. Нет, думаю, шалишь! Таким образом никакой выкупной ссуды недостанет! Надо это дело бросить! А тут кстати хороший человек нашелся, надоумил меня. «Зачем, — говорит, — вам, Петр Иваныч, беспокоиться! Сдали бы вы мне землю по рублю серебром за десятинку на круг, а сами бы в Москву или на теплые воды!» Что ж, думаю, чем по пяти тысяч в год убытку терпеть, лучше хоть тысячу чистоганчиком получить! Взял да в одну минуту и порешил дело! Подмахнул контракт на двенадцать лет; машины, скот, семена и другое имущество сдал арендатору и велел укладываться в Москву. «Лес чтобы не рубить, Иван Парамоныч!» — «Зачем, ваше превосходительство, лес рубить!» — «Ведь ты, Иван Парамоныч, меня не обманешь — аренду выстоишь?» — «Зачем, ваше превосходительство, обманывать! Креста, что ли, на мне нет!» — «Ну,

то-то же! Теперь с богом! Трогай! В Москву!»

— Ну-с, дальше-с!

— А дальше, брат, даже вспоминать стыдно. Осталось у меня в то время тысяч шестьдесят выкупными свидетельствами (у меня, брат, ведь полторы тысячи душ было!). Деньги хорошие, и будь они у меня теперь, я бы знал, как мне поступить. Я понял бы, что мне ничего другого не остается, как получать на мой капитал проценты, устроиться в Москве, где-нибудь под Донским, лишнюю прислугу распустить, самому ходить к Калужским воротам за провизией и нанять учителя, чтоб учил детей латинскому языку. По крайности, хоть из них деятели бы вышли. Но тогда чад из головы-то еще не весь вышел. Приехал в Москву, а там деньги страсть как нужны. Стал я, брат, деньги под залог раздавать, и роздал, нечего сказать, выгодно: процентов по двенадцати в год. Думаю: как это я до сих пор не догадался, — а про то и забыл, что для этой операции нужно законы тоже знать, а зачем мне их было знать, коли мне незачем? Ничего, однако ж, осмотрелся, получил проценты вперед и вижу: неминучее дело свой дом купить. И дом, по-нашему, по-дракински, чтобы такой: во-первых, зал в четыре

окна; во-вторых, гостиную в три окна; в-третьих, диванная, потом спальня, детские, кофишенная, столовая, для меля конурка, два флигеля: в одном кухня, в другом людские. Словом сказать, комнат с двадцать. Многонько это, а меньше, как ни гадали, никак невозможно, потому в Москве все наши налицо: Хлобыстовские, и Ноздревы, и Кирсановы, и Лаврецкие, и Райские, всё свои, родные, все в Москву понаехали, все живут и в баклуши бьют. Купил, двадцать тысяч отдал. Потом трех жеребцов купил: двух бурых в масле в дышло — для жены, одного, серого в яблоках, одиночку, — для себя. Денег-то сколько осталось? Прожил я таким манером с год — не могу пожаловаться: хоть бы век так жить! Живу, братец, да и полно! И далее надежды имею. На что надежды — вот хоть убей, объяснить не могу, а только чувствую, всем нутром чувствую, что придет что-то… Ну, сбудется *оно*, да и все тут! Только тогда меня осадило, когда срок закладным пришел. Все до одной оказались незаконными. То есть не то чтоб было какое-нибудь сомнение, что я деньги взаймы дал, а так как-то вышло, что денег-то этих возвращать мне не следует. Иду, сударь, в суд, а в суде вижу: сидят все те «молодые люди», которые, помнишь, мне в ту пору «Бог подаст!» сказали.

Не вытерпел: «Разбойники!» — говорю. Сейчас это в протокол, и зачали они меня судить. Про то-то, что кровные мои денежки гулять пошли, и думать перестали, а все судят «поступок» мой. «Какой, — говорю, — это «поступок», молодые люди? Ну, будем говорить без азартности, ну разве вы не разбойники!» Опять — в протокол, и всё, знаешь, тихим манером: «Успокойтесь, Петр Иваныч! Мы уж не те! Мы прежние заблуждения-то уже оставили! А вы бы лучше адвоката себе хорошего наняли!» — «Адвоката? Ни за что! — говорю. — Сам от вас отгрызусь!» И можешь ты себе представить, мой друг, ведь я по сю пору под судом состою! Вот я с тобой теперь говорю, а *там*, может быть, меня в Сибирь на поселение ссылают! Только нет, брат, шалишь! Петр Иваныч Дракин докажет! Он докажет! Он сумеет доказать!

Это воспоминание так взволновало Петра Иваныча, что он некоторое время не говорил, а только испускал глухое рычание. Лицо у него сначала побагровело, потом посинело, так что я не на шутку начал опасаться за окончание рассказа о его похождениях. Но, слава богу, выпив стакан воды, он успокоился.

— Вот, мой друг, — сказал он мне, — ты мне

в то время тоже разные эти колкости говорил… помнишь?

— Виноват, Петр Иваныч, был тот грех!

— Ну так попомни ты мое слово: эти — пенкоснимателями, что ли, ты их называешь? — они вдвое против нас, стариков, язвительнее будут. Ума у него с горошину, благородных чувств никаких, вот и сидит он и ехидствует, как бы ему эту горошину в оборот пустить. И пущает. Там, где мы руками зря вперед тыкали, они на законном основании тебя изведут. Мы — фюить! — и дело с концом, а они зудом жизнь твою вызудят. Я, брат, простить могу; он — не простит. Не человек, брат, он, а шкап с выдвижными ящиками. На всяком ящике у него ярлык наклеен, а потому ему сразу видно, который ящик выдвинуть следует. И ежели ты, например, калач украл, *я* тебе скажу: «Ты это что, курицын сын, наделал?» А *он* тебя призовет: вы, скажет, калач, вам не принадлежащий, себе присвоили, так за это вы подлежите по такой-то статье такому-то истязанию. И не проси его! не разговаривай! «Ничего, скажет, я не могу, потому что воровство, во-первых, строго воспрещено законом, а во-вторых, обществу может угрожать гибель, если воров не преследовать! И ведь достигнут они — превознесутся,

произойдут! Ты вот шутишь: говоришь, что я разоряю, — а кого разоряю-то я? Вон он… вон голоштанник-то по улице фалдочками трясет… *Его* я разоряю — вот кого! А того «молодого человека», пенкоснимателя-то… нет, брат, его уж не разоришь! Мы как в наше время достигали? Мы достигали врассыпную, вразброд! Стало быть, если ты не матушкин сынок или не тетка тебе графиня Татьяна Борисовна — хоть ты за двадцать человек аппетит имей, а все ничего не поделаешь! Разве что из сотни одному счастье порутирует. А эти переплелись! Они не разбирают промеж себя, кто матушкин, кто курицын сын, а прут вперед — и все тут. Уж и теперь они, не хуже любого попа, на нас, стариков, засматриваются. Ты еще похолодеть-то не успел, а он уж тут как тут. Шнырит около кого ему следует, объясняет свои поступки, благородно распинается — и достигнет! Достигнет, потому что, по правде сказать, везде он один кандидат. Сунь ты рукой в щучий садок — все равно, как ни шарь, щуренка вытащишь! Так-то, душа моя. На чем бишь я, однако, остановился, рассказывая о похождениях-то своих?

— На закладных, Петр Иваныч. Закладные ваши признаны были не подлежащими удовле-

творению.

— Ну да. Поехал я тогда опять в деревню, а жене велел московский дом продавать. Приезжаю — и что вижу? Машины мои проданы, скот — тоже, лес вырублен… «Иван Парамонов, мошенник, вор ты», — говорю. «Никак нет, ваше превосходительство», — говорит. «Как же ты не мошенник! Где лес-то? Где машины? Где скот?» — «Лес, — говорит, — на топливо срублен, потому не околевать же мне на морозе; машины со временем испортились, скот тоже со временем весь выпал!..» Поверишь ли, мой друг, я даже глаза выпучил. В суд, думаю, идти — так, верно, я сам в контракте что-нибудь напутал! Значит, придешь туда, только выругаешься — что толку? Бросил все — и айда в Петербург! Спасибо, генерал Мудров меня еще по полку знал — ну, приютил. А сколько есть таких, о которых генерал Мудров даже понаслышке понятия не имеет!

— Да, сколько таких? — повторю вместе с Петром Иванычем и я.

А на них-то именно и отразился преимущественно финансовый вопрос. Пошли они сначала бойко, потом тише, тише и, наконец, сели. По временам фортуна как бы благоприятствовала им: тот в земскую управу попал, тот, в качестве миро-

вого судьи, ребятишкам на молочишко доставал, но когда оказалось необходимым и там делиться жалованьем с секретарями да письмоводителями — тогда… тогда в перспективе осталось уныние — и больше ничего. А вместе с унынием появилось какое-то страстное, жгучее стремление в Петербург с целью попытать, не будет ли тут чего…

Но ничего уже не оказалось, потому что «молодые люди», о которых Петр Иваныч говорил, что они переплелись между собой, все пенки сняли. Кадыки, обескураженные, полинявшие, слоняются по стогнам столицы, и до того оробели, что не могут даже объяснить, чего им хочется. Те, которые еще *могут* тыкать руками вперед, начинают догадываться, что этим, кроме удовлетворения чувства мести, все-таки ничего не достигнешь, а те, которые не могут давать рукам волю, только взывают: «Откуда мне сие» — и в тщетном ожидании ответа утрачивают всякую бодрость.

На первых порах эти люди и в Петербурге начинают бойко. Сознание, что в кармане еще есть выкупное свидетельство и что оно в то же время последнее, заставляет их рисковать. Либо пан, либо пропал — и вот наш кадык бежит к Елисее-

ву, кутит у Донона и Дюссо, платит 25 р. за кресло на Патти, беснуется в театре Буфф и так далее. И везде нюхает, везде ищет, как бы нужного человека подцепить. Там прослышит: дорогу новую придумывают, в другом месте — банк облюбовывают, в третьем — такое предприятие, ну такое предприятие… ах, прах побери да и совсем! Господи, да неужели же нельзя как-нибудь примазаться! Хоть чуточку! Я, ваше превосходительство, только за кончик подержусь — а там и в сторонку-с! Но «нужный человек» охотно пьет с кадыком шампанское, когда же речь заходит о предприятии, — смотрит так ясно и даже строго, что просто душа в пятки уходит! «Зайдите-с», «наведайтесь-с», «может быть, что-нибудь и окажется полезное» — вот ответы, которые получает бедный кадык, и, весь полный надежд, начинает изнурительную ходьбу по передним и приемным, покуда наконец самым очевидным образом не убедится, что даже швейцар «нужного человека» и тот тяготится им.

Тогда кадык вступает во второй период своего земного странствия: он выцвел, перестал гарцевать и ходит обедать не к Дюссо, а к Палкину и Доминику, а вечером направляется в Орфеум. Но он еще не окончательно утратил надежду, ибо если

настоящий, заправский предприниматель уже ускользнул из его рук, то у него все-таки остался предприниматель второстепенный. И чем ниже спускается кадык по лестнице предприятий, тем фантастичнее и фантастичнее становятся эти последние. Что тут только не предлагается, о чем не ведутся оживленные споры, а результат один: конец выкупному свидетельству. И конец этот тем неизбежнее, что предприниматель второстепенный только к тому и направляет свои усилия, чтобы ускорить обращение капитала, который недаром же и название носит оборотного…

И вот наступает третий период: оборотный капитал съеден и пропит. Ежели в два предшествующих периода человек не имел никаких надежд, кроме «вот кабы» да «уж тогда бы, если он и тогда, в сущности, только слонялся, сам не понимая, зачем ел и пил больше, чем надо, и восхищался Патти, в душе припоминая девку Палашку, то теперь, когда все уже «совершилось», когда весь круг пройден и даже нет в виду ни «кабы», ни «если бы» — какой удел может предстоять ему, кроме уныния?

Тогда он отправляется в греческую кухмистерскую, заигрывает с потомком Перикла и Аспазии и даже льстит ему, с тем чтобы устроить себе

кредит…

Но в первом ли, во втором ли, в третьем ли периоде — шлющийся человек все шлющийся человек. Одумается ли он, наконец? Решится ли покончить с столицею и удалиться в свою Проплеванную? Как-то встретит его там Иван Парамонов? Дозволит ли ему поселиться в собственном его разваливающемся доме и жить смирно, пока не придет смерть и не сметет с лица земли этого «лишнего человека», которого жизнь, со времени «катастрофы», сама сделалась постоянною, неперемежающеюся катастрофой!

Таков этот «ветхий», отходящий в вечность человек. Порою он еще огрызается и вскидывается, как озаренный, но, в сущности, он уже понимает, что время его прошло и что даже огрызания ни на волос не увеличат его благополучия.

На место его народился тип новый, деятельный. Но не с новыми идеалами, а с старыми же, в которые, взамен «нраву моему не препятствуй», пущена легкая струя бездельничества и хищности. Это люди, насквозь проникнутые убеждением, что бессовестность и тупоумие призваны обновить мир. Они представляют собой четвертый итог, о котором я и поведу теперь речь.

Среди потока противоречивых вздохов, укоров и негодований, которыми по временам обдает меня Петр Иваныч, у него вырвалось одно очень правдивое и меткое замечание: он разорил не того, против кого устремлял свой натиск, а совсем постороннего человека, до которого, собственно говоря, ему никакого дела не было.

Что сделал ему сей юноша, который так прилежно исследует, кто были прародители человека? Что сделала ему сия юница, которую волнует женский вопрос и которая хочет во что бы то ни стало доказать, что женщина в умственной сфере *может* все то, что *может* и мужчина? Разумеется, Петр Иваныч ответит на эти вопросы: они, канальи, *утопии* там выдумывают! — но ответ этот едва ли будет искренен. Кто в двадцать лет не желал и не стремился к общему возрождению, про того трудно даже сказать, что у него было когда-нибудь сердце, способное сочувствовать и сострадать. Что истина эта небезызвестна и Петру Иванычу — это доказывается тем, что он сам когда-то при целом полку командиру нагрубил. Он сам неоднократно при мне говаривал: учись, критикуй, доходи — дворянину без этого нельзя! Почему же теперь, когда он видит, что дворянин доходит, учится,

критикует, — сердце у него кипит, и он задыхается от негодования! Как хотите, а это факт по малой мере загадочный.

Да, тут есть какое-то горькое недоразумение. Я догадываюсь даже, что и доходящий молодой человек, и анализирующая девица — все это не более как эффигия, которую Дракин расстреливает, думая сразить *того, другого* «молодого человека», который некогда сказал ему: «Бог подаст!» Только этот другой-то «молодой человек» был настолько проницателен, что заблаговременно встал вне выстрела; когда же увидел, что Петр Иваныч и затем остается при своем намерении «палить», то был настолько предупредителен, что указал ему, где скрывается *истинный* мерзавец и либерал. «Я действовал неблагоразумно, — сказал он, — но я находился под гнетом целой армии негодяев, — и в этом заключается мое оправдание. Я сам всей душой ненавижу их, и вы весьма меня одолжите, если выпалите по ним».

Я воображаю себе физиономию Петра Иваныча, когда он увидел, что дело принимает такой оборот. Его личный враг, его заведомый оскорбитель стоит перед ним — а оказывается, что Петр Иваныч не только не может достать его, но что этот же враг ему же указывает, в ко-

го в настоящую минуту палить следует. Разве не трагическое это положение!

— Теперь я уж привык, — жаловался мне Петр Иваныч, — а первое время, как стал он обходы-то эти кругом меня делать, веришь ли, я чуть с ума не сошел! «Как, говорю: разве не ты… помнишь?» — «Точно так, — говорит, — я-с. Только я совсем не против вас действовал. Видел я тогда, что и *они* горячатся, да и вы горячитесь… Ну вот, чтоб отвести *им* глаза, я и сделал диверсию-с…»

Я полагаю, однако ж, что тут не было никакой диверсии. Сначала это было легкомыслие, соединенное с надеждой, что Петр Иваныч не очнется, потом — страх при виде Петра Иваныча, показывавшего несомненные признаки жизни, и, наконец, соображение, что не существует такого положения, в котором не было бы возможно в мутной воде рыбу ловить.

Как бы то ни было, новый тип народился. Это тип, продолжающий дело «ветхого человека», но старающийся организовать его, приводящий к одному знаменателю яичницу, которую наделал его предшественник. Старый «ветхий человек» умирает или в тоске влачит свои дни, сознавая и в теории, и в особенности на практике, что предмет его жизни… фьють! Новый

«ветхий человек» выступает на сцену и, сохраняя смысл традиций, набрасывается на подробности и выказывает неслыханную, лихорадочную деятельность…

Но жизнь не делается краше вследствие этой усиленной деятельности. Никакая лихорадка, никакое кипение не в состоянии дать жизни содержание, которого у нее нет. Напротив того, чем кипучее бессодержательная деятельность, тем более она утомляет и обессиливает. Старое содержание упразднилось, новое не вырабатывается и не вырабатывается — быть может, потому, что интеллигенция, по-видимому, еще не вполне уверена в полном упразднении старого содержания. Отсюда — неприятное двоегласие, неестественное сидение между двумя стульями, которое разрешается скукой, апатией, равнодушием ко всем интересам, стоящим несколько выше «куска»; отсюда — крики: «не расплывайтесь!», «не забудьте, что наше время — не время широких задач!» и т. п.

«Хищник» — вот истинный представитель нашего времени, вот высшее выражение типа нового «ветхого человека». «Хищник» проникает всюду, захватывает все места, захватывает все куски, интригует, сгорает завистью, подставляет

ногу, стремится, спотыкается, встает и опять стремится… Но кроме того, что для общества, в целом его составе, подобная неперемежающаяся тревога жизни немыслима, даже те отдельные индивидуумы, которые чувствуют себя затянутыми в водоворот ее, не могут отнестись к ней как к действительной цели жизни. «Хищник» несчастлив, потому что если он, вследствие своей испорченности, и не может отказаться от тревоги, то все-таки не может не понимать, что тревога, в самом крайнем случае, только средство, а никак не цель. Допустим, что он неразвит, что связь, существующая между его личным интересом и интересом общим, ускользает от него, но ведь об этой связи напомнит ему сама жизнь, делая тревогу и озлобление непременным условием его существования. «Хищник» — это дикий в полном значении этого слова; это человек, у которого на языке нет другого слова, кроме глагола «отнять». Но так как кусков разбросано много, и это заставляет глаза разбегаться; так как, с другой стороны, и «хищников» развелось немало, и строгого распределения занятий между ними не имеется, то понятно, какая масса злобы должна накипеть в этих вечно алчущих сердцах. Самое торжество «хищника» является озлоб-

ленным. Он достиг, он удовлетворен, но у него, во-первых, есть еще нечто впереди и, во-вторых, есть счеты сзади…

Но масса тем не менее считает «хищников» счастливыми людьми и завидует им! Завидует, потому что это тот сорт людей, который в настоящую минуту пользуется наибольшею суммой внешних признаков благополучия. Благополучие это выражается в известной роскоши обстановки, в обладании более или менее значительными суммами денег, в легкости удовлетворения прихотям, в кутежах, в разврате… Массы видят это и сгорают завистью. Но стоит только пристальнее вглядеться в эти так называемые удовольствия «хищников», чтоб убедиться, что они лишены всякого увлечения, всякой искренности. Это тяжелые и мрачные оргии, в которых распутство служит временным, заглушающим противовесом той грызущей тоске, той гнетущей пустоте, которая необходимо окрашивает жизнь, не видящую ни оправдания, ни конца для своих тревог.

За «хищником» смиренно выступает чистенький, весь поддернутый «пенкосниматель». Это тоже «хищник», но в более скромных размерах. Это почтительный пролаз, в котором «сладкая привычка жить» заслонила все прочие моти-

вы существования. Это тихо курлыкающий панегирист хищничества, признающий в нем единственную законную форму жизни и трепетно простирающий руку для получения подачки. Это бессовестный человек, но не потому, что сознательно совершал бессовестные дела, а потому, что не имеет ясного понятия о человеческой совести.

«Хищник» проводит принцип хищничества в жизни; пенкосниматель возводит его в догмат и сочиняет правила на предмет наилучшего производства хищничества.

«Хищник», оставаясь ограниченным относительно понимания общих интересов, очень часто является грандиозным, когда идет речь о его личных интересах. Пенкосниматель даже и в этом смысле представляет лишь карикатуру «хищника»: он не любит «отнять», но любит «выпросить» и «выждать».

«Хищник» почти всегда действует в одиночку; пенкосниматель, напротив того, всегда устраивает скоп, шайку, которая по временам принимает размеры разбойнической.

«Хищник», свежуя своего ближнего, делает это потому, что уж такая ему вышла линия, но все-таки знает, что ближнему его больно.

Пенкосниматель свежует своего ближнего и не задается даже мыслью, больно ли ему.

«Хищник» рискует; пенкосниматель идет наверное.

«Хищник» не дорожит приобретенными благами; пенкосниматель любит спрятать и капитализировать.

«Хищник» говорит коротко, отрывисто: он чувствует себя настолько сильным, чтоб пренебречь пустыми разговорами; пенкосниматель не говорит, а излагает; он любит угнести своего слушателя и в многоглаголании надеется стяжать свою душу!

«Хищник» мстителен и зол, но в проявлении этих качеств не опирается ни на какие законы; пенкосниматель мстителен и зол, но при этом всегда оговаривается, что имеет право быть мстительным на основании такой-то статьи и злым — на основании такого-то параграфа.

Наконец, «хищник», несмотря на весь разгул деятельности, скучает; пенкосниматель никогда не скучает, но зато сам представляет олицетворение скуки и тошноты.

Итак, скучает старый «ветхий человек», скучает и новый «ветхий человек». Что делает другой — «новый человек», — пока неизвестно, да не он

и дает тон жизни.

А тон этот — или уныние, или мираж, вследствие которого мнимые интересы поневоле принимаются за интересы действительные…